



БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОГО РОМАНА

Г. БАКЛАНОВ

Июль 41 года

*Навеки-
девятнадцатипетние*



Г. БАКЛАНОВ

Июль 41 года

**Навеки-
девятнадцатилетние**

*Дорогому
Александру Егоровичу
Тюлову Яковлеву —
сердечно, с любовью и
уважением.*

Бакланов

10 апр. 1989 г.



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1988

ББК 84 Р7
Б19

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
БИБЛИОТЕКИ СОВЕТСКОГО РОМАНА

АЙТМАТОВ Ч. Т.
БЕРДНИКОВ Г. П.
БОНДАРЕВ Ю. В.
ГОНЧАР А. Т.
ГУСЕЙНОВ Ч. Т.
ЗАЛЫГИН С. П.
МАМЛIEEВ Д. Ф.
МАРКОВ Г. М.
НИКОЛАЕВ П. А.

Текст печатается по изданию:

Григорий Ба кл а н о в. Собр. соч. в 4-х томах, т. 1, 3.
Москва, Художественная литература, 1983—1985

Вступительная статья

Л. Лазарева

Иллюстрация на фронтиспise

А. Дудина

Б $\frac{4702010200-332}{028(01)-88}$ без объявл.

ISBN 5-280-00003-5

© Вступительная статья, оформление.
Издательство «Художественная лите-
ратура», 1988 г.

НЕ ТОЛЬКО О ВОЙНЕ...

Один из самых талантливых поэтов фронтового поколения Борис Слуцкий написал пронзительные строки о войне, о том, что для тех, кто в ней участвовал, на чьи плечи легла ее невыносимая тяжесть, она не уходит в прошлое:

Впрочем, это было так давно,
Что как будто не было и выдуманно.
Может быть, увидено в кино,
Может быть, в романе вычитано.
Нет, у нас жестокая свобода
Помнить все страдания. До дна.
А война была
Четыре года.
Долгая была война.

Да, эти четыре года между жизнью и смертью, когда каждый день, каждый час мог быть последним, были бесконечно долгими. И сейчас, через четыре с лишним десятилетия после войны, фронтовикам кажется, что те четыре года составляют, по крайней мере, половину прожитой ими жизни... Наверное, поэтому книги о войне до сих пор занимают очень большое место в нашей литературе, а некоторых современных писателей мы все еще называем военными писателями.

К ним принадлежит и Григорий Бакланов, чью книгу с двумя его вещами о войне держит сейчас в руках читатель. Его авторская позиция, взгляд на мир, отношение к людям восходят к тому суровому, так много требовавшему от человека времени. «Я никогда не забываю о том,— писал Бакланов,— что мне, вернувшемуся с войны живым, фактически дарована жизнь во второй раз, а у моих братьев жизнь отнята, когда им исполнилось по двадцати одному году... Там, на фронте, заложились основы тех нравственных представлений, которые определяют мое отношение к жизни, к людям и которые, надеюсь, отразились в моих книгах».

Давно известно: чтобы лучше понять книги, надо обратиться к их истокам — к жизни писателя, к породившей его творения действительности.

Григорий Бакланов родился в 1923 году в Воронеже, там в предвоенные годы жил и учился, там, когда уже началась война, сдавал экзамены экстерном за среднюю школу — разнесся слух, что в армию сначала будут брать тех, кто закончил десятилетку, а главной целью были тогда армия, фронт, защита Родины. Осуществить эту цель ему удалось только зимой, уже в эвакуации, и было это очень непросто, возраста он был еще непризывного («Я понял, что сейчас меня не возьмут. И тогда я дотронулся рукой до стола, за которым сидел командир полка, и сказал, что на фронте погиб мой старший брат и что я хочу на фронт», — вспоминал через много лет писатель.) В этом гаубичном 387-м артиллерийском полку и попал на «передок» рядовой Бакланов, было это на Северо-Западном фронте — всю зиму, весну и лето сорок второго полк вел бои за станцию Лычково и деревню Белый Бор, стоившие, как все такого рода бои местного значения, больших жертв («Сколько под ними безвестно полегло народу — я не знаю, живет ли там столько сейчас!»)

Потом юного солдата отправили в артиллерийское училище — понятно, это был ускоренный выпуск, — и уже офицером, командуя взводом управления артиллерийской батареи, сражался он до конца войны на Юго-Западном (впоследствии он стал Третьим Украинским) фронте — на Украине, в Молдавии, Румынии, Австрии, Венгрии.

А какой была война для такого солдата и офицера, что он видел и пережил на ней? Товарищей хоронил, был ранен и контужен, недоедал, недосыпал, мерз, изнывал от жары, тащил по непролазной весенней и осенней грязи пушки на руках, а сколько перекопал твердой как камень земли, сколько прошагал, прополз под огнем, сколько водных преград форсировал, и так уж получалось, что большей частью на подручных средствах, — разве сосчитаешь?.. И все-таки выпала ему счастливая судьба — из тех ребят, что ушли на фронт из его школьного класса, он единственный дожил до победы. Вспоминая своих ровесников, своих братьев, сложивших голову на фронте, Бакланов говорил: «Это было поколение достойное, гордое, с острым чувством долга. Не тем чувством долга, которое, как правильно отмечал Лев Толстой, особенно развито в людях ограниченных, а тем, которое в роковые моменты истории движет честными людьми, готовыми пожертвовать собой во имя спасения Родины. Когда разразилась война, поколение это в большинстве своем шло на фронт добровольцами,

не дожидаясь призыва, считая, что главное дело нашей жизни — победить фашизм, отстоять Родину. И почти все оно осталось на полях битв». Об этом Бакланов никогда не забывал, это горькое чувство пронизывает все, что он написал...

В конце января сорок пятого Эренбург писал: «Трудно говорить о битве во время битвы. Будущий историк изучит освобождение Польши и сражение за Восточную Пруссию. Если нашим детям повезет, будущий Толстой покажет и душу молодого советского офицера, который сейчас умирает под зимними звездами».

Слова Эренбурга имеют самое непосредственное отношение и к Бакланову, к его литературному творчеству, о котором он, правда, в ту пору не мог и думать. Именно в эти, последние дни января, рассказывал Бакланов, «мы брали Секешфехервар, и отдавали, и снова брали, и однажды я даже позавидовал убитым. Мела поземка, секло лицо сухим снегом, а мы шли сгорбленные, вымотанные до бесчувствия. А мертвые лежали в кукурузе — и те, что недавно убиты, и с прошлого раза, — всех заметало снегом, ровняло с белой землей. Слово среди сна очнувшись, я подумал, на них глядя: они лежат, а ты еще побегаешь, а потом будешь лежать так».

Только пережив такое, можно было потом правдиво рассказать о том, что было на душе у молодого офицера, умиравшего под зимними звездами на поле боя.

Поколение писателей, к которому принадлежит Бакланов, назвали фронтовым, а их первые книги о войне, появившиеся на рубеже 50-х и 60-х годов, — лейтенантской литературой. Действительно, их авторы на фронте, как хорошо сказал Александр Твардовский, «выше лейтенантов не поднимались и дальше командира полка не ходили» и «видели пот и кровь войны на своей гимнастерке». Они принесли в литературу тяжелый, кровавый опыт «окопников». Писали они о том, что видели и пережили сами, что было уделом огромного числа людей, составлявших основание той грандиозной пирамиды, которую представляла собой действующая армия. Их книги и стали критиковать за «окопную правду». Эта формула долгое время служила некоторым писателям и критикам — весьма влиятельным в ту пору — грозным идеологическим обвинением. Воинственная кампания по искоренению «окопной правды» дорого стоила литературе о войне, но закончилась она — таков финал всех подобного рода походов — поражением ревнителей лака и глянца. В год 40-летия Победы Виктор Астафьев писал об этом в заметках, которые назывались «Там, в окопах»: «Я был рядовым бойцом на войне, и наша солдатская правда была названа одним бойким писателем — «окоп-

ной», высказывания наши — «кочкой зрения». Теперь слова «окопная правда» воспринимаются только в единственном, высоком их смысле...»

Обо всем этом необходимо напомнить, чтобы яснее представить себе, как прозвучали первые военные повести Бакланова: «Южнее главного удара» (1957), «Пядь земли» (1959), «Мертвые сраму не имут» (1961). Василь Быков вспоминает, какое впечатление на него произвела повесть «Южнее главного удара»: «Первая военная повесть Г Бакланова явилась для меня необыкновенно наглядным примером того, как неприкрашенная военная действительность под пером настоящего художника зримо превращается в высокое искусство, исполненное красоты и правды. Во всяком случае, с благоговейным трепетом прочитав эту небольшую повесть, я понял, как надо писать о войне, и думаю, что не ошибся». Хочу подчеркнуть весомость слов Быкова — ведь он, как и Бакланов, был офицером-артиллеристом и участвовал в тех ожесточенных боях за венгерский город Секешфехервар, которые описаны в повести «Южнее главного удара». В ту пору «неприкрашенная военная действительность» не слишком часто встречалась в книгах и далеко не всем писателям и критикам казалась необходимой или даже просто допустимой, иначе принцип — о войне надо писать без умолчаний и прикрас — не воспринимался бы как откровение.

Роман «Июль 41 года» (1964) написан зрелым художником, утвердившимся в тех принципах, что были заявлены им в предшествующих вещах. Книга эта занимает особое место в творчестве Бакланова. «Июль 41 года», — признавался автор, — мне дорог потому, что из всех моих книг у этого романа судьба была самой трудной. Он был опубликован в журнале, дважды вышел отдельным изданием, а потом его не переиздавали двенадцать лет. Если воспользоваться образом Твардовского, он мне дорог «как тот сын, что рос не в доле, а в долину бед и гроз...». Горькая правда о начале войны, о причинах наших тяжелых поражений, которую нес этот роман, была в годы «застоя» явно не ко двору...

«Июль 41 года» — первый написанный Баклановым роман: поставленная им перед собой задача — постичь закономерности времени — привела его именно к этой жанровой структуре, к такому срезу действительности. Вскоре после того, как появился «Июль 41 года», Бакланов писал: «Великая Отечественная война, как и вся мировая война, не была чем-то отъединенным, локальным в жизни стран и народов. И характер их, и поражения, и победы во многом определялись предшествующей историей». И еще: «Труд писателя, ставящего

своей целью рассказать о времени, это в какой-то своей части непременно труд исследователя экономических и общественных условий, формировавших характеры и отношения, вторгавшихся даже в интимную жизнь людей, исследователя характеров, сформированных временем и формировавших время». Так определял для себя Бакланов ту художественную задачу, которую старался решить в своем романе. И изо всех персонажей, нарисованных им в этой книге, самый важный для него — Время.

Недавно известный наш социолог Владимир Шубкин, вспоминая военное лихолетье, писал: «В войну вступила предвоенная страна. И все, что было в ней: способность к самопожертвованию и подозрительность, жестокость и душевная незащищенность, подлость и наивная романтика, официально демонстрируемая преданность вождю и глубоко скрытые сомнения, тупая неповоротливость бюрократов, перестраховщиков и лихая надежда на авось, тяжкий груз обид и ощущение справедливости этой войны, — все народ принес с собой на фронт. Ничего не оставил, ничего не забыл. И со всем этим сталкивались и солдаты, и маршалы»¹ Эта мысль может служить ключом к роману «Июль 41 года». Рисуя один из самых тяжелых месяцев войны, Бакланов стремится проникнуть в дальние, глубинные причины наших жестоких военных неудач, при этом он зорко видит и то, в чем мы были сильны, что в дальнейшем должно было изменить ход событий. В предыдущие годы о наивной романтике и способности к самопожертвованию писали много и охотно, а о жестокости, о разъедающей души и разрывающей человеческие связи подозрительности очень мало, почти ничего. А между тем многие наши беды коренились в атмосфере недоверия и подозрительности, носившей тотальный характер. «В 1937—1938 гг., а также в последующее время в результате необоснованных массовых репрессий погиб цвет командного и политического состава Красной Армии», — говорится в историческом очерке. И далее приводятся фактические данные: «как «агенты иностранных разведок» и «враги народа» были осуждены и уничтожены три Маршала Советского Союза, все командующие военных округов, все командиры корпусов, почти все командиры дивизий и т. д. — в общем «всего за 1937—1938 гг. репрессиям подверглась одна пятая часть офицерских кадров»²

Конечно, давление такого рода обстоятельств разными людьми воспринималось по-разному, на одних они действова-

¹ Литературная газета, 1987, 23 сентября, с. 13.

² Великая Отечественная война. 1941—1945. Краткая история. М., Воениздат, 1967, с. 39—40.

ли сильнее, на других слабее. Возникавшие при этом нравственные деформации могли быть более и менее глубокими, преходящими, преодолимыми со временем и укоренившимися у иных навсегда, но вовсе избежать их мало кому удавалось. Таких, как Федор Раскольников, понимавших подлинные причины массовых репрессий, были считанные единицы. Многие по лености ума и души, а иные из корысти — осwoбoждались посты, выгодные должности, замаячили стремительные карьеры — старались ни о чем не думать, все принимали на веру: нет дыма без огня, зря не берут, раз посадили, значит, за дело — нас же это не касается, не коснется. Другие, оглушенные, сбитые с толку, запуганные, но все-таки в глубине души сомневающиеся, что тысячи и тысячи людей могли шпионить, вредить, двурушничать, пытались хоть как-то разобраться в действительности, становившейся «фантомной», но дальше «Лес рубят — щепки летят», «Сталин не знает...» обычно не шли. В романе «В июле 41 года» показано, какие все это имело тяжелейшие общественные последствия: подтачивалась сплоченность народа, воспитывалась психология «винтиков», нерассуждающих исполнителей предначертаний вождя, взаимная отчужденность, страх перед ответственностью. Говоря о последствиях массовых репрессий, Константин Симонов отмечал — и это имеет самое непосредственное отношение к героям Бакланова: «Речь идет не только о потерях, связанных с ушедшими. Надо помнить, что творилось в душах людей, оставшихся служить в армии, о силе нанесенного им духовного удара. Надо помнить, каких невероятных трудов стоило армии — в данном случае я говорю только об армии — начать приходить в себя после этих страшных ударов. К началу войны этот процесс еще не закончился. Армия оказалась не только в самом трудном периоде незаконченного перевооружения, но и в не менее трудном периоде восстановления моральных ценностей и дисциплины».

Война сурово проверяла, кто чего стоит, кто на что способен. Это было и строгое испытание формировавших людей обстоятельств: как они, предвоенные обстоятельства, отозвались потом, в час грозных испытаний. И главный герой романа «В июле 41 года» командир корпуса Щербатов мучительно размышляет над тем, что было тогда не так, чего он не сделал в свое время, чтобы изменить обстоятельства, почему опустил руки. Он стремится извлечь для себя из прошлого уроки. Не должно быть ни малейшего зазора между служебным и нравственным долгом, то, чего не приемлет нравственное чувство, не может быть на пользу, рано или поздно скажется самым пагубным образом — вот вывод, в котором укрепляется Щер-

батов, пережив потрясения первых недель войны. И тут обнаруживается принципиальное отличие Щербатова от командующего армией Лапшина. Ошибки и промахи Лапшина (в пределах возможного, никто тогда не мог сотворить чуда — превосходство было на стороне врага) не одного профессионального свойства, они коренятся в ущербности его нравственных представлений, в атрофии гражданского самосознания. Щербатов и Лапшин не только два типа военачальника — они олицетворяют разное отношение к жизни, к делу своей жизни: один человек идейный, выполняющий свой долг не за страх, а за совесть, другой — бездумный исполнитель, не способный к самостоятельным решениям и действиям...

И еще один персонаж противостоит Щербатову — это начальник особого отдела Шалаев. Не за страх, а за совесть — убежден Щербатов, — только так можно сплотить людей, и они будут сопротивляться врагу до последнего дыхания. За страх — считает Шалаев, — если держать всех в страхе, мы станем сильными и неуязвимыми. Он давно утратил идейные и нравственные ориентиры и не способен отличить правых от виноватых, не может и не желает. В результате Шалаев сеет вокруг себя смятение и панику, в сущности, он расшатывает моральный фундамент армии, подрывает ее сплоченность, порождает недоверие и отчужденность.

Щербатов — главный герой романа не потому только, что все сюжетные нити книги так или иначе стянуты к этому образу, а потому, что в его характере заключен самый высокий идейный и нравственный потенциал. Щербатов словно бы аккумулирует спокойную стойкость Прищемихина и неиссякаемый оптимизм Нестеренко, самозабвенную готовность Бровальского отдать себя людям и трезвый, ни перед чем не останавливающийся анализ Тройникова. В свою очередь, эти и многие другие окружающие Щербатова люди заряжаются его духовной силой, неостывающей верой в торжество нашего дела, потому что это правое дело, его гуманизмом и справедливостью. В самые критические минуты, подымая в атаку бойцов, прорывающихся из окружения, шагая под огнем в цепи, как все они с винтовкой наперевес, навстречу неведомой судьбе, Щербатов твердо верил, что «через страдания и кровь, через многие жертвы, так же неостановимо, как восходит солнце, взойдет и засияет людям выстрадавшая ими победа».

Пятнадцать лет после «Июля 41 года» Бакланов не касался военной темы: не потому, что материал был «отработан» — война неисчерпаема, а потому, что он требовал нового подхода. А новый подход нельзя выдумать, «изобрести». Только накопленный жизненный опыт может изменить угол зрения пи-

сателя, и тогда ему открывается то, что прежде не бросалось в глаза, хотя и было очень важным — он это видел, да тогда не приметил... Под таким новым углом зрения написана война в повести «Навеки — девятнадцатилетние» (1979).

«Отцы-командиры» — так в былые времена называли боевых офицеров, тех, кто особым образом отнесся к солдатам. И дело было не в патриархальных нравах, а в высоте понимания ими воинского и человеческого долга. Офицеру на войне дано право распоряжаться жизнью солдат, но он должен делать все, чтобы уберечь их от зряшных опасностей — и без того они постоянно на виду у смерти. А разве не его дело позаботиться о харче и ночлеге для подчиненных, чтобы были одеты, обуты? Строг, но справедлив — говорили о таком командире: спрашивает за дело строго, да и себе никаких поблажек не дает, но судит справедливо, сознавая, что и в походе и на поле боя больше всех достается солдату...

В Великую Отечественную эти слова — «отец-командир» — не были в ходу. Наверное, потому, что очень многим взводным и ротным — тем офицерам, что ближе всего стояли к солдатам, — было в ту пору двадцать, девятнадцать, а то и восемнадцать лет, кроме фронта, за плечами у них был лишь ускоренный выпуск военного училища, — какие уж «отцы», пожилые солдаты между собой потихоньку называли их «сынками». Писатели фронтового поколения в своих книгах уже немало рассказали об этих юных офицерах, нравственный кодекс которых, поведение на передовой, отношение к подчиненным заставляют вспомнить это старомодное, но исполненное благородного смысла понятие — «отцы-командиры»...

Таков герой повести «Навеки — девятнадцатилетние» лейтенант-артиллерист Володя Третьяков. В повести — история одной судьбы, одной юной жизни, а для названия ее автор выбрал множественное число — чтобы подчеркнуть, речь пойдет о судьбе целого поколения. И, пожалуй, самое характерное, самое примечательное в духовном облике этого поколения — высочайшее, бескомпромиссное чувство ответственности. Вот стоит лейтенант Третьяков перед заробевшими батареями: по хлипкому деревянному мосту надо переправить трактора и тяжелые орудия, а выдержит ли он, солдаты сомневаются. «Все они вместе и по отдельности каждый отвечали за страну, и за войну, и за все, что есть на свете и после них будет. Но за то, чтобы привести батарею к сроку, отвечал он один». Конечно, лейтенант мог просто приказать — и все, но ведь он отвечал еще и за них и хотел, чтобы они поняли: их жизнями он распоряжается не легкомысленно, не безрассуд-

но, — чтобы ободрить солдат, Третьяков встал под мостом, по которому двинулись тягачи с орудиями...

В повести множество невыдуманных — тех, что придумать невозможно, подробностей, свидетельствующих, что запас фронтовых впечатлений у автора не исчерпан, неисчерпаем, — подробностей драматических, ужасных («...Лежали они в траве перед противотанковым рвом, будто все еще ползли. И внизу, скатившись туда от разрыва, чуть не наступил Третьяков на полузасыпанного глиной бойца. Чей-то зеленый телефонный провод пролег через него поперек»), порой забавных — всякое бывало на фронте (под обстрелом два солдата — артиллерист и пехотинец — схватились из-за пригнувшейся им немецкой катушки с проводом, — «железный скрежет снаряда. Оба присели, катушку ни один из них не выпускал из рук»), иногда смешных и страшных одновременно («Они в пехоте, — не без зависти рассказывает солдат-артиллерист, — потери на другой день сообщают. Сначала водку получают, потом потери сообщат. Завтра, знаете, сколько у них будет водки!..»).

Впрочем, все это — точные и выразительные детали, складывающиеся в широкую и безупречно правдивую картину легкой жизни офицера переднего края, — было присуще и прежним произведениям Бакланова. Много общего у лейтенанта Третьякова и героя «Пяди земли» лейтенанта Мотовилова — и в короткой биографии, и в житейских правилах и представлениях, неизменно справедливых, и в складе чувств и мыслей. Но теперь, через двадцать лет, которые отделяют повесть «Навеки — девятнадцатилетние» от «Пяди земли», автор, человек уже зрелого возраста, острее и пронизательнее видит, что герой его, на которого всей тяжестью обрушилась война, в сущности, еще мальчик, едва-едва ступивший на порог юности. Ему даже вспоминать еще нечего, кроме родительского дома и школы. И даже роман его со школьницей Сашей — если можно назвать романом их застенчивую, стыдливую влюбленность — это от неосознанной тоски по дому, по материнской заботе и ласке, по младшей сестренке. Бакланов рассказывал в интервью: «Навеки — девятнадцатилетние» я писал, когда мне было уже за пятьдесят. И герой этой повести, как и Мотовилов, нынче годится мне уже не в сыновья даже, а почти что во внуки. Я думаю об этих юношах — святых, честных, самоотверженно выполнивших свой долг, — с отеческим чувством думаю о них, мне больно, что так рано оборвались их жизни». Если в «Пяди земли» автор и герой неразделимы, сливаются, повесть написана от первого лица — это сделано сознательно, то так же намеренно в «Навеки —

девятнадцатилетние» они «разведены», автору необходима дистанция, чтобы выразить новое, «отеческое чувство» к герою, который в «Пяди земли» ощущал себя сильным, взрослым, нестигаемым.

Юность, у которой все еще только в будущем, только обещание, юношеская незащищенность, открытость, отзывчивость и кровавая беспощадность войны, косящей молодые побеги жизни, — этот чудовищный контраст ни на минуту не исчезает из авторского поля зрения, он пронизывает образный строй произведения, написанного очень плотно, так что весомой и многозначительной оказывается едва ли не каждая деталь. В нынешнем чувстве автора куда больше горечи: не случайно Мотовилов остается жив, а Третьяков гибнет. Как верно заметил Вячеслав Кондратьев, «Навеки — девятнадцатилетние» — это реквием. И не смешно, а горько, что «отцами-командирами» были Мотовилов и Третьяков, но эта горькая ирония не принижает, а возвышает девятнадцатилетних. Им была предложена историей немислимо тяжкая задача, они с ней справились и свой долг выполнили до конца, не щадя себя, своей жизни...

Мы все еще с пристрастием, с сердцебиением допрашиваем войну, как там было, хотим во что бы то ни стало докопаться до истины. Но думаем при этом не только о войне, но и о нашей сегодняшней жизни. Почему? Четверть века назад Сергей Орлов написал стихотворение «Мой лейтенант» — оно содержит ответ на этот вопрос:

Я живу в тиши, одетый, сытый,
В теплом учреждении служу,
Лейтенант рискует быть убитым —
Я из риска слова не скажу.
Бой идет. Кончатся снаряды.
Лейтенант выходит на таран —
Я не лезу в спор, где драться надо,
Не простит меня мой лейтенант!

Нравственный кодекс, который утверждается в военной прозе Григория Бакланова, противостоит засасывающей тине житейской суеты, кажущихся мало что значащими сделок с совестью, оправдываемого обстоятельствами равнодушия. Книжки его заставляют думать не только о войне, но и о том, как нам жить дальше...

Л. Л а з а р е в

Июль 41 года

ГЛАВА I

Пакет доставил офицер связи на рассвете. В пути он попал под бомбежку; пыльного, бледного от потери крови, его провели к командиру корпуса, но от дверей он пошел сам, твердо ступая, ловя подошвой качающийся, ухотивший из-под ног пол.

Командир корпуса генерал Щербатов, встав от стола, встретил его строгим взглядом. Он еще не знал, что в пакете, но вид человека, доставившего его, ничего хорошего не предвещал.

Докладывая наизусть, офицер связи в какой-то момент перестал слышать свой голос. Сквозь горячее, прихлынувшее к ушам, он слышал только усиливающиеся гулкие толчки своего сердца, а лицо и губы обморочно немели. И с единственной страшной мыслью: «Не упасть!» — он подал пакет в пустоту, туда, где только что стоял командир корпуса, а теперь, раздвинувшись, два человека плыли в стороны друг от друга, образуя посредине пустое пространство...

Ординарцы, курившие на пригретом, подсыхавшем на утреннем солнце крыльце, видели, как офицер связи шагнул через порог — белый из темноты сеней, бескровные губы сжаты, глаза глядят мимо. Остановился. И прежде чем его догадались подхватить, мутнеющие зрачки покатались под лоб, и как стоял — успел только рукой схватиться за воздух — рухнул на спину, с костяным стуком ударившись затылком о доски пола.

А вскоре в рассветном тумане, сквозь который уже грело солнце, разлетелись по всем направлениям связные, нахлестывая коней.

В пакете, который доставил офицер связи, был приказ корпусу срочно наступать. Вырвавшийся недавно из окружения, потеряв там большую часть тяжелой артиллерии и боеприпасов, корпус состоял фактически из

116-й стрелковой дивизии. Но недавно в него влилась другая дивизия, только что прибывшая на фронт. Она выгружалась в разных местах и неодновременно, этой ночью удалось наконец ее собрать.

Корпус стоял в лесах, бои шли севернее. Там наступала немецкая группировка, с каждым часом продвигавшаяся все дальше. Вклинившись глубоко в оборону, преследуя отступающую армию, группировка эта одновременно создавала реальную угрозу корпусу. Но и он опасно нависал над ее правым флангом, и момент для удара был выбран удачный.

Приказом о наступлении командующий армией подчинял Щербатову еще одну дивизию, 98-ю стрелковую, которой командовал генерал Голощеков. Она должна была выгружаться где-то в радиусе семидесяти километров или уже находилась на марше, и приказывалось найти ее. Но Щербатов знал то, что, видимо, не знал еще командующий армией: дивизии этой не было. Она не дошла до фронта. Ее разбомбили в эшелонах, в пути. Единственный полк, успевший выгрузиться и двигавшийся на машинах днем, походной колонной, заметила немецкая авиация, слетелась отовсюду и уже не выпустила живым. На песчаной вязкой дороге Щербатов видел колонну грузовых машин, растянувшуюся на два километра. Они стояли среди бомбовых воронок, сгоревшие, пробитые осколками. Но были и совершенно целые машины. В кузовах вповалку лежали бойцы. Как сидели они тесно, с винтовками между колен, так лежали сейчас, расстрелянные сверху из пулеметов. Молодые, крепкие ребята, во всем новом, с противогазами в холщовых сумках, со скатками через плечо, иные в касках на головах. Возможно, даже увидели самолеты и смотрели на них снизу: любопытно — немецкие, не видели еще ни разу. И далеко по обе стороны от колонны лежали в поле убитые: кто успел выскочить и бежал и за кем после гонялись самолеты.

Вот эту дивизию подчиняли сейчас Щербатову приказом о наступлении.

Постепенно стали прибывать командиры, вызванные на совет. Первым прибыл полковник Нестеренко, могучий, красный и седой, в выгоревшей гимнастерке, но в новых ремнях и сверкающем оружии.

Командир другой дивизии, входившей в корпус Щербатова, полковник Тройников, по годам почти что годился Нестеренко в сыновья. Он опоздал на совет.

В одиночку разбойничавший над дорогой «мессершмитт» погнался в степи за его машиной. И если б не адъютант, сидевший сзади, Тройников, наверное, не заметил бы, как выскочил самолет из облачка.

Дважды зайдя издалека, «мессершмитт» пикировал на них, стремительно сближаясь со своей тенью. И все это вместе в сумасшедшем вихре несло по степи: крошечная машина, вздымающая хвост пыли до небес, огромная тень, простертыми крылами скачущая за ней вслед по рытвинам, и сверху с металлическим звоном косо скользящий к земле самолет, блестящий и маленький по сравнению со своей тенью. Машина резко кидалась вбок, тень перескакивала ее. Свист, треск пулеметов над головой, хлещущие по земле очереди. Самолет взмывал вдали, и только обезглавленный хвост пыли некоторое время сам двигался по дороге, словно сохранив стремительность погони.

Тройников мог бы скрыться в лесу, но там был штаб корпуса, он не хотел навести на него «мессершмитт». И снова все начиналось сначала: машина выбиралась на дорогу, а из-за края степи уже несся на нее самолет. Опять, сливаясь, дорога летела навстречу. Скорость была такая, что в какой-то момент Тройников физически почувствовал, как все остановилось, повисло в пространстве: и машина, и самолет в воздухе. Исчезли звуки, только ветер давил на уши. И в эту пустоту со свистом пушечного снаряда косо ворвался самолет. Он взмыл у самого горизонта.

В последний раз «мессершмитт» пошел в лоб. Солнце светило встречно, и тень его осталась за холмами. Она выскочила оттуда, когда пулеметные очереди уже мели по дороге, гоня навстречу машине пыль. Был мгновенный и острый холодок под сердцем, но голова осталась трезвой и руки прочно держали руль.

— Пригнись!..

Туда, навстречу хлещущим пулеметным очередям, толкнул Тройников машину и проскочил. Не сбавляя скорости, оглянулся. Он увидел затылок адъютанта, с которого ветер сдул волосы наперед. Адъютант смотрел вслед исчезающему в небе самолету.

Пыльный, успев только руки помыть, вошел Тройников на совет. В нем еще дрожал неостывший азарт. Тем сдержанней, холодней был он внешне. Только в черных, горячих глазах посвечивало что-то.

Начальник штаба корпуса генерал-майор Сорокин, которому предстояло ознакомить командиров с задачей, покачал головой:

— Заставляете себя ждать, полковник!

Он волновался, как школьник перед экзаменом, и опоздание Тройникова в такой момент воспринял как личный выпад. И уже все в Тройникове показалось ему неприличным: и молодость его, и пышущее здоровье, и даже то, как он носил планшетку на длинном, до колена ремешке.

Покраснев сквозь загар, отчего лицо его только стало смуглей, Тройников сказал сдержанно:

— Прошу простить за опоздание.

И занял свое место. Сорокин поднялся, костистыми кулаками уперся в стол.

— У всех приготовлены карты?

И откашлялся.

Незадолго до войны, совершенно неожиданно для себя, Сорокин был произведен в генералы. Он и сейчас еще не понимал хорошенько, как это ему удалось взять рубеж, который для многих остается предельным. Недаром же в армии говорят, что полковник — это тот, кто в мирное время сидит и ждет, пока его догонит лейтенант.

Он до сих пор испытывал возбуждающее удовольствие, нечто вроде радостного шока, когда ему приносили на подпись бумаги, и в левом нижнем углу, выведенное писарским каллиграфическим почерком, он видел: «Начальник штаба 3-го стрелкового корпуса генерал-майор», а в правом, взятое в прямые скобки, — «Сорокин». Нахмурясь, с решительным блеском глаз, какой появлялся у него теперь при виде собственного звания на бумаге, он заносил тонко отточенный карандаш и снизу вверх, вкось, единым росчерком ставил свою подпись. Этот акт был исполнен для него некоего торжества, а писарям казалось вначале, что он сердится, не любит подписывать бумаги.

Большую часть жизни своей Сорокин истратил на то, чтобы, повышаясь постепенно, небойко, проходя все стадии и ступени и даже задерживаясь на них, дорасти до начальника штаба полка. Он понимал, что карьера его лишена блеска, — ну что ж, зато она была основательна, и он находил удовольствие в том, чтобы ставить ее в пример молодым.

И вдруг, когда он уже был немолод и уже не был честолюбив, в какие-нибудь три года он из начальника штаба полка вырос до начальника штаба корпуса и генерал-майора.

Никто не верит в свою бесталанность. А если кто и поверит временно, так ничего нет легче, чем убедить человека в том, что сам он и умен (во всяком случае, не глупей других), и способностями бог не обделил его, да только обстоятельства против него сложились... Во что, во что, а уж в это каждый готов поверить без принуждения. Потому, быть может, что потребности пользоваться благами жизни и способности создавать их даны людям чаще всего в обратной пропорции.

Сорокин понимал, конечно, что между начальником штаба полка и начальником штаба корпуса — существенная разница. Но раз вышестоящее начальство, люди ответственные, видели его в этой должности — значит, они видели в нем те скрытые возможности, которых сам он не видел в себе до сих пор. И он увидел их. А увидев, поверил в себя. Эта вера отражалась теперь во взгляде его, в походке, в том, как он ставил ногу в своем новом генеральском, с твердым голенищем, бутылкой шитом сапоге. И все-таки утрами, когда дух подавлен (утром только дети просыпаются румяные и свежие, и им сразу же хочется играть, а в его возрасте по утрам — дурной вкус во рту, мысли всякие, и с беспощадной резкостью видны все морщины), — утрами, когда он, не разогревшийся даже гимнастикой, а только уставший, брился перед зеркалом и видел свою седеющую грудь, оттягивал лишнюю кожу на шее, складки которой становилось все трудней выбривать, когда он смотрел на свои пальцы, плоские на концах и теперь большей частью холодные, — томило сомнение: поздно, ох поздно пришло это к нему... Годков бы хоть на пяток пораньше.

Война и сразу обрушившиеся тяжелые поражения смяли Сорокина. Это все было так непостижимо, непохоже на то, во что он верил и что знал. И главное, он не чувствовал в себе сил изменить что-либо. В горькие часы ночного раздумья за одно только упрекал он свою судьбу, что дожил, своими глазами увидел все это.

Сегодняшнее утро было утром его торжества. Он разрабатывал план наступления. С чисто выбритыми, раскрасневшимися, вздрагивающими щеками, ежеминутно откашливаясь, потому что садился и глох голос, он ставил задачи командирам дивизий.

В просторной горнице лесника с низкими окнами в толстых бревенчатых стенах, со свежим сосновым по-толком и выскобленным полом командиры тесно стояли над оперативной картой, расстеленной на двух столах. Сквозь двойные невыставленные рамы и герани на подоконниках ломилось утреннее солнце, жгло спины и шеи. Над склоненными головами, среди которых уже посвечивали загаром лысеющие затылки, плыли, колышась, пласты табачного дыма, попадая то в солнце, то в тень. Худая с синими венами рука Сорокина вела указкой по карте, прочерчивая оперативную мысль. И в строгой тишине раздавался только его глуховатый голос.

Командир корпуса генерал Щербатов со стертым до серебра времен гражданской войны орденом Боевого Красного Знамени на гимнастерке, каких теперь уже осталось немного, как и людей, некогда их получавших, сидел, нагнув широколобую голову, молчанием своим властно подтверждая каждое слово Сорокина.

Комиссар корпуса, полковой комиссар Бровальский, не мог усидеть на месте. Отойдя в тень, ягодицами опершись о прижатые к стене руки, он переводил глаза с одного лица на другое, и во взгляде его светился наивный восторг. Он чувствовал себя как человек, приготовивший подарок, о котором люди еще не знают, и заранее предвкушал удовольствие того момента, когда подарок будет вскрыт и показан всем.

Тихо на краешке стола курил начальник особого отдела Шалаев. Он носил в петлицах две шпалы — скромное звание «батальонный комиссар». Но, возможно, по другой линии было у него и другое звание. Он смотрел не на карту. Зорко прищуренными, неулыбчивыми глазами вел он по лицам. И курил. Синеватый дымок его папиросы истаявал в солнечном луче.

На равнине, прикрыв левый фланг лесом и ничем не прикрывшись справа, корпус должен был перейти в наступление и прорвать оборону противника. Но авиации не было, рассчитывать на поддержку с воздуха корпус не мог. У него был открыт не только правый фланг, но и небо над головой. Чтобы как-то выровнять положение, уменьшить основное преимущество немцев, Щербатов решил начать атаку не на рассвете, когда впереди оставался весь световой день и авиация немцев могла хозяйничать над полем безнаказанно, а начать ее за два часа до захода солнца.

Это было смело и непривычно. Ночью бой распадается на множество одиночных боев, управлять людьми на расстоянии становится почти невозможно, и Тройников понимал, что труднее всего будет его необстрелянной дивизии. Но он слушал с захватывающим интересом. Его только отвлекала дрожь ноги Бровальского, которую он все время ощущал рядом с собой.

С того момента, как было произнесено вслух то, что составляло изюминку плана — начать атаку за два часа до захода солнца, — Бровальский уже неотступно стоял позади Сорокина, смотрел через его плечо, с трудом унимая нервную дрожь ноги. Сам он практически в разработке плана не участвовал, но он присутствовал на всех стадиях составления его. И его радость, радость политработника, была, как всегда, не за себя, не за свои личные успехи, а за успех людей, с которыми он работал, за чьей спиной незримо стоял. И результатом его работы всегда были не сами дела, а люди, совершавшие эти дела. Он же оставался в тени, согретый сознанием, что нужен людям.

Сейчас со все возрастающим нетерпением, которое ему становилось трудно сдерживать, он ждал, когда будет произнесено то, что составляло вторую особенность плана. И когда это было произнесено, он незаметно отошел в тень к стене. За все время им лично не было сказано ни одного слова, но он выложил свой душевный заряд и теперь от стены влюбленными глазами смотрел на людей, которые этот заряд получили. Быть может, они даже не подозревали этого, но он радовался за них.

Второй особенностью плана было решение Щербатова начать атаку внезапно, без артподготовки. Корпус не мог надеяться на то, что боеприпасы ему подвезут. Приходилось рассчитывать на себя, надо было беречь снаряды, чтобы контратакующие немецкие танки встретить огнем.

Тройников посмотрел на командира корпуса. Тот сидел все так же, положив перед собой на стол руки, сцепленные пальцы в пальцы, — руки, в которых он сейчас держал судьбу всей операции. Лицо было неподвижно, веки опущены. За все время, пока говорил начальник штаба, он ни разу не поднял их. И вдруг нечто похожее на зависть к нему шевельнулось у Тройникова. Зависть к широте, к масштабам и возможностям, сосредоточенным в его руках. Что это: частная отвлекающая

операция или начало большего? А если начало, тогда сейчас уже должна прорисовываться главная цель.

Щербатов поднял голову, странным взглядом обвел всех присутствующих, посмотрел на часы:

— Прошу высказывать соображения.

И опять прикрыл глаза веками, приготовясь слушать. В лице его отчетливо проступило нетерпеливое выражение. Все планы, все наилучшим образом выбранные средства имеют тот постоянный недостаток, что в ходе операции они могут оказаться просто негодными. Две вещи никогда до конца не предугадаешь: меняющуюся обстановку и волю противника. Его могло бы разубедить в его опасениях только одно: еще одна полнокровная дивизия, которую в решительный момент он бросил бы на весы боя. Этой дивизии никто из присутствующих здесь командиров дать ему не мог. Она погибла, не дойдя до фронта. Все остальное Щербатову было безынтересно. Он давно уже переступил ту грань человеческого самолюбия, когда чрезвычайно важно знать мнение окружающих о себе, когда человек, похваливший тебя, начинает вдруг безотчетно нравиться, становится интересным, близким, чуть ли не другом тебе, с ним хочется еще и еще говорить. Это честолюбие перегорело в нем, оставив в душе горстку пепла. За все время совета ни один уголек не затлелся в ней, хотя были в плане моменты, которые в общем могли бы доставить ему удовлетворение. Он сидел, прикрыв глаза, чтобы не рассеиваться, прислушиваясь единственно к своему внутреннему чувству. Щербатов хотел выверить план на людях. Он по опыту знал: то, что наедине с собой иногда кажется особенно удачным, на людях вдруг вызывает резкое чувство стыда. Он сидел и слушал, опустив глаза. Он ни разу не испытал стыда. Но и радости он тоже не испытал.

— Кто еще? — спросил Щербатов, когда Нестеренко, кончив, сел.

— Разрешите, — сказал Тройников.

Он встал, но в этот момент Бровальский подошел к командиру корпуса, что-то тихо сказал ему, показывая на часы, и, прощально улыбнувшись всем, как бы прося не отвлекаться, вышел — отлично сложенный, мускулистый, с выправкой строевика. В этот час у него уже собрались отдельно политработники, и он шел не только ознакомить их с задачей корпуса, но и вселить в них радостную уверенность. Чтоб эту радостную уверен-

ность комиссары, парторги и комсорги понесли в батальоны, в роты, донесли до сердца каждого бойца переднего края.

Тройников спокойно ждал. Он единственный из всех присутствующих еще не воевал и понимал, какой отпечаток кладет это на все его предложения. В голосе его чувствовалось явное колебание, когда он сказал:

— Средства достижения цели выбраны наилучшие. Но я не вижу цель.

Впервые за весь совет Щербатов с живым интересом глянул на него. Сощурился, словно приходилось разглядывать издали, смотрел он на человека, который не видит цель. Сам он, если б его спросили, не видел значительно большего. Не только цели, но и средств достижения ее. Для серьезной операции у него просто не было их. И серьезных данных разведки тоже не было. Он готовился наступать почти вслепую. И все эти хитрости в плане, которыми Бровальский гордился, все это вынужденное, не от силы, от слабости. Как хитростью и смекалкой победить авиацию противника...

Но тут на углу стола завозился Шалаев.

— Нехорошо-о...— сказал он и покряхтел, уверенный, что его не перебьют, что к словам его и даже к его кряхтению прислушиваются со вниманием.— Нехорошо! Не видеть цели, когда идет война с фашизмом... И это говорит советский командир!..

Как человек, сказавший нечто удачное, он оглянулся, уверенно ожидая в этом месте встретить сочувственные улыбки. И не встретил ничьих глаз. Тишина затягивалась. И чем дальше затягивалась она, тем неудобней, хуже начинал чувствовать себя Шалаев. Он уже догадался, что сделал что-то не так.

Выждав время, Тройников посмотрел на него. Совершенно спокойными стеклянными глазами. Потом посмотрел на командира корпуса.

— Прошу продолжать!— повысил голос Щербатов, наливаясь гневом. Лицо его покраснело, заметней стала седина. Некоторое время слышно было одно его тяжелое дыхание. Если у него на совете, в его присутствии считали возможным ставить под сомнение политическую сознательность одного из двух его командиров дивизий, осмеливались в назидание всем, как мальчишку, учить полковника и коммуниста азбучным истинам, то в первую очередь это было оскорбление ему. А этого Щербатов принять не мог, и значит, этого не было.

Когда Тройников заговорил снова, все отчего-то старались не смотреть друг на друга. А на углу стола сидел бледный до желтизны Шалаев и, не владея лицом, нервно улыбался. Ожидай он заранее, что слова его вызовут такую реакцию, он бы не сказал их. Но с ним случилось то, что случается с людьми, слишком уверенными в себе. Все время, пока шел совет, он следил не за ходом военной мысли, в которой он, быть может, и не так хорошо разбирался, а за тем, как реагируют на полученный приказ командиры частей и соединений. Нестеренко реагировал правильно, так, как и следовало ожидать. И хотя в биографии его были моменты, о которых забыть не пришлось время, Шалаев в определенных границах доверял ему и с удовлетворением видел, что не ошибся.

Тройников же заявил сразу и вполне ясно: «Я не вижу цель». Не видеть цель, когда идет война с фашизмом, — такие слова нельзя было оставить без ответа. Тем более что они могли повлиять на других командиров. И он ответил на них должным образом.

Но хотя слова Тройникова были совершенно определенны и ясны, теперь он видел, что в них содержался другой, военный смысл, который здесь поняли все и вовремя не понял он один. Вот это обнаруживать не следовало. А главное, он перешел ту грань, которую ему переходить не разрешалось. Это было все равно что превысить власть. За превышение власти не хвалили.

С этой минуты в нем зрела безотчетная ненависть к Тройникову, такая, что временами обмирало сердце. Он не мог удержаться и взглядывал на него, бессознательно отыскивая те черты, которые эту ненависть могли укрепить.

И в то же время безошибочным чутьем, которое в равной мере есть у животных и у людей, особенно у людей нерешительных, позволяя им иногда выглядеть смелыми, чутьем этим Шалаев чувствовал, что Тройников не боится его. Командир корпуса бывал несдержан в гневе, но, читая в душах, Шалаев распознал, что перед той силой, которая негласно стояла за ним, Щербатов нетверд. И, будучи всего-батальонным комиссаром, что соответствует майору, он держался с командиром корпуса уверенно. Эта уверенность сегодня подвела его.

Во все время совета — и пока Тройников говорил, и после, когда он сидел, слушая соображения других, — он, как холод щекой, чувствовал ненависть, исходяв-

шую на него от человека, на которого он ни разу с тех пор не взглянул.

А за окном было позднее утро, солнце растопило смолу на стволах сосен, ею сильно пахло в лесном воздухе. Под навесом сарая ординарцы, забавляясь, повалили на землю щенка и по очереди соломинкой щекотали его тугой, раздувшийся от молока живот. Щенок, вывалявшись в пыли и сухом конском помете, скалил молодые клыки, лязгал ими, пытаясь укусить. Ординарцы хохотали, смачно сплевывая и куря, как по уговору не замечали лесника, хозяина дома. Высокий жилистый мужик в зимней шапке, под которой он прятал лысину, с бородой святого и глазами разбойника, он то из-за одного угла появится, то из-за другого, то веревочку подберет с земли, то гвоздик — мало ли добра раскидано, где военные стали на постой! — а сам глядел-глядел, чтоб солдаты сигарками не спалили сарай. За смехом и разговорами о пустяках ординарцы и связные помалкивали о главном, томились, ожидая, когда кончится совет.

Множество телефонных проводов с крыльца и из форточек штаба тянулось в лес, чтобы донести в штабы дивизий и дальше зашифрованные приказы, когда придет время передать их. Но уже по другим проводам, идущим от сердца к сердцу, дошел до людей главный смысл происходящего.

Отпустив всех, Щербатов еще некоторое время работал с начальником штаба над картой. Потом он отпустил и Сорокина, тот ушел, забрав папку с документами и карандашами, и Щербатов остался один. И то неприятное, что не забылось, а только отодвинулось за делами, ждало, теперь напомнило о себе. Он оглядел избу, проходя, глянул на угол стола, где сидел Шалаев. Никто, возможно, не заметил и не понял, почему он, вдруг рассердясь и покраснев, повысил голос на командира дивизии, была только общая неловкость, но он-то хорошо понимал причину и знал. И рана, о которой напомнили, заныла сильней.

Все это началось не сегодня и не вчера, а много раньше. Он даже не смог бы сказать точно, когда это началось, но один момент он запомнил ясно. Он тогда впервые испытал унижительное чувство, отголосок которого прозвучал сегодня в его душе.

Тогда собрания шли часто, и бывало так, что на одном собрании человек выступал с разоблачениями, а уже на следующем про него говорили: «Как мы оказались настолько политически близорукими, что смогли проглядеть врага, продолжительное время безнаказанно орудовавшего среди нас?» И вот на таком собрании капитан, один из его командиров рот, тихий, бесцветный человек, вдруг попросил слова. И пока он шел по проходу, очень спокойный, обдергивая на себе гимнастерку, все что-то почувствовали. Закрытый по грудь трибуной — только плечи и голова его поднимались над ней, — он прокашлялся в кулак, показав свою плешивую макушку.

— Товарищи!

И с этим словом, положив обе руки на трибуну, он прочно утвердился на ней.

— Политический момент, который переживает сейчас наша страна, титаническая борьба, которую ведет наша партия под руководством верного продолжателя дела Ленина, гениального вождя и учителя Иосифа Виссарионовича Сталина (он первый заплодировал, высоко подымая руки над трибуной, как бы показывая их, и в зале, и в президиуме заплодировали, многие — с восторгом), эта борьба, товарищи, требует от каждого из нас не только бдительности, но и партийной принципиальности.

Он говорил глуховато, званием он был младше многих, но с тем, что он говорил на этой трибуне, он как бы поднялся надо всеми. И каждый вслушивался, чувствуя, что сейчас должно что-то произойти.

— Давайте спросим себя, как коммунист коммуниста, спросим, положи руку на сердце: «Всегда ли мы искренни перед партией? Всегда ли мы оказываемся способны стать выше личных, приятельских отношений?»

И, положи руку на сердце, выслушав себя с закрытыми глазами, капитан отрицательно покачал головой:

— Нет, товарищи! Не всегда! Вот среди нас сидит полковник...

Тут он впервые поднял голову и посмотрел в зал. И Щербатов увидел его глаза, глаза своего подчиненного, столько раз опускавшиеся перед ним. Сейчас это были глаза человека, для которого уже нет запретного, который переступил и не остановится ни перед чем. Взгляд их, подымаясь, прошел по рядам.

— ...Вон там в углу сидит полковник Масенко.

И весь зал обернулся туда, куда указал палец с трибуны, и каждый, кто знал Масенко и кто не знал его в лицо, сразу увидел его: белый, пригвожденный, сидел он, чем-то незримым сразу отделившись ото всех.

— А ведь вы неискренни перед партией, товарищ Масенко! Я бы на вашем месте вышел сюда,— в тишине раздался четкий стук костяшек пальцев по доске трибуны,— и рассказал присутствующим коммунистам... В двадцать седьмом году, помните, вы присутствовали на собрании троцкистов? Зачем скрывать от нас такой факт своей биографии?..

А по проходу уже шел, почти бежал пожилой полковник Масенко, рукой тянулся к президиуму, делал негодующие, отрицательные жесты. После смертной бледности кровь кинулась ему в лицо, его прошиб пот, он шел, утираясь, задыхающийся, всем своим видом подтверждая только что прозвучавшее обвинение. Перед ним отводили глаза.

— Я скажу... скажу!— кричал он еще снизу. Споткнувшись от поспешности на ступеньках, едва не упав, он взобрался на трибуну, где еще стоял капитан:— Я скажу-у!

Но в зале нарастал шум. То, что чувствовал каждый сейчас, Щербатов чувствовал в себе. Подумать, Масенко... Приятный скромный человек с боевой биографией. Троцкист!.. Вот уж невозможно было предположить. День, час назад спросили бы Щербатова, и он поручился бы за него. Ай-я-яй!..

А Масенко на трибуне непримиримо, угрожающе тряс щеками, и постепенно из-за общего шума пораженных открывшимся людей стал все-таки слышен его голос:

— Я был. Да. Я был послан... Я по заданию партии... А вы, голубчик... Вы как же? Вы почему меня видели там? Как вы там были? И я еще скажу. Я сам хотел сказать... выйти. Я назову.

Щурясь с яркого света сцены в зал слепыми от волнения глазами, он кого-то искал и не мог разглядеть.

— Я назову...

Зал затих.

— Вот... вот, пожалуйста... Капитан Городецкий был тогда... посещал. Полковник Фомин.

Тишина была полной. И над этой тишиной, над головами все выше подымался трясущийся палец Масенко. Слепо щурясь, он выбирал кого-то еще.

— Вот... Сейчас... Вот...

И вдруг палец остановился на Щербатове. В ту долю секунды, пока поворачивался к нему зал, Щербатов успел пережить все. Он, ни в чем не замешанный, ни в чем не виноватый, со страшной ясностью ощутил вдруг, как вся его жизнь может быть зачеркнута крест-накрест, если палец остановится на нем. Надо было встать, сказать, но он сидел перед надвигавшимся, оцепенение сковало его. А потом вместе со всеми он обернулся на того, на кого, перенесясь, указал трясущийся палец Масенко.

Случай этот вскоре забылся, чтобы потом вспоминаться не раз. Щербатов шел домой после собрания с тяжестью в душе, но и с сознанием, которое в те дни укрепляло многих: ведь вот его же не обвиняют ни в чем таком. Если поискать внимательно, то все-таки в каждом отдельном случае что-то можно найти: либо прошлые связи, либо за границей был...

Дом, в котором жил Щербатов, был необычный. Он стоял в глубине квартала, многоквартирный, шестиэтажный, серый, со всех четырех сторон окружив собой двор, каких тоже немного было в их городе. В дальнейшем такими должны были стать все дворы. Зелень, качели и песочники для малышей, выровненные спортивные площадки для молодежи, обнесенные металлической сеткой. Зимой на них заливали два катка. И до позднего вечера на сверкающем льду под электрическими лампочками, протянутыми в воздухе, стремительно мчались на коньках раскрасневшиеся нарядные дети, и среди них — тайком проникшие сюда дети с соседних дворов.

Даже среди ночи к подъездам дома подкатывали машины: люди, жившие здесь, работали поздно. В большинстве своем это были ответственные работники, старые большевики, крупные военные, многие из них еще с дореволюционным партийным стажем. Сейчас тревога и ожидание опустили на этот дом. И уже не во всех его окнах по вечерам зажигался свет.

В одну из ночей пришли в их подъезд. Щербатов услышал, как остановился лифт, услышал топот многих ног на лестничной площадке, сдержанные голоса. В чью постучатся дверь? Напротив жил профессор-хирург.

Щербатов быстро спрятал бумаги в ящик стола. Туда, где лежал пистолет. Теперь по ночам он перебирал бумаги. Готовился. Он не сегодня начал жизнь. Была революция, была гражданская война. Славные имена друзей, их письма, все это теперь могло стоить жизни.

Бесшумно вошла жена в халате поверх ночной рубашки. Так они сидели: он — в кресле, она — на краешке дивана, запахнув халатик на коленях, босые ноги в его домашних туфлях. Ждала молча — большие глаза на белом лице.

Позвонили к профессору. Дверь квартиры напротив, как мягкая спинка дивана, была обита дерматином для хорошей, спокойной жизни. За ее толстой обивкой умерли все звуки. Только перед утром звякнула цепочка и опять раздались шаги по лестнице. Ни плача, ни громкого голоса, словно негласно сговорились между собой и те, кому важно было, чтобы все это совершалось в тишине, и те, у кого крик души рвался наружу. Только ниже, ниже по спирали лестницы затихавшие шаги многих ног.

Из подъезда они вышли тесной группой. Среди штатских плащей и фуражек — человек, который много лет был его соседом. Было еще темно, как ночью, и горел желтый фонарь над подъездом. По асфальту двора двинулись к черной, блестящей под дождем машине; сверху и машина и люди казались расплюснутыми на асфальте. На виду всего дома, от взглядов спасаясь, от позора, профессор, спеша, сам сунулся непокрытой головой вперед, в распахнутую для него пустоту черной машины. Хлопнула дверца — гулко отдалось в каменном колодце двора, в приниженной тишине.

Взревев мотором, машина скрылась, а на том месте, где стояла она под дождем, осталось сухое пятно на асфальте и трое дворников в белых, словно на праздник надетых, фартуках.

У жены вдруг начался озноб. Она легла на диван и под двумя одеялами не могла унять дрожь. Он грел в ладонях ее ледяные ступни, а перед глазами, смотревшими в одну точку, в темный угол, стояло одно и то же — как сосед его, профессор, непокрытой головой вперед сам сунулся в распахнутую дверцу машины, приниженно склонив шею. И было в этой приниженности такое что-то, чего Щербатов понять не мог. После не раз он видел: невинные вели себя как виноватые, но в тот момент это объяснение не шло на ум.

Они были всего лишь добрые соседи. Общая лестничная площадка не соединяла и не разделяла две семьи. Но дети их учились в одной школе, бегали друг к другу за уроками. И сознание, что там, за той дверью, двое детей, не давало покоя. Щербатов разговаривал с сыном и ловил себя на том, что думает о тех детях. За столом жена смотрела на сына — и вдруг глаза ее наполнились слезами.

Однажды вечером, вернувшись домой раньше обычного, он застал соседку. Еще в передней жена шепотом предупредила, кто у них, и робко заглянула при этом ему в глаза. Щербатов вошел. Женщина поднялась ему навстречу, испуганно покраснев. Она знала, что, входя к ним в дом, она подвергает их опасности, и только в его отсутствие решилась зайти: с жены другой спрос, жена не работала. Щербатов почтительно поздоровался с нею. Она заторопилась уйти, но ее уговорили остаться. Она была причесана и одета особенно тщательно, и, понимая, что это могло показаться странным в ее положении, как бы предупреждая вопрос, сказала:

— Туда, в приемную, все стараются одеться прилично. Не богато, не вызывающе — прилично. Огромная очередь прилично одетых людей, старающихся произвести хорошее впечатление, а в окошке старичок отвечает всем одно и то же. Я никогда раньше представить не могла: там, в приемной, где все связаны одной судьбой, люди сторонятся друг друга. Как будто думают: «У них мужья действительно враги народа, но в отношении моего произошла ошибка, и это сейчас выяснится». Я встретила в очереди свою коллегу, врача нашей поликлиники — она отвернулась. Мы час стояли рядом, как незнакомые. Когда видишь там размеры всего... — она медленно покачала головой, глядя остановившимися глазами внутрь себя, во что-то ей одной видное. — Ничто не может помочь. Только случайность. Процент, в который кто-то попадет.

Уже встав и уходя, рассказала вдруг:

— Сегодня там девочка лет четырнадцати, такая, как моя Ира, принесла передачу сразу троим: матери, отцу и брату. Она приезжает откуда-то. Одна. От поезда до поезда. А окошко закрылось на перерыв на двадцать минут раньше. Кто что может сказать? И ей либо возвращаться обратно с передачей, либо сутки ждать на вокзале другого поезда. Она постучалась. Как мышка. Потом еще. И вдруг окно раскрылось, и через него ру-

кой вот так он толкнул ее. В лицо. Так, что она упала на нас... Знаете, это только ребенок мог сделать. — У нее вдруг мурашки пошли по щекам. — Мы, взрослые, самое большее — можем заплакать. Она бросилась на это окно, как звереныш, она била в него кулаками, кричала: «За что вы меня ударили? За что? За что?..» И что-то случилось с людьми. Очередь начала гудеть. И вы не поверите, он выбежал из дверей и сам при всех принял у нее посылку... Он не нас испугался, он что-то сделал недозволенное ему. Все должно совершаться в тишине и иметь вид закона. А он нарушил что-то.

Больше соседка не заходила к ним. И вскоре уже передачи носила их старшая дочь, Ира. И ей, и отцу. Как та четырнадцатилетняя девочка, о которой она рассказывала.

ГЛАВА II

Среди тысяч сыновей, вместе составлявших 3-й стрелковый корпус генерала Щербатова, был лейтенант Андрей Щербатов, его сын. Не адъютант, не радист при штабе, не артиллерист — командир стрелкового взвода. Когда-то и сам Щербатов командовал стрелковым взводом, только лет ему было поменьше, чем сыну, едва-едва за семнадцать перевалило. Был он тогда уже ранен и снова уходил на фронт. И плакала мать, когда, казалось бы, радоваться ей и гордиться надо, видя его в ремнях и коже, с маузером на боку. Матерей начинаешь понимать, когда у тебя у самого уже растет сын, такой же дурак, как ты когда-то. Но он — твой сын, и мать проводила его с тобой на войну.

Ночью Щербатов вызвал сына к себе. Он ждал его и думал о нем.

...Однажды Андрей прибежал из школы возбужденный. Это было время, когда ежедневно снимали одни портреты и вешали на их место другие, когда изымали книги и в учебниках зачеркивались фамилии. Андрей был в комитете комсомола, в гуще всех событий. В тот раз он прибежал после комсомольского собрания, на котором разбиралось дело его сверстницы, Иры, дочери соседней. У детей, как и у взрослых, существовал уже установившийся порядок: перед своими товарищами, перед классом она должна была на комсомольском со-

брани осудить своих родителей, врагов народа, отречься от них.

— Понимаешь, отец, — рассказывал Андрей, заново переживая, — мы ей говорим: «Тебя мы знаем, но им ты должна дать принципиальную оценку. Ты — комсомолка!» А она, как дура, стоит перед всеми и твердит свое: «Моя мама — честный человек. Она не может быть врагом народа. Даже когда папу арестовали, она мне все равно только хорошее говорила про товарища Сталина».

«Да ты пойми, говорим мы ей, они тебе всего не рассказывали». Объяснили ей, поняла, кажется, и — опять свое: «Моя мама — хороший человек». — «Значит, органы НКВД арестовывают невиновных, так по-твоему?»

Это говорил ему Андрей, сын, и лицо сына дышало искренним возбуждением. Щербатов спросил осторожно:

— А если б тебе сказали, что вот я, твой отец, — враг народа. И ты должен отречься от меня...

— При чем тут ты? — Андрей обиделся. — Как ты можешь так говорить? Ты в революцию воевал! А она сама созналась, что отец ее по месяцу не бывал дома, ездил в какие-то научные командировки. Научные!.. Может она знать, чем он там занимался? Ручаться имеет право? Два раза, оказывается, за границей был. Могли его там завербовать? Могли! Откуда она знает? Да если хочешь знать, у нас сегодня в школе у всех отобрали тетрадки с Вещим Олегом! Оказывается, если перевернуть тетрадку вниз головой, так из шпор получается фашистский знак. И другую тетрадку тоже отобрали. Где Пушкин. Там позади него — полки с книгами. Так из книг можно составить: «Гитлер»! Я сам проверял!..

Глаза Андрея блестели. Щербатов смотрел на него.

Андрей не знал прошлого. Не пережив сам, он знал его только в том виде, в котором оно существовало сейчас. Для Андрея, например, имена полководцев революции, ныне исчезнувших с позорным клеймом врагов народа, были просто именами. Для Щербатова это были живые люди, которых он знал, под чьим командованием сражался не в одном бою. Он помнил оборону Царицына несколько иначе, чем она излагалась теперь. Для Андрея же если не единственным, так величайшим полководцем революции был Сталин. И все планы разгрома белых, которые он изучал в школе, это были планы, предложенные Сталиным, которые потом Ленин одобрял. Он начал свою сознательную жизнь, когда

единственным именем, вобравшим в себя всё, было имя Сталина. Оно было так же несомненно, как солнце на небе, которое он привык видеть ежедневно, как воздух, которым он дышал.

Поколебать эту веру? А с чем оставить его в душе? Слепая вера страшна, но страшно и безверие. Быть может, впервые в тот раз вдвоем с сыном, родным человеком, Щербатов чувствовал себя одиноким.

...Щербатов стоял у окна, когда Андрей подошел к штабу. Светила луна из-за черных зубцов сосен, и в свет ее по росе вышли двое. Щербатов сразу увидел Андрея. А с ним была женщина. В юбке, с пистолетиком на боку, в пилотке набок. И, конечно, завитая. Вся в кудряшках. И старше его. Во всяком случае, опытней. Сразу видно, а Андрей держал ее руку. Они стояли под луной на расстоянии друг от друга, и Андрей смеясь рассказывал что-то и был счастлив. Но оттого, что на них могли смотреть ординарцы от штаба, он держался с нею небрежно. Как будто они просто знакомые. Просто шли вместе. Но ревнивым отцовским глазом Щербатов сразу увидел, что не просто знакомые. И передернул плечами. Он испытал брезгливое чувство. Дурак! Молодой и дурак! Цены себе не знает. Разве это нужно ему? В пилотке, с пистолетом...

Он отошел от окна, встретил сына, стоя посреди комнаты.

— Пришел? Здравствуй.

Щербатов подал руку, и сын с внезапно заблестевшими глазами стиснул ее изо всей силы. Рука отца была шире, ее неудобно было жать, Андрей даже заскрипел зубами от усилия. Мальчишка! Головки хромовых сапог его блестели росой, а голенища были седыми от пыли. Километров пять сейчас прошагал. От волос его, от гимнастерки пахло лесом, вечерним туманом — молодостью пахло.

— Сейчас будем обедать, — сказал Щербатов.

И тут в дверь вошел Бровальский.

— А-а!.. — сказал комиссар, увидев их вдвоем. И, дружески здороваясь с Андреем за руку, он улыбкой показал на него, словно бы представлял его Щербатову: «Каков!..»

— Ты здесь будешь? — спросил он погодя. — Так я поеду.

Это «ты» не было выражением полной душевной близости между ними. Это было скорее полагавшееся

«ты». Иначе могло выглядеть со стороны, что командир и комиссар как бы не едины.

— Съезжу погляжу, как там и что, — сказал Бровальский небрежно, как о несущественном, улыбнулся и поднял брови. Он был уверен в совершенной необходимости своей поездки.

Сейчас, когда в ночи уже снялись войска и начали свое движение к переднему краю, все, что было в штабе, устремилось туда, и Сорокин, и Бровальский вот тоже, словно бы им неловко было друг перед другом не участвовать. Они мчались, чтобы дать выход охватившему их нетерпению, чтобы там, на дорогах, превратившись в сержантов и взводных, отменять чьи-то приказания и давать свои, которые потому только лучше, что исходят от вышестоящего начальства; чтобы требовать к себе внимания и тем самым еще больше увеличивать путаницу и неразбериху.

— Ну что ж, езжай, — сказал Щербатов и кивнул, как бы подтвердив необходимость поездки. И они остались с сыном вдвоем.

— Отец, — сказал Андрей, — это правда?

И умоляюще глянул на него своими правдивыми глазами, в которых не то что мысль, тень мысли была уже видна — мать глядела из этих глаз. Щербатов нахмурился, засовывая угол салфетки за воротник, кашлянул густо. Не потому нахмурился, что Андрей не имел права спрашивать его об этом: лейтенант, даже если он сын командира корпуса, — все равно лейтенант, тем только и отличающийся от других, что с него больший спрос; и не потому, что это была немужская черта — проявлять несдержанность, а потому, что ему не по себе стало под устремленным на него честным, спрашивающим взглядом сына. И он нахмурился. Андрей покраснел до выступивших слез. И все же не мог скрыть радости. Потому что это — правда. Потому что готовилось наступление. Отец не случайно вызвал его к себе. И когда вошел ординарец с бутылкой водки в полотенце — он охладил ее в ведре с колодезной водой, и с бутылки сейчас капало, — Андрей и на него взглянул счастливыми, еще влажными и оттого особенно сиявшими глазами.

Ординарец, усатый и немолодой, достаточно на своем веку потянувший лямку, понял эту радость по-своему: как не обрадуешься у отца за столом после солдатской-то каши на травке! Она и хороша, и полезна

для солдата, пшенная каша, да плешь переедает. И, шевеля в улыбке усами, он с особенным, отцовским чувством, не заискивая, а единственно радуясь за Андрея, незаметно пододвигал ему что повкусней и налил ему полную, до краев стопку. Снизу Андрей благодарно улыбнулся ему. Он понимал, почему ординарец так на него смотрит. Это было выражением любви и уважения к его отцу. И, чокнувшись с отцом, Андрей поднял стопку, показывая ординарцу, что мысленно чокается с ним.

Они только сегодня узнали, сегодня поняли все, какой у него отец. А он всегда знал. Он не мог говорить этого, потому что отступали. Если бы знал отец, как больно, как тяжело было отступать! Не за себя. Что он, в конце концов! Тысячи лейтенантов таких, как он. Убьют — другого поставят, не худшего и не лучшего. Но отец... Как нестерпимо было ему, когда он, умней, талантливей, мужественней всех этих немецких генералов, и — отступает.

С первых сознательных дней он помнил холодок уважения, когда, осторожно приоткрывая дверь, сам ниже ручки, прокрадывался к отцу в кабинет. Черные клеенчатые (тогда они казались ему кожаными) кресла, крепкий запах табака, отцовская спина у стола в кресле — и тишина. Особенная тишина. А на стене сквозь дым блестело оружие. Отцовское оружие времен гражданской войны, которым он убивал врагов. Комбриг! Это его отец был комбриг. Потом начдив! Комкор! Как это звучало: «начдив»! Чапаев был начдив.

Самое счастливое время было, когда отец возвращался с маневров, из летних лагерей. Еще в коридоре он поднимал Андрея на руки, пропахший пылью походов, принеся ее с собою на плечах гимнастерки, на сапогах. Жесткая отцовская щека пахла махорочным дымом. А может быть, это пахло пороховым дымом или дымом ночных солдатских костров.

Все товарищи знали этот день, когда возвращался его отец. И они завидовали ему. А когда отца не было, он иногда тайком прокрадывался с ними в кабинет и там позволял им трогать на стене отцовское оружие. Только потрогать. Снять его оттуда он даже сам никогда не смел. И мальчишки, дотянувшись с дивана, трогали рукой, и металлический холод отгремевшего оружия заставлял вздрагивать от счастья их маленькие воробьиные сердца.

Все, что делал отец, было окружено в доме уважением. И то, как он выходил к столу, когда уже все за столом сидели, и особенно как он, закрывшись, часами работал в своем кабинете. На цыпочках проходя мимо двери, около которой всегда стоял в коридоре запах крепкого табака, Андрей слышал тишину и изредка в ней скрип пружин отцовского кресла. Это уважение и тишину в доме строго берегла мать. Особенно в последние годы. В эти годы уже взрослый Андрей, просыпаясь среди ночи, всегда слышал шаги в отцовском кабинете. Скрип, скрип, скрип... — из угла в угол сухо поскрипывали сапоги. И слышен был шепот матери. Днем она всегда была сдержанна, ровна, строга.

По целым ночам из-под двери кабинета светила в коридоре желтая полоса света и слышался шепот матери. Было это тревожно, хотелось не думать об этом. В эти предвоенные годы исчезли все лучшие товарищи отца. Андрей помнил их живыми. Веселые, сильные люди, смеясь, они сажали его к себе на колени, обтянутое синим диагональным или походным галифе — гоп! гоп! гоп! — и он подпрыгивал, словно на коне, счастливый и гордый. Они исчезали один за другим, вдруг, и отец по целым ночам ходил по кабинету из угла в угол, и по целым ночам светила из-под двери желтая полоса. Происходило что-то страшное, о чем в доме никогда не говорили с ним. Это нельзя было понять, можно было только не думать и верить. И Андрей верил, и основой его веры был отец.

Не в лётное, не в кавалерийское, не в танковое — он пошел в пехотное училище, идя дорогой своего отца. А когда началась война, он встретил ее вместе с отцом, под его командованием. И сейчас он снова гордился им. Он знал, отец не любит таких слов, он никогда не посмел бы их сказать ему. Он только поднял на него глаза, полные любви и гордости. Щербатов нахмурился.

— Отец! — сказал Андрей, а про себя подумал: «Черт! Водка, наверное». — Отец, если разрешаешь, налей еще одну.

Широкая рука Щербатова с бутылкой протянулась к нему. Она была рядом с ним, на весу. Отцовская рука. И Андрею за все, что она дала ему, за радость, которую он испытывал сейчас, вдруг захотелось поцеловать ее, широкую отцовскую руку. Но он сдержался.

Они говорили о матери: Щербатов только что получил от нее письма, для себя и для сына. Андрей ел и читал письмо, держа его перед тарелкой.

— Знаешь, отец, у нас командир роты вот такой. По плечо мне. Он, когда приказывает, вздрагивает от своего голоса и становится на носки. И руки держит самоварчиком...

Андрей рассказывал и сам же смеялся, и половину слов из-за этого нельзя было разобрать. Это у него с детства. Когда-то Щербатов учил его, что нельзя смеяться первому: ты рассказываешь, дай посмеяться другим. Он учил его быть сдержанным. А может, не это главное?

— И понимаешь, вчера исчез вдруг боец. Говорят, местный. Не из моего взвода. Так наш командир роты...

Андрей вдруг спохватился, робко глянул на отца. Глаза были виноватые. Он забыл в этот момент, что отец его — командир корпуса, и, рассказывая так, он подводит своего товарища, командира роты. Щербатов сделал вид, что не слышал. Да, этому он тоже учил его. Он учил его, что заслуги отца — это еще не заслуги сына. Все, что должен Андрей достигнуть в жизни, он должен достигнуть сам. Потому что не знал, будет ли и дальше у Андрея отец. А если это случится, ему будет трудней, чем многим его товарищам. Он не мог сказать Андрею, но готовил его к этому. Сын должен был выстоять. Выстоять и остаться человеком.

Он учил его быть честным. Много менялось в жизни, многие люди менялись на глазах. Но есть вечные человеческие ценности. Среди них — честность. Честь. А вот сейчас ему хотелось сказать Андрею, чтобы тот пошел к нему адъютантом. Почему адъютантом у него должен быть чужой, а не его собственный сын? Отец и сын — в этой войне они должны быть вместе. Об этом просит в письме мать. Но даже ради матери он не мог этого предложить Андрею.

Щербатов смотрел, как ест сын, молодой, страшно голодный. Смотрел на его наклоненную голову, маленькое покрасневшее ухо, за которое когда-то в детстве трепал его. На плечи, уже налившиеся силой, — португепя врезалась в них.

— Стой, отец! — Андрей даже есть перестал, вспомнив, и шлепнул себя по лбу. — Вот бы забыл! Понимаешь, у меня во взводе боец есть. Оказывается, инженер московского завода. Страшно головастый мужик. Я да-

же не понимаю, зачем такого взяли на фронт? Глупо. Что от него пользы с винтовкой? Убьют, и только, а он инженер. Отец, можно что-нибудь сделать?

Щербатов только усмехнулся.

— Просто глупо,— сказал Андрей.— Был бы он летчик хотя бы. Вот слушай, что он придумал. Обыкновенный лук, почти как у индейцев,— Андрей засмеялся, как в детстве.— Мы пробовали. Берешь бутылку с зажигательной смесью и стреляешь. На пятьдесят метров бьет. И точно бьет. Рукой так не кинешь. Знаешь, как удобно из окопа по танкам бить?

Щербатов едва не вздрогнул. Те в танках, в броне, под прикрытием самолетов, а его сын с луком, как индеец, готовится бутылками стрелять в них. И он, отец, командир корпуса и генерал, учит вот таких мальчиков не бояться танков, подпускать их ближе, пол-литровыми бутылками поджигать их, учит смекалке. Неужели он виноват, что так случилось?

— Отец,— сказал Андрей, прощаясь,— я рад, что мы вместе. Знаешь, как я в детстве завидовал тебе! Ты прости, что я тебе так говорю, ты не любишь этого, но ты знай: за меня ты стыдиться не будешь.

И он посмотрел на отца своими правдивыми глазами, взгляда которых Щербатов вынести не мог сейчас.

Он стоял у окна и видел, как Андрей напрямик идет через поляну, идет легко и радостно по траве, дымчатой от росы. Мальчик. Его сын. Которого мать проводила с ним на войну.

ГЛАВА III

Всю ночь по дорогам и бездорожно шли полки, перемещаясь вдоль фронта. В слитной людской массе, застряв и возвышаясь над нею, двигались пушки, повозки. Запах бензина, конского пота и махорки витал над походными колоннами. Рано поднявшаяся луна закатилась за лесом, и люди шли в кромешной тьме, в плотной, стоявшей над дорогами пыли. Скакали офицеры связи с приказами, кого-то поворачивая с полпути, кого-то направляя в другую сторону. Радостный подъем первых часов начинал сменяться усталостью, спешкой, раздражением.

Все это несметное множество людей и техники, из окопов, из лесных укрытий с первыми сумерками хлы-

нувшее на дороги, чтобы к рассвету исчезнуть, раствориться в окопах и лесах, теперь, казалось, запутывалось, стискивая друг друга, сбиваясь на мостах и гатях. А над ними, тяжелым гудением сотрясая воздух, проходили немецкие бомбардировщики, волна за волной, все на восток, на восток, на восток, где не утихал бой. И далеко на юге шел бой, и на севере вздрагивала земля от бомбовых ударов, явственно приблизившихся ночью. Но впереди фронт не молчал, изредка расцветая сериями взлетающих ракет; свет их, не пробиваясь, гаснул за лесом.

Захваченный общим движением, сжатый со всех сторон, Тройников остановил машину, не глуша мотора, сидел, положив руки на руль, а навстречу текли войска. Июльская ночь была душной, и пыль, вздымаемая тысячами сапог, висела над дорогой. Он слушал шаг пехоты, звяканье оружия, пригнанного снаряжения. Ощущение близкого боя уже владело людьми. Они проходили в пыли рядом с его машиной, узнавали, оборачивая на ходу лица. И в этих молодых, сдержанно-веселых лицах, на миг возникавших перед машиной из темноты и вновь исчезающих в темноте, в сотнях людей, проходивших под его строгим взглядом, он чувствовал сейчас то же, что чувствовал в самом себе. Он слышал шаг солдат, идущих с полной выкладкой, обрывки разговоров долетали до него. Не команды и приказы, а вот это возбуждение, равно владевшее им и его людьми, чувство собственной силы и ожидание боя было сейчас главным и необычайно значительным. И то ощущение физического здоровья, которое он знал в себе и особенно остро испытывал только в своей дивизии, он испытал и сейчас. Не роты и батальоны, а нечто нераздельное, здоровое, молодое, горячее двигалось мимо него и с ним вместе в бой. Голова его была холодной, а сердце, которым Тройников умел владеть, билось сильными, ровными ударами в такт их мерным шагам.

Он толкнул машину вперед, и лица, фигуры бойцов в гимнастерках, сторонящиеся с середины дороги, как бы на миг застывая в движении с занесенной ногой или рукой, быстрее замелькали навстречу.

Издали еще, подъезжая к мосту через мелкую речонку, Тройников услышал голоса и шум, и пехота оттуда шла с веселыми лицами, оставшие бегом догоняли товарищей. Тройников вылез из машины. Он узнал раздававшийся у моста голос начальника штаба корпуса

Сорокина с генеральскими раскатами и старческим беспомощным дребезжанием. Сам Тройников взыскивать со своих офицеров и солдат мог, дивизия была его. Но он не любил, когда это делали другие, тем более вышестоящие начальники. Сунув ключи от машины в карман, Тройников медленно пошел туда среди двигавшихся навстречу и расступавшихся перед ним солдат.

На мосту, который по заверениям мог бы выдержать танк, провалилась легкая пушка. И больше всех теперь недоумевали те, кто главным образом был виноват. Ну и, как водится, машина с начальством, которой и ехать тут было ни к чему, которая могла сейчас находиться на любой из дорог, к случаю оказалась именно здесь.

— Вот, полюбуйся на орлов! — издали заметив Тройникова, закричал начальник штаба. — Твои и Нестеренкины!

И в голосе его была личная обида человека, который все так хорошо составил, рассчитал и учел, и вот из-за нераспорядительности, из-за ротозейства, из-за какой-то несчастной пушки все рушилось и приходило в хаос. А уже напирала сзади машины и другие пушки, на дороге, сжатой с двух сторон лесом, образовывалась пробка.

Для Сорокина не имело значения, чья это пушка. Главным было, что рушился его продуманный во многих деталях план. Но для Тройникова как раз это имело значение. Одно дело, если это Нестеренкина пушка, и совсем другое дело, если это пушка его. В определенном смысле это сейчас был даже вопрос чести. Но вышло, кажется, что провалилась под мост его пушка. И командир батареи, растяпа, в присутствии вышестоящего начальства жаловался еще:

— Он, товарищ полковник, у меня бойца увел!

Красивая складывалась картина. Мало того, что пушка под мостом, так еще кто-то из Нестеренкиной дивизии увел у них бойца. С заложенными за спину руками Тройников повернулся туда, куда указывал капитан. Там стоял старший лейтенант артиллерист. Под взглядом командира дивизии он по-строевому отчетливо приложил руку к козырьку, но явно не робел. В нем чувствовалась нескованность человека, знающего себе цену и готового за свои действия отвечать. И обмундирование на нем сидело как влитое. Штатский человек, сколько бы ни старался, как бы ни затягивался, все равно видно, что в форму он влез, как лошадь в широ-

кий хомут. А этот словно родился в ремнях, и гимнастерка на его сильном теле сама сидела именно так, как единственно она и могла сидеть.

Опытным глазом Тройников все это увидел и оценил, но каждое из этих качеств, при других обстоятельствах расцениваемое со знаком плюс, теперь тем сильнее было направлено против старшего лейтенанта, чем более жалким по сравнению с ним выглядел растяпа капитан.

С холодным любопытством Тройников оглядел его. Смел! Сам Тройников не робел перед начальством, но это еще не значило, что в отношении него кто-то из подчиненных мог позволить себе подобное. Тем более офицер другой дивизии.

А Сорокин все еще кричал, и капитан вытягивался перед ним, пытаясь оправдаться. Ему то было обидно, что у него увели бойца и никто не хочет принять это во внимание. И не мог понять: раз его пушка под мостом, он уже ни в чем прав быть не может. Чем больше обижен, тем более виноват.

— Ты разберись тут, Тройников! — приказал Сорокин, строгостью прикрывая свою беспомощность. — Чтоб через десять минут пробка рассосалась. Это твой, между прочим, твой орел отличился: чужого бойца увел...

Так вот что оказывается! Это меняло картину. И Тройников заново оглядел старшего лейтенанта. «Смел!» — подумал он, на этот раз уже с одобрением. Теперь он заметил и двух бойцов с карабинами, стоявших за его плечом, — оба по виду и по духу такие же, как их комбат. А батареи поблизости не было. Батарей и того самого бойца, из-за которого шел спор, видимо, отправил вперед. Старший лейтенант начинал ему нравиться.

— Как фамилия? — спросил Тройников строго, поскольку подобных действий он одобрять не мог.

Комбат опять козырнул, и с ним вместе подтянулись оба разведчика.

— Старший лейтенант Гончаров, товарищ полковник!

Глаза глядели весело. Кажется, не глуп.

— Почему не знаю?

Улыбка, едва заметная, тронула губы комбата:

— Прибыл в вашу дивизию недавно, товарищ полковник!

Врет! По глазам видно. Но обстановку оценить сумел. И Тройников уже с удовольствием оглядел его, запоминая.

— Надо помочь Нестеренке,— сказал он, чтобы все слышали, и приласкал взглядом растяпу капитана, уже за одно то его полюбив, что он, такой неудачливый, был не в его дивизии. Да в его дивизии и не мог быть такой.— Поможем, раз в беду попал!

И оглянулся, уверенный, что кто-то, кто ему нужен, окажется за его спиной. И действительно, за спиной его оказался командир проходившего мимо батальона.

— Так точно, товарищ полковник, поможем,— доложил командир батальона, на лету смекнув.

До сих пор пехота, видя гневающегося генерала, сама, без команды, делала «шире шаг!», тем более что Сорочкин никому определенно ничего не приказывал, а кричал сразу на всех. И ни у кого не возникало охоты попасться ему на глаза. Но теперь тут был командир их дивизии, и он сказал: «Надо помочь». Направляясь к своей машине, Тройников видел, как солдаты посыпались под мост, где лежала провалившаяся пушка, и уже раздалось: «Раз, два — взяли!.. Еще — взяли!.. Сама пойдет! Сама пойдет!..»

Перед утром Тройников вернулся на свой КП. Издали заметя командира дивизии и весь подобранный, часовой с трофейным автоматом на груди приветствовал его. Тройников по своей привычке строго глянул солдату в глаза, окинул взглядом его всего от носков сапог до звездочки на пилотке.

Часовой был молодой, крепкий парень, давно влегший в солдатскую ляжку и несший ее легко. Он охотно тянулся перед командиром дивизии, но не слишком, а весело. Вот такие были бойцы его дивизии, на каждого приятно посмотреть. Ответив на приветствие, Тройников вошел в землянку.

Все то мелкое, что занимало его на дорогах — его ли пушка придет раньше, или пушка другой дивизии,— все это отошло сейчас на задний план. Тройников достал карту из планшетки, расстелил ее на столе — от движения воздуха в сыром сумраке землянки заколебались желтые огни свечей — и, закурив, уперевшись в расстеленную карту ладонями, задумался.

Да, он не воевал еще, предстоящий бой будет его первым боем. Но у него были свои преимущества перед

теми, кто перенес разгром, окружение, отступал от самых границ. Бесследно это не проходит.

Как в большинстве людей живет подспудное ощущение, что вся жизнь, которая промелькнула до них, была как бы подготовкой к тому главному, что началось с их появлением, так Тройникову казалось, что основное начинается только теперь. И перед тем, что начиналось, он был тверд. Стоя над картой, он думал не о потерянных километрах — не ими измеряется успех. Он думал о том, как будет изменен ход войны. Чем тяжелей положение, тем крупней должен быть риск. Он чувствовал в себе силы, верил, что его час придет.

Отвлек Тройникова адъютант, явившийся доложить, что командиры полков, вызванные на рекогносцировку, прибыли.

С холма видно было поле, реку и деревню за рекой. И весь этот очерченный тающим горизонтом простор полей, с деревенькой вдали, с блеском реки и лесом, с желтыми хлебами, зеленым лугом, с высоким летним небом, вместе с облаками, отраженными в реке, казался остановившимся, неправдоподобно мирным.

Тройников позвал первым к стереотрубе командира 205-го стрелкового полка Матвеева, рукой указал за реку, за луг — на деревню:

— Видишь деревню? Будешь ее брать.

Матвеев, черноволосый, крупный, на последнюю дырочку затянутый по животу широким ремнем, с мясистыми щеками, оттопырившими снизу мочки ушей, и странными на этом полнокровном лице тоскующими глазами, долго смотрел на деревню, потом так же долго смотрел на карту, придерживая ее на планшете толстыми пальцами, — ветер трепал углы.

— Может не даваться в лоб, — сказал он наконец, посопев, и потянул себя за ухо.

Тройников глянул на его яркие тугие губы, медленно произносившие слова. В этом сильном мужском теле с богатой растительностью была немужская душа. По необъяснимой причине она досталась Прищемихину, который рядом с Матвеевым казался подростком. Подросток с морщинистым лицом, узкими глазами, в которых мелькала быстрая мысль, большими оттопыренными ушами и вздернутым носом, в ноздри которого было глубоко видно. Был Прищемихин опытен в военном

деле, и хотя задача пока что ставилась не его полку, он, времени не теряя, прикидывал ее по карте.

— Ну и прав немец, что не дастся в лоб, — сказал Тройников. — Дурак он, что ли? А поверить, что мы дураки, в это он поверит: не мы его, он нас бьет. Брать деревню будешь ты. А возьмет ее Прищемихин. Понял? Удар твой ложный. Немца притянешь на себя, свяжешь его в бою, а Прищемихин тем временем выйдет в тыл. Иди сюда, Прищемихин.

Река, огибая деревню, текла до леса и там, разлившись широко, заворачивала на запад в отлогих берегах — от нас на левом фланге, от немцев — на правом. И по нашему берегу в зеленой осоке кое-где стеклышком на солнце блестела в низине вода. Это было болото, обмелевшее сейчас и подсыхавшее в июльскую жару без дождей. Болото, река, а за рекой на том берегу по лугу немецкие позиции.

— Разведку посылал? — спросил Тройников.

— Ходила, — сказал Прищемихин, скромно умолчав, что ночью сам лазил с разведчиками по болоту и даже на той стороне побывал. Он вдруг улыбнулся, мелкие морщины пошли по всему лицу, верхняя короткая губа поднялась, оголив крупные зубы. — Начистоту говорить можно?

— Говори, я послушаю.

— Ходила разведка. Ничего, болото перебрести можно. Только днем под огнем по кочкам оскользаться... Так я их до рассвета еще там положил.

— Где там? — Тройников глядел на него глазами испуганно-радостными.

— В осоке лежат.

— Где? Не вижу! — говорил Тройников, вскинув бинокль к глазам. — А ну, кто видит? Смотрите все!

Он оттого заставлял сейчас смотреть всех, что гордился Прищемихиным, отличал его и хотел, чтоб все видели это.

Но во всех биноклях только блестела река и на немецком зеленом луговом берегу заметно было кое-где шевеление. А на нашем берегу простерлось болото под солнцем — кочки, трава и вода. И ни души.

— Жить хотят, оттого и не видно никого, — сказал Прищемихин и усмехнулся. — Это на учениях, бывало, сколько ни гоняй, только отвернулся — один голову высунул, другой задницу, хоть стреляй их. А тут не ученье — война. С ночи в осоке лежат, брюхом в воде.

Водки каждому двойную норму выдал, но — не куря! Предупредил строго. Деревню возьмете — закуривай! Старшинам с ночи приказ дал: «Кухни держать под парами!» И маршрут: как пехота в деревню войдет, чтоб раньше артиллерии с кухнями быть там.

Командир резервного полка Куропатенко, коротко остриженный и все равно рыжий, как осеннее солнце, захохотал от души:

— Да ты правду говори, Прищемихин, — может, твои в деревне уже?

— Зачем в деревне, — поскромничал Прищемихин. — Мои в болоте лежат. Я так мыслю. — Развернув карту на колене, Прищемихин поднял палец у себя над головой и кому-то погрозился.

Всем в дивизии было известно: Прищемихин не «думает», не «предполагает», а — «мыслит». Даже к ординарцу своему обращался он так: «Ты насчет ужина сегодня как мыслишь?» Был он солдатом еще той германской войны и, выросши до командира полка, пройдя все стадии — и взводного, и ротного, — остался солдатом по своему нутру. И хотя не раз посылали его на курсы командного состава, бой он все равно видел по своему, не сверху, а снизу.

— Я мыслю так: немец на той стороне по лугу редко сидит, так кое-где порыл окопчики неглубокие. Глубоко нельзя, вода близко подступает. На ночь он в деревню спать идет, вместо себя ракетки пошвыривает, реку освещает. Тут нам главное дело не перемудрить. Откуда он меня ждать может? От леса. Лес к самой воде подступает, там скрытно сосредоточиться можно. Так я в лесу одну роту оставил. Командир роты — парень молодой, но мыслит правильно. Ударит оттуда для отвода глаз, но с умом, чтоб людей зря в трату не дать.

Тройников слушал его улыбаясь. Мельком глянул на Матвеева. Нахмуренный, тот завистливо сопел. На широкой переносице между бровями проступил пот.

— Добро! — сказал Тройников. — Действуй. Одним батальоном выйдешь деревне в тыл, двумя, не задерживаясь, — вперед. До скрещения дорог. Возьмешь высоту плюс пять ноль, оседлаешь дороги — и сразу окапывайся. Это твоя главная задача. Дальше высоты не иди! — он погрозил Прищемихину. — Понял? Ужинаю у тебя, раз у тебя кухни в первом эшелоне идут.

ГЛАВА IV

Настал день, и дороги опустели. Все исчезло. Скрылось в землю. Остались только бесчисленные следы ступавших здесь ночью сапог, перечеркнутые колеями повозок, вдавленными следами гусениц, — над всем этим, казалось, еще витали голоса.

Всходило солнце. На траве, на холодных телах танков, укрытых в лесу, обсыхала роса. Хорошо было сейчас сидеть в свежевырытом окопе. Сверху — солнце, сухой полевой ветерок по брустверу, а от не прогретой в глубине земли прохладно спине сквозь гимнастерку. Гудят вытянутые пудовые ноги, отходя понемногу, а голова легкая, и так сладко сейчас потянуться всем млеющим телом. Война ничего не отменила, только все чувства стали острее на войне. И нет слаще утреннего сна в окопе после такой ночи. Сквозь дрему бухнет оружейный выстрел, а ты сидишь, вытянув ноги, не размыкая век...

Гончаров потянулся, заложа руки за голову, зевнул, глядя на Литвака масляными глазами:

— Ну вот, Борька, мы и встретились.

Борька Литвак, тот самый солдат, которого он ночью забрал из чужой батареи, поднял от котелка лицо, улыбнулся стеснительно и добро. Он был голоден и ел так, словно домой попал. Слив в ложку последние капли из котелка, он облизал ее по-солдатски и сунул за голенище.

— Слушай, а за мной не придут?

— Неохота?

— Суп у вас гороховый здорово варят.

— Тем и славимся.

Они были однолетки и года четыре сидели в школе на одной парте. Но сейчас Гончаров выглядел старше и крупней. С ним произошла та перемена, которая быстро наступает в армии у молодых людей. Он развился физически, расширился в груди, в плечах, а сознание ответственности за многих людей — и равных ему по годам, и годившихся ему в отцы — проложило на лице его ранний отпечаток мужественности и серьезности. Эту перемену, как незримую грань, разделявшую их, Литвак смутно чувствовал. И отчего-то неловко было называть его Юркой.

А Гончаров смотрел на него с суровой ласковостью, как на младшего старший брат.

— Курить научился?

— Есть, товарищ комбат, тот грех,— сказал Литвак, шуткой обходя неловкость.

Он взял у Гончарова кисет: «Ого!» Кисет был резиновый, трофейный, немецкий, и у Литвака даже некоторой завистью и уважением заблестели глаза.

Гончаров расстегнул отложной воротник гимнастерки, подставил ветерку голую грудь. Дым табака щекотал ему ноздри, но не хотелось стряхивать с себя дремоту в эти последние короткие минуты, которые он еще мог позволить себе подремать, пока разведчик устанавливает стереотрубу, а телефонист на солнышке клюет носом над аппаратом. Борьке же оттого, что он встретился со школьным другом, и попал к нему в батарею, и поел хорошо, и теперь закурил, показалось вдруг с легкостью, что война отодвинулась на долгий срок — надо же в конце концов людям поговорить!

— Старшина батареи у вас кадровый?— спросил Гончаров.

— Угу.

— Сверхсрочник?

— Мало сказать...

— Я вижу,— Гончаров улыбался сонной улыбкой.— Это он для тебя специально подобрал персональные сапоги. Из бросовых. Чтоб каждому виден был в них человек умственного труда. Старшины-сверхсрочники вообще любят студентов. Историков обожают особенно.

— Когда-то ты тоже собирался историю изучать. Помнится мне.

— Был такой факт биографии. Да вовремя сообразил: если все историю будем изучать, некому ее защищать окажется. А как выяснилось, это тоже необходимо. Слушай!— спохватился вдруг Гончаров.— Ты как в армии вообще? У тебя ж что-то вены на ногах и один глаз ни черта не видит.

Литвак скромно опустил глаза:

— Видишь ли, я убедил военкома, что я — снайпер.

— А на меньшее ты не соглашался?

— Нет, почему... Он поверил. Ты же знаешь мою силу убеждения. Только потом меня почему-то направили в артиллерию.

Гончаров строго смотрел на него смеющимися глазами. И вдруг расхохотался, не выдержав, окончательно стряхнув с себя сон.

Прошлое, отдаленное не таким уж долгим сроком, было сейчас рядом с ними. И за дымкой времени чем неясней вспоминалось оно, тем казалось милей.

— Помнишь Петьку Москаленко?— спросил Литвак.— Ведь я тебя к нему ревновал.

— Где он сейчас?

— Не знаю. Знаю только, что поступил на физмат.

Да, Петька Москаленко. Худой, длинный, выше всех в классе, с маленькой головой, узким лбом и синими-синими глазами. Был Петька сыном уборщицы студенческого общежития. Обычно перед праздниками она приходила в школу, робко стояла под дверью учительской, не решаясь войти. И когда ей говорили, что у сына ее незаурядные способности, она пугалась, кланялась и только просила учителей:

— Вы уж как-нибудь с ним поостроже. Отца-то у нас нет, а сама я что могу?

Эти ее посещения школы для Петьки Москаленко были мучением, он покрывался красными пятнами, и лучше в это время было на него не смотреть. А у Гончарова отец был архитектор. На городской площади вокруг памятника Пушкину стояли старинные чугунные фонари, отлитые по его проекту. И было в городе здание авиатехникума, построенное Юркиным отцом. Это здание и эти фонари весь класс бегал смотреть. Они были не то что предметом гордости, но как бы принадлежали классу: их строил Юркин отец. Гончаров приходил в школу отглаженный, в начищенных ботинках, отличный спортсмен, кидал в парту портфель и сидел на уроках со скучающим видом. А Петька Москаленко рядом с ним грыз карандаш и, уставясь в одну точку остро блестящими глазами, решал дифференциальные уравнения. Или по целым урокам напролет они разговаривали. И тогда кто-нибудь из учителей не выдерживал:

— Гончаров, повторите, что я только что рассказывал!

Этой минуты, как представления, ждал весь класс. Гончаров откидывал парту, вставал, покачивая плечами, шел к доске и там, повернувшись лицом к классу, слово в слово повторял то, что говорилось на уроке. А потом, помолчав, глядя в лицо учителя ясными безжалостными глазами, начинал дополнять его рассказ такими подробностями, от которых класс замирал в восторге.

Они с Петькой никогда не учили уроков и всегда всё знали. Это было высшим шиком. Им пытались подра-

жать, но это кончалось плачевно. Они были не просто хорошими, они были блестящими учениками, и за это учителя прощали им многое. И все-таки что мог Петька Москаленко, не мог никто. На его худых плечах в маленькой голове с узким лбом свободно помещались и логарифмы и дифференциальные исчисления, которым никто его не учил, потому что в школе это не проходят, а мать у него была неграмотной женщиной и больше всего на свете почитала и боялась учителей. За три месяца на спор он выучил английский язык и не только читал, но говорил.

Считается, что ревность бывает только в любви. В дружбе тоже кто-то всегда первый, а кто-то страдает и мучится ревностью, быть может, не меньше даже, чем в любви. Ревностью мучился Борька Литвак. И тем она была безнадежней, что на него вообще не обращали внимания. Гончаров дружил с Петькой Москаленко, и к ним в дружбу никто кроме допущен не был. Кончилась их дружба внезапно. На уроке английского языка. Расшались ли в тот раз как-то особенно или терпению учительницы настал предел, но она вдруг закричала не своим голосом:

— Москаленко!

Петька в этот момент не разговаривал. Обернувшись назад, он играл на листе бумаги в морской бой. Он с достоинством встал.

— Вам должно быть стыдно! — сказала она ему по-английски. Он был ее лучший ученик, и ей казалось, она могла рассчитывать на его помощь. И вот тут Петька с неожиданной жестокостью, так, чтоб слышал весь класс, сказал ей по-русски:

— Если вы не можете установить дисциплину, так Москаленко тут ни при чем и нечего на него кричать.

Все видели, как у учительницы задрожали щеки, она как будто хотела закричать на него, но вдруг бросила журнал и с заблестевшими в глазах слезами выскочила из класса. Стало тихо. И в тишине Гончаров сказал:

— То, что ты сделал, — подлость.

Он сидел, а Москаленко все еще стоял за партой.

— И ты извинишься перед ней.

Но уже другие законы вступали в силу: на Петьку Москаленко смотрел весь класс и ждал. Он был герой, как он поступит сейчас? И это чувство оказалось сильней, у него не хватило мужества, которого требовал от него Гончаров по праву их дружбы. Тогда Гончаров при

всех ударил его по лицу. Они покатались в проход между партами среди завизжавших девчонок, и тем страшной была эта драка, что никто не мог их разнять. Сильней их в классе был только Шурик Хабаров, дважды остававшийся на второй год. Но он ненавидел их обоих всей силой ненависти, на которую способен бездарный человек. Его тетради, исписанные четким, каллиграфическим почерком, приводили в восторг учительницу черчения и в безнадежное уныние повергали всех остальных учителей. И он стоял, сложа руки, и смотрел, как они дерутся. Кинулся разнимать их Борька Литвак. Так всех троих вместе и повели их к директору. Борька шел как герой. Он готов был, хотел пострадать. Но несмотря на то что у него была разбита губа, директор почему-то сразу решил, что он не виноват. И с этой не принятой во внимание разбитой губой, с великим позором пришлось Борьке одному выйти из кабинета на глазах всего класса, который дружно дежурил под дверью.

— Дураки мы были порядочные, — сказал Гончаров и прикурил от зажигалки. — А в общем — нет. Так и нужно.

Он сидел в окопе, по-хозяйски свободно, спиной к немцам. Сильные плечи опущены, ремни портупеи ослабли на них. Из-под низко надвинутого козырька фуражки блестели на огонек папиросы улыбавшиеся воспоминанию глаза. И только вздрагивающие ресницы, пушистые, длинные, черные — девчачьи ресницы, — были от прежнего Юрки. Но сейчас они подчеркивали мужскую красоту лица.

А впрочем, того Юрку тоже никто в классе по-настоящему не знал. Он был сын уважаемого человека, архитектора, и то, что он приходил в школу отглаженный, с детства знал английский язык — это все было как бы само собою разумеющимся: он вырос в благополучной семье. Но однажды Литвак пришел звать Гончарова на каток, и дверь ему открыл робкий, нетрезвого вида человек.

— Вы к Юрочке? — говорил он, почему-то заискивая перед Борькой и смущая его этим «вы». — А Юрочки дома нет...

При этом он испуганно оглядывался на вышедшую за ним следом молодую здоровую женщину с грубым лицом, ставшую позади него. Она подозрительно и хмуро смотрела на Литвака и не уходила. И, стесняясь са-

мого себя, стесняясь при школьном товарище сына своего припудренного носа, он бестолково суетился, шаркал по полу, стараясь держаться на отдалении. Но и на отдалении от него пахло водкой.

Это был отец Гончаров. И когда Юрка узнал, что Литвак был у них и видел отца, он покраснел до слез, и долго еще Борька чувствовал в нем враждебность к себе. Только позже, когда доверие было восстановлено, Гончаров показал ему карточку своей матери: молодая-молодая, загорелая, она босиком стояла на песке, в майке, в сатиновой юбке, держа на плече еще маленького сына. Вся она, освещенная солнцем, была такая счастливая, что у Борьки Литвака, смотревшего на фотокарточку, даже сердце сжало: он знал уже, что ее нет. Она была секретарем заводского комитета комсомола, но на заводе у них произошел взрыв, и она погибла. С тех пор отец стал потихоньку пить, а домработница — та самая здоровая женщина с грубым лицом — постепенно весь дом и отца забрала в руки. И Юрка, жалея отца, опустившегося, безвольного, запуганного человека, презирая его, не мог ему этого простить.

Из всего класса только Петька Москаленко, а теперь еще Борька Литвак знали, что Гончаров, приходивший в школу в чистых рубашках и сверкавших ботинках, стирал себе, гладил и штопал сам. С тех пор как эта женщина стала в доме тем, кем она стала, Гончаров все для себя делал сам. Он ненавидел ее, презирал отца, но была еще в доме маленькая двухлетняя девочка. Черноглазая, вся в черных кудряшках, белая, румяная, крепкая, как орех. Маленький деспот, которому он позволял делать с собой все, приходя от этого в совершенный восторг. Когда он, гордясь, показывал ее первый раз Литваку, Борька поразился, как все лицо его стало другим. У Литвака тоже была сестра, старшая, правда, с которой он дрался. И был брат. Но, кажется, даже больше них он любил Юрку. И вдруг Гончаров, не сказав ему ни слова, подал документы в военное училище. Борька переживал это молча, как измену.

И вот в суматохе двигавшихся ночью войск они встретились на фронтовой дороге, два школьных товарища, и теперь вместе сидели в окопе. На себе самом никто не замечает прожитых лет. За эти годы Борька Литвак из мальчика, боявшегося драк и физической боли, превратился в мужчину, худого, жилистого,

с острым кадыком, за которым рокотал неожиданный бас. И он сказал этим басом:

— А знаешь, скажи ты мне тогда хоть слово, я бы все бросил и пошел с тобой в училище.

Улыбаясь из-под козырька фуражки, Гончаров смотрел на него. Они действительно в те годы вместе собирались поступать на истфак. Если вспомнить, большинство в их классе хотело изучать не математику, не физику, а историю. В них жило ощущение значительности происходящих событий. Через Спартака и все восстания рабов, через баррикады Парижской коммуны, соединенные единым током крови, они чувствовали себя наследниками всей истории человечества, которую их народ с новой страницы начал в семнадцатом году. Они верили, что в грядущих классовых боях каждому из них многое предстоит совершить, многое под силу, и в то же время готовы были по приказу идти рядовыми. Гончаров не помнил сейчас точно, как это произошло и с чем было связано, просто он понял однажды, что классовые битвы, к которым все они готовились, ждут их не когда-то, а уже начались, раз в Германии у власти стоит фашизм. Он понял, что изучать историю время еще будет, но защищать ее время пришло. И он пошел туда, где, по его мнению, пролег в тот момент передний край. Один из всего класса, в то время, как остальные еще сидели за партами. И вот они встретились снова уже на войне, но в разном качестве. Борька примчался на войну, вооруженный одним патриотизмом, собираясь воевать не умением, а в общем числе. Убедил военкома, что он снайпер. Все это похоже на него, но кажется, он еще не представляет себе точно, с какого конца и как заряжается винтовка образца одна тысяча восемьсот девяносто первого дробь тридцатого года. И все же он рад, что они встретились и сидят сейчас в одном окопе.

— Слушай, Борька,— сказал Гончаров.— Ты Иринку Жданову помнишь? Ты в нее ведь влюблен был когда-то. Абсолютно безнадежно, все это знали.

— Самое смешное, что я в нее и сейчас влюблен. И ты уж совсем не поверишь, но у нас — дочка. Маленькая такая дочка, вот такая, и тоже Иринка. Пожалуйста, не раскрывай на меня глаза, потому что я сам иногда тоже начинаю сомневаться. Но в то же время дочка — это непреложный факт. Когда ее держишь на руках — просто нельзя не верить.

— Вот что бывает, когда настоящие мужчины уходят в армию и оставляют в тылу хороших девчат! — сказал Гончаров почти торжественно, глядя на Литвака так, словно тот неожиданно вырос в его глазах. И тут разведчик позвал от стереотрубы:

— Товарищ комбат!

— Что стряслось? — спросил Гончаров, все еще глядя на товарища.

— Вот поглядите. Представление, честное слово...

Разведчик улыбался, но не по-хорошему, обиженно морщил обветренные, шелушащиеся губы. Пожалев недокуренную папироску, Гончаров раз за разом затянулся, сильно щурясь, притопал окурок и поднялся к стереотрубе, зачем-то застегивая на крючки воротник гимнастерки у горла.

Наблюдательный пункт был вырыт на переднем скате высоты, обращенном к немцам, в густой траве и замаскирован травой. Она уже начинала вянуть под солнцем, и запах свежего сена почувствовал Гончаров, прилаживая по глазам стереотрубу, к которой для маскировки тоже были привязаны пучки травы.

Внизу было пшеничное поле, уже побелевшее, шелковистое под ветром; стелющиеся волны, как тени, пробегали по нему. И всюду в пшенице минометы, легкие пушки — окопы, окопчики, ямки. Множество людей, зарывшихся в землю по грудь, перебегающих от ямки к ямке, скрыто было в хлебах; отсюда, с высоты, Гончаров видел их спины. А дальше, где поле кончалось, — другие окопы: передний край. Там сидела пехота. Впереди нее уже не было никого, только пустое пространство, кусты и в этих кустах — немцы. И странно, непривычно еще было чувствовать и сознавать, что все то зеленое за гранью кустов — осока, озерцами блестящая в осоке река, дальний отлогий луговой берег и деревенька на нем, — все это было у немцев. Поле созревшего хлеба у нас, а деревня у них.

Но еще прежде чем Гончаров все это целиком охватил взглядом, он увидел то, что хотел показать ему разведчик, перекрестием наведя стереотрубу и уступив около нее место. В перекрестии сквозь тонкие черные деления, нанесенные для стрельбы, Гончаров увидел блестящую в осоке воду и в этой воде головы купающихся немцев. И еще немцы в трусах и сапогах бежали

от деревни к реке. Один размахивал на бегу полотенцем, другой у самой воды прыгал на одной ноге, согнувшись, стаскивая с себя штаны. В стеклах стереотрубы Гончаров крупно, близко видел зеленый луг и бегущих по нему немцев, их белые на солнце тела. И в воде тоже блестели, плескались и выпрыгивали мокрые белые тела.

Это были немцы, но Гончаров с острым любопытством смотрел на них, не находя в душе у себя враждебного чувства. Светило утреннее солнце, и там, в низине, у реки, трава, наверное, была еще влажной. И они бежали по этой траве, веселые и голые, как мальчишки. Словно не было войны, а было только раннее деревенское утро, и они бежали под уклон к реке искупаться до завтрака.

Когда он обернулся от стереотрубы, то самое, что было в душе у него, увидел он на лице разведчика. Разведчик стеснительно улыбнулся, словно в мыслях был в чем-то виноват. Гончаров похолодел лицом.

— А ну, передай на батарею, — приказал он телефонисту и увидел, как Борька Литвак быстро обернулся, что-то хотел сказать. Но уже прошелестел над ними первый снаряд и разорвался в реке, столбом вскинув воду. На миг головы скрылись в осоке, а потом еще веселей пошла возня в реке. Друг перед другом немцы играли с опасностью, как бы не понимая, что та веселая игра, в которую они играют сейчас под снарядами, не всегда кончается весело. Один снаряд разорвался близко на берегу. И тогда немцы стали выскакивать из воды. Хватая одежду, мокрой гурьбой бежали они по лугу вверх. И если бы добежали до деревни, искупавшиеся, запыхавшиеся, проголодавшиеся от острого ощущения опасности, они бы с яростным аппетитом набросились на еду и смеялись бы, рассказывая друг другу, как купались в реке и русские стреляли по ним, — веселое военное приключение, «*meine Kriegserinnerungen*».

— Бат-тарее три снаряда беглый огонь! — крикнул Гончаров, уже зажегшись азартом. И приник к стереотрубе, слыша над собой шелестящий полет снарядов.

Зеленый луг, по которому вверх бежали немцы, взлетел перед ними. И сзади, и с боков, и все смешалось в дыму и грохоте, и здесь, на НП, задрожало, затряслось, и земля посыпалась с бруствера.

Когда разрывы смолкли и низовой ветер от реки, смешав дым, поволок его вверх к деревне, луг постепен-

но расчистился. Среди неглубоких пятен воронок на нем вразброс лежали двое немцев, белые в зеленой траве. Один был совершенно голый и в сапогах.

Гончаров оторвался от стереотрубы. Рядом с ним с опущенным биноклем в руках стоял Литвак.

— Вот так их учить! — сказал Гончаров, и голос у него был хриплый. — А ты как думал?

Но Литвак опустил перед ним глаза. И оба почувствовали отчуждение, возникшее между ними, как будто голые, купающиеся немцы, по которым стрелял Гончаров, не были в этот момент солдатами.

До самого вечера, выслеживая в стереотрубу артиллерийские цели, Гончаров не раз еще мыслью и взглядом возвращался к тем двум немцам, лежащим на лугу, на похолодевшей к закату траве.

ГЛАВА V

Солнце садилось за деревней, за лесом, и к нему, как дым в раскрытую топку, со всего неба тянулись серые, встречно освещенные облака. Они шли над полем, волоча тени по хлебам, по окопам, гася блеск орудийных стволов и касок, шли через нашу передовую, через немецкую, за реку, в тыл, прощально глядя землю и людей, зарывшихся в ней.

Уже не часы, минуты остались до свистка, и в эти минуты из всей непрожитой жизни можно было только успеть докурить последнюю сигарку. И пехотинцы тысячами губ, торопясь, досасывали ее, тысячами глаз попеременно выглядывали из-за бруствера — туда, куда одним облакам можно плыть беспрепятственно.

А за рекою, в деревне, немцы ходили, как у себя дома, стояли во дворах, и над домами, из труб летних кухонек и походных солдатских кухонь уже подымался предвечерний дымок.

Три «мессершмитта», развернувшись над полем по дуге, ушли, со звоном моторов вонзаясь в закат. За каждым остался таять в воздухе розовый след.

И наступил тот миг, когда вдруг сразу, словно с последним вдохом, вошло все в грудь: и вечер, светящийся на закате, и воздух над полями, и земля, с которой надо было сейчас подняться в атаку. Но, обрывая мгновение, взвилась вверх ракета. И сейчас же на бруствер траншеи вспрыгнул лейтенант — маленьким и четким про-

тив солнца виден был он издали, с наблюдательного пункта, откуда смотрел Тройников. С поднятой вверх рукой, обернувшись назад, он что-то прокричал беззвучно. И по всей линии стали выпрыгивать из земли бойцы, и он исчез среди них.

Они бежали по полю в летних гимнастерках — позже донесло их яростный многоголосый крик. Изломанная цепь скатывалась по низине, за ней, догоняя, бежали одиночные бойцы, рассыпанные на всем пространстве: те, кто позже выскочил из окопов. Вся низина, только что пустая, заполнилась бегущими людьми, они накатывались на немецкие окопы.

Тройникову видно было, как немцы выскакивали из кустов, от речки, полуголые, в трусах прыгали в окопы, спешно надевали каски на головы, иные на бегу натягивали на голые плечи мундиры. Застигнутые врасплох, они действовали как отдельные части хорошо отлаженного механизма, сразу придя в согласное движение. И уже в центре по атакующим ударил пулемет:

Та-та-та-та-та-та-та!..

Он вплелся в общий крик, вначале неслышный, потом вырос из него, и еще несколько пулеметов ударили с разных концов. Цепь закачалась на бегу, как под напором встречного ветра. Люди падали, переползали, и уже кое-где на поле, вспархивая, замелькали дымки: пехота, лежа, окапывалась. Но правее атакующая цепь все же переплеснула краем своим через бруствер немецкой траншеи. Там, скрытый от глаз, страшный тишиной своей, начался рукопашный бой. А в центре, в кустах, немецкий пулемет работал безостановочно. Какой-то высокий немец бежал к нему по траншее; голова его то ныряла, то снова показывалась за бруствером.

Выметенное пулеметным огнем поле было пусто. На нем вставляли первые разрывы мин. Спешно окапывалась распластанная, прижатая к земле пехота. В небе плыл по ветру над полем розовый дым бризантного разрыва.

Случайно в бинокль попали четверо бойцов. Хорошенько в высокой траве, они ползли к немецкому пулемету. И еще двое, согнувшиеся, касками вперед, бежали под уклон, катя за собой пулемет. На бегу развернули его, попадали за щитком в траву, разбросав ноги, и поверх голов и спин пулеметная струя резанула по кустам.

— Давай отсечной огонь!— крикнул Тройников начальнику артиллерии, указывая за реку. Там видно было, как от деревни на рысях спешат три артиллерийские запряжки и бежит под гору немецкая пехота.— Зеваешь!

Но начальник артиллерии, молодой, с подстриженными усами, только уверенно вскинул бинокль. И почти в то же время несколько снарядов накрыли немецкую пехоту, а один удачным попаданием разметал вырвавшихся вперед коней.

— Отчетливо работаете, артиллеристы!— блеснув глазами, прокричал в трубку начальник артиллерии и со лба на затылок пересадил кубанку.

Но Тройников строго глянул на него:

— Ты пулеметы мне уничтожь!

Над прижатой к земле пехотой разгорался артиллерийский бой, но так же, не медленней и не быстрее, садилось солнце, и во встречном свете его розовым светящимся дымом залита была низина, блестела трава и река, и когда на миг вскакивали и перебегали согнутые черные фигурки, вместе с ними вскакивали их косые тени. Пехота, краем своим зацепившаяся за немецкую траншею, опять поднялась, и еще несколько человек вскочили туда, но остальные залегли под огнем.

Жадно напиваясь табачным дымом, не отрывая бинокля от глаз, Тройников смотрел на левый фланг. Там сейчас начиналось главное. На левом фланге поднявшийся из болотной осоки полк Прищемихина форсировал реку. Перемокшие и продрогшие за день, они с берега посыпались в воду, расколов предвечернюю закатную гладь реки. Вплавь, вброд, неся над головами оружие, они спешили к тому берегу, шатаемые течением. Над вспененной, взбаламученной на всем пространстве рекой качалось множество крохотных черных голов и рук. Ударили было пулеметы с лугового немецкого берега, рассеивая пенные брызги по воде, но быстро смолкли: мокрый до нутра полк Прищемихина, бодря себя криками, невнятно доносившимися из-за реки, бежал по лугу наизволок. Поздно спохватившись, выручая своих, открыла огонь немецкая артиллерия. Редкие разрывы вскидывали вверх розовые на закате дымы. Ветром валило их и тянуло вверх по косогору. И туда же, вырываясь из-под разрывов, вслед за дымами, бежала пехота, обтекая деревню с фланга.

Положив планшетку на колено, на трепыхавшемся от ветра листке бумаги Тройников быстро набросал карандашом записку Прищемихину. Писал и взглядывал в бинокль. По самому лезвию горизонта в стрелах предвечерних лучей скакала крохотная артиллерийская запряжка. Над ней беззвучно взмахнул дымком бризантный разрыв. «Не достал!» — с сердцем пожалел Тройников. И, сложив записку, вручил связному:

— Скачи!

Еще пехота не вошла в деревню, но он видел: перелом наступил. Надо было, чтобы Прищемихин, не задерживаясь, оставив один батальон с тыла доканчивать бой за деревню, развивал успех, раньше немцев вышел на скрещение дорог и был готов встретить их там.

И тут случилось непредвиденное: залегший под огнем полк Матвеева вдруг поднялся в атаку. Повзводно, поротно люди подымались и шли, бежали с криком, падали, и снова какая-то сила отрывала их от земли. Ничего не понимая, Тройников в первый момент с восторгом смотрел, как они идут, красиво, гордо, не кланяясь пулям. Но вдруг тревога коснулась его. Он не сразу понял, что переменилось, только стало страшно смотреть, как люди идут на пулеметы.

С белым, исковерканным гневом лицом он схватил телефонную трубку, но на том конце провода, на КП полка, оставленный для связи телефонист отвечал, что командир полка Матвеев в ротах. И пока посланные Тройниковым связные под огнем бежали туда, бессмысленное истребление продолжалось.

А случилось вот что. Еще не видя со своего КП, что полк Прищемихина выходит деревне в тыл, Матвеев почувствовал внезапно, как немцы дрогнули. Их пехота за рекой, бежавшая к окопам, вдруг без видимой причины заметалась по лугу. Там спешно, жерлами в тыл, разворачивали пушки, какие-то повозки хлынули из деревни на луг, все перемешав. И уже после всего этого на гребне за деревней возникла редкая цепь. Тоненькие, плоские и черные в ломающихся лучах солнца, все одинаково наклоненные вперед фигурки двигались по гребню вверх, как мишени на стрельбах. По ним стреляли, но они всё двигались, и пули не поражали их.

И, увидя все это, почувствовав, как дрогнули немцы, Матвеев испытал мгновенную ожегшую его радость и страх. Страх, что немцы уйдут. Это же чувство владело сейчас его людьми, лежавшими на поле под огнем.

Последний бросок оставался до немцев, и ничего не было сейчас сильней желания достать немца штыком. За раны, за убитых в атаке, оставшихся лежать на поле. И Матвеев отдал приказ, тот приказ, которого ждала пехота:

— Впереед!

Замполит Корниенко схватил его за руку, глянул зрачки в зрачки:

— Куда? На пулеметы? С ума сошел!..

Лицо смуглое, остроскулое, до желтизны бледное.

— Прочь! — закричал Матвеев, наливаясь яростью, и увидел своего адъютанта.

Адъютант смотрел на него с восторгом верующего. И, чувствуя необходимость чего-то необычного, чего сейчас ждали все, он оттолкнул Корниенко и выхватил пистолет:

— Я сам поведу пехоту!

Он бежал по полю с поднятым вверх пистолетом, огромный, яростный. Так он же возьмет деревню! Не Прищемихин, а он, столько положивший здесь людей.

— Впереед!..

Сухой воздух рвал ему горло. Сквозь пленку слез он видел радужный, расколотый на созвездия мир. И вместе с ним, с ним рядом, в едином крике, в едином дыхании, по всей низине, залитой розовым светящимся туманом, неумолимо и грозно накатывалась цепь, его пехота, его полк.

— Впереед!..

Он еще бежал вперед с раскрытым ртом, как вдруг почувствовал: оборвалось что-то, соединявшее его с людьми. Он гневно оглянулся, по всему полю лежали в траве бойцы, живые среди мертвых. И только адъютант с насмерть бледным лицом, весь странно кренясь, спотыкаясь, бежал к нему, зажав рукой бок.

И еще не веря, надеясь еще, а вместе с тем уже чувствуя весь позор, всю жуткую непоправимость случившегося, готовый в этот момент кричать, стрелять, бить, Матвеев пытался поднять залегшую пехоту. Какой-то боец рядом с ним каской, ногтями скреб землю, зарываясь в нее. Матвеев ударил его сапогом в бок. Боец вскочил. И еще несколько человек вскочили на ноги. Только одно могло сейчас оправдать и жертвы, и кровь, и смерть — победа. Вот она, деревня, вот она рядом... И Матвеев, крича, стреляя вверх, поднял в атаку людей.

И с близкой дистанции, в упор, в живот, в грудь ударили по ним пулеметы.

Дрогнувшие было немцы, готовые уже бросить позиции, спастись за рекой и бежать, пока не замкнулось кольцо окружения, увидели бегущую на них пехоту. Это накатывалась смерть. От нее нельзя было спастись бегством, в поле она настигла бы их. И они сделали то единственное, что могли сделать, на что толкал их опыт, страх, желание жить: они встретили ее из окопов пулеметным и автоматным огнем.

На узком пространстве приречного луга, каждую весну заливаемого водой, где прежде паслись гуси, в третий раз поднялась в атаку пехота. В третий раз вел Матвеев свой полк на пулеметы. И пуля, которую он хотел, просил, молил под конец, зная, что нет ему ни прощения, ни пощады, эта пуля, не миновавшая стольких, словно сжалившись, нашла наконец и его.

ГЛАВА VI

Пленные немцы, человек тридцать, сбившись кучей, стояли посреди улицы, а вокруг толпились красноармейцы и всё новые подбегали глядеть на них. Вид чужеземной толпы посреди деревенской улицы в непривычных глазу дымчато-серых хлопчатобумажных мундирах с тусклыми алюминиевыми пуговицами, в сапогах с короткими голенищами, из которых все они словно выросли, в кепках с несоразмерно длинными козырьками или в высоких пилотках — был отталкивающе резок. Немцы глядели исподлобья, с потаенной тревогой, иные со страхом. И все им сейчас было лишним, все, что привлекало внимание к ним. Особенно руки, в которых они недавно еще держали автоматы и стреляли по этим толпящимся вокруг них людям, в чьей власти теперь была и жизнь их и смерть. Руки особенно хотелось им сейчас скрыть, и Гончаров это почувствовал. Он видел, как один немец нагнулся и быстро, стараясь, чтоб не заметили, выкинул оставшуюся за голенищем плоскую автоматную обойму. Другой, рядом с которым она упала, отпихнул ее каблуком.

До сих пор Гончарову случалось видеть одиночных пленных, как правило, тщательно охраняемых. Когда их вели или везли куда-то, они, уже успевшие оглядеться, и покурить, и понять, что немедленная расправа

им не грозит, вели себя, как правило, нагло. Эти же были только что выхвачены из боя. Неотдышавшиеся, в поту и пыли, многие с еще не погасшими глазами, они стояли посреди улицы, согнанные толпой. Гончаров с щемящим холодком любопытства вглядывался в их лица. Крайним стоял офицер в высокой фуражке, в хромовых по колена сапогах с твердыми голенищами, небольшой, бочкообразный, в пенсне. Прямоугольные подрагивающие стеклышки их вспыхивали прожекторным блеском, он оглядывался вокруг себя веселыми, навывкате, наивно-глупыми глазами, не сомневаясь, что русским чрезвычайно интересно видеть его, германского офицера, и он давал им эту возможность. Привздернув руки в локтях, он поворачивался, показывал себя, словно его сейчас должны были фотографировать. Свежеподстриженные виски его под фуражкой и выбритое лицо лоснились, и Гончаров на расстоянии почувствовал от него запах одеколона и пота. Он не сообразил, что так далеко он не мог бы чувствовать запаха. Одеколоном и потом пахло от старшины, стоявшего впереди, но зрительное впечатление подстриженного и выбритого немца настолько слилось с запахом, что обычный тройной одеколон, с которым сам он не раз брился, показался ему сейчас специфически немецким и его чуть не начало мутить.

Рядом с офицером высокий молодой немец в растегнутом мундире, с пропыленной светловолосой головой прижимал платок к разбитому рту и после смотрел в него пустыми, невидящими глазами. Он тяжело дышал, часто облизывал сухим языком розовые от крови зубы. И еще один немец попался на глаза, тот, что каблуком отпихнул обойму. Он улыбался блудливо и беспокойно: обойма, отлетевшая недалеко и видная в пыли дороги, тревожила его. И Гончаров с растерянностью в душе почувствовал, как у него непроизвольно шевельнулось сочувствие. Все было не так, как ему представлялось. Этот немец стрелял и, может быть, убил кого-то, а вот шевельнулось к нему сочувствие. И то же самое, что почувствовал он у себя в душе, увидел он на лицах толпившихся сзади бойцов. Было скорей любопытство, чем ненависть.

Вокруг стояли бойцы полка Прищемихина, те, кто первыми ворвался в деревню, с тыла обойдя ее. Они ворвались внезапно, раньше, чем немцы успели организовать оборону, полк их в этом бою почти не понес потерь,

и все трофеи, все пленные были их. Не столько ожесточение, как щедрость победителей владела ими сейчас.

— А ну, разойдись!— закричали издали, и немцы начали тесней жаться, боясь расправы.

— Р-разойдись!— кричал боец, распахивая толпу: он вел еще пленного.— Самого главного веду! Сторонись!

И бойцы, расступаясь и оглядываясь, улыбались, предчувствуя шутку. Немец был старый, сморщенный, в очках; он не понимал языка, но чувствовал, что смеются над ним,— значит, оставят жить. И, ловя этот смех на лицах, он улыбался охотно и заискивающе, готовый потешать.

Но постепенно все больше сбегалось бойцов полка Матвеева, те, кто в лоб штурмовал деревню, и настроенные начали меняться. Еще не остывшие после боя, многие раненые, вгорячах не чувствующие боли, они налитыми кровью глазами, зло глядели на немцев, и шутки постепенно смолкли.

Было светло еще, но из тучи, зашедшей над деревней, накрапывал дождь, крупный и редкий. Капли ударяли по гимнастеркам на горячих телах, печатались в пыли, темными пятнами крапили мундиры немцев. Среди увеличившейся толпы тесная, сбившаяся куча их сделалась меньше. И в какой-то момент заколебалась на весах доброта и ненависть. Но тут пехотный лейтенант, отстранив рукой стоявших впереди него бойцов, подошел к тому немцу, что каблуком отпихнул от себя обойму, и, вдруг покраснев, хмурясь по-молодому, спросил, указав пальцем ему в грудь:

— Ду бист бауер?

— Нейн, нейн!— немец почему-то испуганно затряс головой.

— Лерер?

— Нейн!

— Арбайтер?

— О, я! Я!

Тогда лейтенант, взяв немца за плечо, повернув его и пригнув, указал под ноги, где позади переминавшихся сапог лежала в пыли отброшенная им автоматная обойма:

— Твоя? (Немец стал энергично отказываться). Как же ты, арбайтер, стрелял в них?— лейтенант показывал пальцем на бойцов, словно считал их.— В рабочих! Аух арбайтерн! Ферштейн? И ты стрелял в них!..

Он говорил то, чему его учили в школе, слова, святей которых, как ему казалось, нет и не может быть, поняв которые немец не мог не усовеститься. Но отчего-то Гончарову, думавшему прежде так же, сейчас было стыдно за лейтенанта в присутствии немцев.

— Чего говорит? Чего говорит-то? — переспрашивали бойцы рядом с Гончаровым, мешая друг другу слушать. Постепенно смысл сказанного и то, что лейтенант стыдит немца, дошло до всех. И, сломав стену отчуждения, бойцы надвинулись на пленных, обступили их тесно, разбившись на группы. В одной угощали немца махоркой и хохотали, хватаясь за бока, видя, как он кашляет от затыжки:

— Не терпит немец нашей русской махорочки.

И понимающе перемигивались, словно не за немцем была уже часть России.

— Гляди, гляди, дым из ушей пошел!.. Ку-уда ему!..

От другой группы кричали:

— Ребята, кто по-ихнему может? Тут чего-то рассказывает интересное...

И только там, где обступили офицера, не слышно было голосов. Вокруг него стояли молча и отчужденно, стояли и смотрели. А он, все так же блестя пенсне и наивно-глупыми глазами навывкате, каждому вновь подходившему говорил одни и те же несколько фраз:

— Один ваш солдат забрал у меня полевую сумку. В ней находилась пара новых кожаных подошв, хорошая бритва, шесть пачек сигарет и письма моей жены. Я требую вернуть мне все эти вещи.

Не понимая ни слова, бойцы с интересом смотрели ему в рот, как будто сам факт, что он говорит, был паразителен. А еще их веселило, что он говорит одно и то же.

Подошедшему Гончарову, увидев в нем офицера, немец повторил:

— Один ваш солдат забрал у меня полевую сумку. В ней находилась пара новых кожаных подошв, хорошая бритва, шесть пачек сигарет и письма моей жены. Я требую вернуть мне все эти вещи и примерно наказать виновного, — добавил он с должной твердостью.

Гончаров молча смотрел на него. Офицер опять повторил свои фразы, и бойцы засмеялись:

— Как на работе. Пять минут пройдет — опять говорит.

Вдруг какое-то движение произошло в толпе, все

стали оглядываться, расступаться, и даже немцы, что-то почувствовав, построились тесней. По улице двигалась открытая машина командира корпуса. Перед ней расступались, и на лицах бойцов сразу возникало то исправное строевое выражение, которое не выражает ничего, кроме знания начальства, в присутствии которого почему-то всегда вспоминаются не успехи, а все упущения и грехи.

Машина остановилась против пленных, и сразу от распахнувшейся дверцы до немцев по прямой взгляда сам собою образовался коридор. Генерал Щербатов, не вылезая из машины, смотрел на пленных тяжелым взглядом полуприкрытых веками глаз. Он смотрел долго и молча, ни любопытства, ни интереса не было на его лице, а было что-то другое, от чего стало совсем тихо, так, что слышно было, как в опускавшихся сумерках редкие капли дождя стучают по сильно вытянутым картонным козырькам фуражек немцев. Ему не мешало и не стесняло его, что столько людей в это время смотрят на него. Только лейтенант не смотрел на командира корпуса. Опустив глаза, он стоял около немцев и чего-то со страхом ждал.

— Вот так будет со всеми,— сказал Щербатов, обращаясь прямо к немцам, уверенный, что его и без переводчика поймут.— Так будет с каждым из вас! А тех, кто не сдастся на нашей земле, в землю вобьем.

Среди красноармейцев, обступивших пленных, произошло внезапное и общее душевное движение. Только что настроенные на другой лад, они сейчас с радостью и презрением к немцам чувствовали, что генерал выразил именно то, что каждому из них хотелось сказать. И это же почувствовал Гончаров. Слова командира корпуса были самые обычные слова, но сейчас они странным образом разрешили многие колебания в его душе. Мельком попался ему на глаза лейтенант. С восторгом, с гордостью, с обожанием смотрел он вслед удалявшейся машине. Гончаров не знал, что лейтенант этот был сын командира корпуса Андрей Щербатов.

ГЛАВА VII

Среди ночи Гончаров проснулся озябший. Сквозь дыры в высокой крыше сарая светила луна, дымными полосами косо делила пустое пространство сверху вниз.

На улицах отдаленно еще слышны были песни, взвизги и смех девчат, солдатские голоса, гармошка, а за селом — редкая стрельба. Село это взяли уже в сумерках с налета. В него ворвались с двух концов, и немцы, которых не успели перестрелять, бежали, остальных после переловили по погребам, по огородам, в подсолнухах, и когда вели, жители кидались на них, били всем, чем ни попадя, бросали комками сухой земли, плевали, норовя попасть в лицо, так что нашим солдатам приходилось еще и защищать их.

Гончаров зевнул, заворочался в сене.

— Ой, кто здесь?

В лунном свете, в открытых дверях сарая сидела на краю ящика, снятого с колес, военная девушка и причесывалась на память. Гончарову показалось в первый момент, что волосы ее мокры, словно она купалась при лунном свете. Накидывая шинель, он подошел к ней.

— Ой, товарищ старший лейтенант, как вы меня напугали, прямо слова до сих пор сказать не могу, — говорила она кокетливо, подвигаясь и уступая место рядом с собой.

Гончаров сел рядом на край изгрызенного лошадьми деревянного ящика с остатками сена на дне, поправил сползшую с плеч шинель. Прикуривая, сбоку внимательно посмотрел на нее. Она была коренастая и, видно, сильная, какими бывают девушки, рано начавшие заниматься физическим трудом. Он встречал таких девчат на земляных работах, на строительстве дорог. Едят они в летнюю пору хлеб, лук, картошку, молоко, если деревня окажется поблизости, а все здоровые, веселые.

Доплетя, она крендельком связала на затылке свои короткие реденькие косы. Уши у нее были голые, и что-то в ней тронуло Гончарова.

В обвисшие на петлях широкие ворота сарая светила луна, и они сидели двое в лунном свете. Мокрый после дождя голубой мир, тревожная военная ночь лежали перед ними. В какой-то момент Гончарову показалось, что все это происходит не с ним и уже было однажды, быть может в песне. И тоже была ночь, и тишина, и далекие в ночи выстрелы. И военная девушка в шинели сидела рядом...

— Что ж вы одни? Вон все с гражданскими девушками гуляют, — сказала она и пренебрежительно по отношению к гражданским девушкам дернула плечом.

Ему стало жаль ее. Он мягко обнял ее за плечи.

— Что это вы, товарищ старший лейтенант? Зачем это вы позволяете?— говорила она, словно сердясь и как бы даже сопротивляясь.

Закрыв глаза, Гончаров ладонью гладил ее по лицу. И такая затопляющая нежность охватила его, что стало вдруг трудно дышать. Он взял ее на руки и качал на коленях, как маленькую, и голова его кружилась. А она смеялась неловко, стыдливо, сдавленно. Губы у нее были обветренные, и она только неумело раскрывала их, подставляя сомкнутые влажные и холодные зубы.

А потом в какой-то момент лицо ее с зажмуренными изо всех сил, вздрагивающими веками расширилось, наполнило все, стало вдруг ослепительно, нестерпимо красивым, так что сердце задохнулось на мгновение. И долго после они лежали на сене рядом, она на его руке, и все как будто покачивалось, а звуки были далеки-далики.

— Я думала, ты и не замечаешь меня,— говорила она, горячо дыша ему в шею и через расстегнутую гимнастерку любовно трогая кончиками шершавых пальцев мускулы на его груди. А он пытался и не мог вспомнить, как ее зовут. Аня? Люба? И было неловко, и от этого еще большую виноватую нежность чувствовал он к ней.

— Вспотел даже,— она засмеялась стыдливо и благодарно. Ладонь ее была горячее.— Плечи у тебя сильные какие. А вот не грубый ты с девушками.

Он вслепую гладил ее по волосам. В соломенной крыше сарая, надавливая на нее, шуршал ветер, и временами свежую его струю сквозь щели Гончаров чувствовал на своем лице. И под тихий шорох ее слов, под это шуршание и ночной шум ветра он то засыпал, то просыпался, лежа на спине. Внезапно она вздрогнула. Он сел мгновенно и молча. В лунных воротах сарая, перегородив их собой, стояла большая черная тень.

— Лошадь!— сказала она, первая же рассмеявшись над своим испугом.

Это была немецкая лошадь, тяжеловоз с широкой, как печь, спиной и коротко подрезанным хвостом. И слепая. Они увидели это, когда подошли к ней. На морде у нее засохли вытекшие глаза, слезы и кровь. Она отпрыгнула от людей, споткнулась о перевернутую телегу, рухнула на колени; сильно дернувшись всем те-

лом, вскочила. И нелепым слепым галопом поскакала через улицу.

— Вот ведь странно, как подумаешь, — сказала девушка. — Есть люди русские, есть немцы, а лошадь, чья б она ни была, все равно лошадь. И жалко ее одинаково. Так мне на войне лошадей жалко! Они ж не понимают ничего. И когда ранят их, тоже не понимают. А еще больше детей жалко. Я на детей смотреть не могу, они мне потом снятся.

После, когда они сидели на лавочке у стены сарая, она спросила доверчиво:

— Ты чего меня никак не называешь? Имя тебе мое не нравится? Меня вообще-то Ольгой хотели назвать. А записывать бабка пошла. И записала Надеждой. Ее Надеждой звали, и меня по себе записала. Хорошо еще Феклой не сделала. Восемьдесят пять лет ей было, а здоровая — об дорогу не расшибешь. И вот вступи ей в голову: лечиться. Кому, бывало, фельдшер какое лекарство выпишет — и она тут. Не уйдет, пока ей не нальют в ложку. Так прямо с ложкой и шла. Выпьет и говорит: «Вот теперь полегшало». Если б не лекарства, она б до сих пор жива была. А тут мы в город переехали, лекарства в городе вольные, ну она и года не прожила, померла.

Гончаров кутал ее полой шинели, и они сидели, согреваясь общим теплом. Наискосок через улицу, в канаве, лежал убитый немец. Он лежал ничком, под лунной блестела его откинутая каска и пряжка на спине.

— Вообще-то чудно, как вспомнишь, — сказала Надя и тихо засмеялась. — Она знаешь как ела? Все за столом сидят, а она в углу на кровати. Подойдет с ложкой, зачерпнет и несет к себе в угол, на хлебе. Там съест и опять к столу идет. Так взад-вперед и ходит. Обсмеешься, бывало.

Уже догорели пожары, запах гари витал в воздухе, мешаясь с сильным и чистым запахом влажной земли и трав. Высоко-высоко, заплутавшись в ночном небе, ощущенью пробирался на восток самолет. Там изредка мерцали вспышки зенитных разрывов и по временам доносило глухой подземный артиллерийский гром. А когда он стихал, еще осязаемей становилась тишина. И в ней слышен был плач и причитания в голос по мертвому. Это на краю села лежали расстрелянные немцами жители. На конном дворе, шесть человек. Одна среди них была женщина.

Гончаров видел их, когда ворвались в село. Почерневшие на солнце, с распухшими лицами, с раскинутыми в соломе босыми ногами. У женщины волосы свалились одним комом, как пакля, в них — солома, сухой помет и запекшаяся кровь. И отдельно от всех у стены рубленой конюшни сидел мальчик лет одиннадцати, уронив изо рта на грудь засохшую струйку крови.

Теперь, когда стихла на улицах гармошка, особенно явственно доносился плач с того конца села, где лежали убитые люди, только сейчас обласканные родственниками. А из ближних садов слышался счастливый шепот и заглушаемый поцелуем смех. Все было рядом: и горе, и песни, и короткая, как коротки летние ночи, любовь. Завтра ребятам этим в солдатских гимнастерках предстоял новый бой. Но жизнь, уходившая с ними в бой, не могла исчезнуть. В минуту бедствий и истребления она властно, с небывалой силой боролась за себя. И укрытые звездной полой июльской ночи, они должны были отлупить за все подаренные им вперед и не прожитые годы. Чтобы после них на земле, когда пройдут войны и бедствия, жили их сыновья, становясь старше своих отцов.

А рядом с Гончаровым на скамейке сидела военная девушка, и он кутал ее полой шинели, как ту единственную, которой у него еще не было.

ГЛАВА VIII

Ранним утром, захватив с собой адъютанта, Тройников прибыл к командиру корпуса. Утро было ясное, летнее, низкое солнце слепило встречно. Двенадцать километров с фланга на фланг промчались с ветерком. Скорость, ветер, дрожание сильного мотора под ногами — от всего этого горячей начинала ходить кровь и дышалось хорошо. Уже перед хутором случайная тучка, настигнув, опрокинула на них крупный дождь. И сразу все вокруг засверкало на солнце.

Через поваленный, раздавленный плетень Тройников загнал машину под навес мокрых яблонь. Вся земля в саду была перерыта, кора со стволов яблонь содрана до мяса ворочавшимися здесь стальными телами танков. Над облитым дождем дрожащим капотом машины подымался пар. Тройников повернул ключ зажигания, машина вздрогнула последний раз и затихла. И сразу слышна стала тишина, посвист, щелканье, возня птиц

над садом, сквозь них — отдаленное погромыхивание артиллерии, и совсем далеко, за горизонтом — гудение одного заведенного мотора, то усиливавшееся, то ослабевавшее. Это невидимые отсюда бомбардировщики спозаранку везли свой груз.

После стремительной гонки по тряской в воронках и рытвинах дороге земля под подошвами сапог в первый момент показалась неизбежно прочной. Придерживая планшетку, Тройников взбежал на крыльцо. Гимнастерка просыхала на плечах, ремни туго скрипели на теле. Ответив на приветствие выскочившего адъютанта, коротко приказал: «Доложи!» — и огляделся с крыльца.

Наискосок через улицу, на ребре сгоревшей железной кровати с сеткой сидела женщина лицом к солнцу и покрывалась платком. А ниже ее, на золе, как на полу, сидела девочка, вытянув маленькие босые ступни, и крутила ручку уцелевшей швейной машины, глядя на блестящее никелированное колесо. От дома их осталось пепелище да закопченное кирпичное основание, на котором он прежде стоял, а вместо стен с четырех сторон ограждали сгоревшие живыми сирень и вишни, некогда росшие под окнами. Девочка вдруг повернула голову. Несколько мальчишек, толкаясь и отнимая друг у друга, гонялись по улице за листками бумаги, которые ветер выносил из подбитой немецкой машины. Без колес, брюхом на земле, желтопятнистая легковая машина стояла у обочины, все четыре дверцы ее были распахнуты, и ветер, продувая через них, нес эти яркие — красные, зеленые, желтые — напечатанные листки. Они прилипали к заборам, к лужам и медленно плыли по ним.

Адъютант позвал из дверей, и Тройников, оторвав взгляд, вошел. Вместе с начальником штаба Сорокиным и Бровальским Щербатов кончал завтракать. Дощатый, вымытый и выскобленный стол был завален яичной скорлупой, на нем посредине лежал хлеб, не армейский из формы, а круглый, домашний, на тарелке — свежее крестьянское масло комом с каплями воды на нем. Бровальский, стоя, из глиняной корчажки разливал молоко в толстые кружки.

— Садись с нами! — приветствовал он Тройникова, не отрывая глаз от белой, блестящей на солнце струи молока, чтоб не перелить. — Молока хочешь? Парное. Еще теплое.

Тройников увидел свежее масло, хлеб, молоко, льющееся через глиняный край корчажки, и ему вдруг страшно захотелось молока и черного хлеба. Но он отказался. И старался не смотреть, как едят.

У Тройникова не было своих детей, и — в двадцать шесть лет полковник и командир дивизии — он не был женат. Вернее, был женат, но разошелся и уже два года с удовольствием чувствовал себя холостяком. Но сына ему хотелось давно. Товарища. С которым он бы делал тысячу всяких мужских дел.

Прошлой осенью, возвращаясь из отпуска, с моря, с юга, весь из мускулов и бронзовой кожи, еще чувствуя на ней морскую соль и солнце, он заехал на несколько дней к сестре. Сестра была младшая, любимая, единственная. У них с мужем, бухгалтером маслозавода, было уже двое детей, и свой домик, и садик на окраине города. И, само собой, дальние планы женить брата.

Пообедав с шурином, человеком молодым, но солидным, уважаемым на маслозаводе и уважающим себя — сестра за хлопотами только раз успела присесть к столу, — Тройников вышел в сад и там на расстеленном одеяле лег под вишней. И с давно забытым ощущением тишины, покоя и мира заснул под шум ветра в листве. А когда проснулся, сестра вынесла только что покормленного четырехмесячного сына, в короткой распашонке и голого, гордясь, положила его брату на грудь. И сама присела рядом на край одеяла, расплывшая в талии, с полными руками, на которых трещал ситцевый халатик, с пятнами вытекшего молока на груди, которого у нее хватило бы еще двоих выкормить, красивая той особенной здоровой красотой, какая бывает у молодых матерей.

И странное чувство испытал Тройников, когда маленький человек с трясущейся головой и бессмысленными блестящими глазами, пахнущий своим особенным молочным запахом, начал шевелиться, пытаясь ползти по нему, упираясь ногами, коленями, влажной лапкой цепко схватил за губу, а потом всю грудь измочил слюной. Тройников лежал под ним, боясь дышать, замирая от чего-то, чего он прежде никогда не знал и даже не представлял, что это может быть. А сестра смеялась, глядя на них...

Сегодня с крыльца Тройников случайно увидел на пепелище женщину и девочку, не плачущих, а даже веселых как будто, и что-то сжалось в нем. Но он заставил

себя не думать. В том сосредоточенном состоянии, в котором он находился сейчас, он инстинктивно отдалял от себя все, что это состояние могло разрушить. Ожидая, пока командир корпуса кончит завтракать, он сел на табуретку у стены, разглядывая носки своих хромовых сапог, сквозь пыль отражавших солнце.

Наконец ординарец убрал со стола, вышел. Щербатов подвинул к себе карту:

— Докладывайте.

Тройников быстро встал, подошел к карте. Взглянул на командира корпуса. Крупное лицо его с каменными складками в углах губ было неподвижно, он поднял на Тройникова ничего не выражавшие глаза и опустил их. Тройников почувствовал, что волнуется. Слишком дорого было то, что он хотел доложить, страшно, что вдруг не поймут, не поверят.

С того времени как началось наступление, он не спал еще ни часу. Заняв указанные ему рубежи и закрепляясь на них, он всю ночь по разным направлениям конной и пешей разведкой прощупывал противника. Он убедился: тыл наступавшей немецкой группировки был пуст и обеспечивался только одним — стремительностью продвижения вперед. По дорогам к фронту двигались транспорты с боеприпасами, с оружием, мчались связные на мотоциклах. Несколько транспортов и связных он перехватил. Ни о каком русском корпусе, появившемся в тылу у них, они еще ничего не знали, они были уверены, что попали в плен к солдатам одной из разбитых частей, пробиравшихся из окружения, и держались высокомерно. Ночью же, коротко допросив, Тройников направил их в штаб корпуса. И чем больше данных скапливалось у него, тем ясней ему становилось: военная удача сама идет к ним в руки.

Не всегда операция проходит так, как задумано поначалу. Бывает, что успех обозначится не там, где его ждали, а на неглавном, третьестепенном направлении. Он может стать решающим, этот случайный успех, если, вовремя оценив обстановку, развить его, сюда бросить главные силы.

Такая ситуация создалась сейчас. Ее надо было не упустить, только не упустить, использовать немедленно, новыми глазами увидеть развернувшийся бой. Отвлекающий удар корпуса, разработанный вначале робко, на недостаточную глубину, с единственной целью оттянуть часть сил на себя и тем ослабить давление немецкой

группировки, дал вдруг неожиданные результаты. Войдя в прорыв между фронтом и тылом, корпус внезапно стал хозяином положения в тылу. Перед ним, незащищенный, обнажился становой хребет наступающей немецкой группировки. И теперь уже речь шла не об отвлечении сил, не о каких-то вспомогательных действиях. Нужно было решиться сюда перенести центр тяжести. Один смелый удар всей силой, собранной в кулак, — и стремительный темп немецкого наступления будет сломлен.

— Прикажите полковнику Нестеренке прикрыть мой левый фланг, — говорил Тройников волнуясь, — и, даю слово, мыотрежем его. Мы заставим его замечаться! Только не останавливаться. Станем — конец! Своими руками отдадим ему в руки победу.

Он говорил вещи, которые нельзя не понять, а поняв, нельзя не зажечься. Но он ничьих не встречал глаз. И чем дальше говорил, тем большую чувствовал вокруг себя пустоту и неловкость. Бровальский, встав, ходил по комнате, наступая всякий раз на одну и ту же скрипевшую половицу, как на больной зуб, и морщась при этом. Щербатов курил, и дым папиросы подымался над его головой в свет солнца, косым столбом протянувшийся из окна. И только Сорокин чем дальше, тем неодобрительней покачивал головой.

Не знал Тройников и не мог знать, что этой ночью со всем тем, что он предлагал сейчас, Щербатов посылал своего начальника штаба к командующему армией Лапшину, и всю ночь они с Бровальским ждали, веря, надеясь и боясь верить. Не один раз за эту ночь Щербатов выходил из дома и подолгу стоял в темноте, приглядываясь к далеким зарницам и вспышкам, ловя на слух приглушенное стрекотание пулеметов и взрывы, долбившие землю. Потом шел обратно в дом, где у керосиновой лампы, щурясь в темный угол, сидел Бровальский, курил папиросу за папиросой. Под конец, не выдержав, Бровальский сбегал к ординарцам, принес фляжку, два стаканчика, на двоих одну холодную картофелину в кожуре, разрезал ее пополам на ладони. Чокнувшись, выпили молча, без тоста, подумав только. За окно уже было страшно смотреть: там вот-вот должно было начать светать. Уходило последнее время, оставшееся на перегруппировку войск, если думать об операции. Выпили еще по одной, и тут наконец-то

Щербатова позвали к телефону. Когда брал трубку, сжало сердце: перед чем? И все-таки еще надеялся.

— Авантюристы! — с первых же слов, как только Щербатов назвал себя, закричал командующий армией. — Я вам посамовольничаю! Выполнять приказ!

Это кричал человек, потерявший контроль над собой, находящийся в том состоянии, когда чем довод разумней, тем больший вызывает гнев. Даже телефонисты на узле связи стояли навтыяжку.

Перед утром — уже светало — вернулся Сорокин. Столько километров мчался в открытой машине, но и ветер не охладил его. Начал рассказывать — задрожали губы, едва-едва справился с собой. Сорокин и не перед такими робел, а тут командующий армией во гневе!

— Какие наступления? Слушать не стал, карту нашу швырнул мне... Штаб весь на колесах, мы прибыли, так пока до командующего дошли, нас чуть не щупали руками, верить не хотели, что мы отсюда, на машине и дороги не перерезаны. Где немцы — никто не знает, ждут, вот-вот к штабу прорвутся. Мы побыли, так и нам казаться стало... Так кричал, так кричал, за всю мою службу — мальчишкой был, лейтенантом — на меня так не кричали...

У него опять запрыгали губы. А Щербатов, как сел за стол, сжав голову руками, так и сидел, окаменевший. Корпус уже в тылу, уже навис над коммуникациями. Только ударить!.. Пройдет ночь, день — и будет поздно. И другого такого случая не будет. Единственно правильная мысль всегда кажется безумной. Именно в тот момент, когда она нужней всего. Правильной она становится задним числом. И ничего нельзя было изменить. Чтобы решиться, Лапшину надо было обладать тем, чем он не обладал: способностями полководца. Способностью пойти на риск и в решительный момент, взяв события в руки, преодолеть кризис, вызванный большим риском. Этой способности он был лишен. И, наверное, не подозревал даже, что она вообще существует. А не веря себе, он тем более не мог поверить кому-то из подчиненных, разрешить то, на что сам бы не решился. Самое трудное — решиться, самое губительное — ничего не решать. Но и одним своим корпусом без поддержки с фронта Щербатов тоже ничего сделать не мог.

Тройников этого не знал и не мог знать. И чем убежденней, горячней говорил он, чем неопровержимей были его доводы, тем трудней становилось слушать его.

— Как это вы вот так, не разобравшись, честное слово, беретесь судить...— страдая не столько за себя, как за Щербатова, сказал Сорокин с внезапной обидой.— «Либо мы противника, либо он нас»... «Середины на войне не бывает»... «Упустить инициативу — значит отдать ее в руки противника...» Что еще? Неужели мы трое всего этого не знаем? Сидели, ждали, пока научат нас!..

Тройников покраснел. Случайно взгляд его упал на руки Сорокина, собиравшие карту со стола. Старческие, бессильные руки с плоскими на концах пальцами, со вздутыми венами, через которые замедленно протекала холодная кровь. В такие ли руки брать судьбу и властно ломать ее? Он повернулся к Щербатову и встретился глазами с ним. В хмуром, тяжелом взгляде Щербатова, твердо устремленном на него, он увидел что-то враждебное. Но это на минуту только. Щербатов прикрыл глаза веками, глубоко затаился.

— Продолжайте.

Тройников молчал. Исход сражения решается в сердцах людей, и в первую очередь в сердце командующего. И Тройников почувствовал: исход этого сражения решен. Еще до того, как оно начнется. Что-то оборвалось у него в душе. И уже не для того, чтобы убедить, а потому, что слова эти сами поднялись в нем, сказал:

— Иван Васильевич, родина у нас одна. Без нас она обойдется, но нам без нее не жить.

При этих словах что-то дрогнуло у Бровальского в лице, и он остановился. Он видел только спину Щербатова и его массивную наклоненную голову. Он чувствовал его боль. Но Щербатов сдержался. Он сказал только:

— Идите и выполняйте свои обязанности.

ГЛАВА IX

За три недели до начала войны вот так же, как сегодня к нему Тройников, ездил Щербатов к командующему армией. Они стояли тогда вблизи границы, и среди местного населения уже шли упорные слухи, что немцы со дня на день начнут войну. Слухи эти пресекали

со всей решительностью, но на базарах, в очередях люди поговаривали открыто. Однажды после какого-то совещания Щербатова зазвал к себе командир погранзаставы и в бинокль показал ему немецкие артиллерийские батареи на той стороне, замаскированные плохо, стоявшие почти что на виду. «Они у меня все по числам отмечены, — сказал он. — Вот эту третьего дня установили...»

— Ты наверх сообщил? — спросил Щербатов, хотя об этом и спрашивать-то не надо было.

— Как же, каждый раз сообщаем.

— Ну?

— Нам главная задача — не поддаваться на провокацию.

И совсем уж доверительно рассказал, что два дня назад ночью они задержали перебежчика. Коммунист. Немец. Перебежал, чтобы предупредить, что скоро начнется война.

— У нас интересоваться не полагается. Знаю только, что отправлен дальше под усиленным конвоем. Но слышать пришлось, будто провокатор. Конечно, все может быть. В середку не залезешь... Шпионов мы сейчас против прошлого года в двадцать пять, в тридцать раз больше ловим. Все с рациями. Так что повидать пришлось. Но этот не похож.

Начальник погранзаставы посмотрел на Щербатова своими разными, широко от переносицы поставленными глазами, внимательно, серьезно так посмотрел, немолодой, спокойный, твердый человек:

— Я вам, Иван Васильевич, говорить всего этого не имею права. Узнают — у меня голову снимут с плеч долой. Но я так считаю: на что она и голова, если проку от нее никакого. Вы не подумайте чего другого... У меня тут жена, дочь. Я жене прочно сказал: что со всеми будет, то и с тобой. В тыл тебя отправлять не буду, ты жена начальника погранзаставы, раз угрозы нет — значит, ее и для нас с тобой нет. Так что не о себе речь. Но я вам, как коммунист коммунисту. Может, по вашей линии дойдет, вам-то, может, больше поверят. Мнение у меня такое: до самого-то верха, до Сталина, — он оглянулся, произнеся это имя вслух, словно здесь, в непосредственной близости границы, выдавал тем самым нечто секретное, — до него, боюсь, сведения наши не доходят. Может, огорчать не хотят...

Щербатов уехал в смутном настроении. На границе особенно ощутимо пахнуло на него тревожной близостью войны. И многие факты, имевшие вдали от границы какое-то объяснение и смысл, здесь теряли всякую видимость смысла. Творилось что-то странное. В соседней танковой части хорошо если треть старых танков было боеспособных. Остальные надо было ремонтировать, но не было запасных частей, и даже заявки на них не принимали полностью. Все ждали новые танки — «тридцатьчетверки», «КВ». Они прибывали единицами, их только начинали осваивать. Срочно из пополнения набирали танкистов, набирали в пехоте, в кавалерии. Но нужно было время обучить их. Будет ли это время? Сколько осталось его? А может, война уже стоит у границ?

Вдруг начали переоборудовать аэродромы. Для новых типов самолетов нужно было увеличить взлетные полосы. Самолеты эти пока что редко кому из летчиков удалось повидать, они прибывали считанными экземплярами, но аэродромы в их округе стали переоборудовать сразу все. Работы были поручены войскам НКВД, велись они широким фронтом, и закончить могли их только глубокой осенью. А пока что авиацию согнали на немногочисленные аэродромы мирного времени, придвинутые близко к границе. И там она стояла скученная, беззащитная от бомбового удара. Что это, твердая уверенность, что война в ближайшие месяцы не начнется, или полное незнание обстановки? Но даже твердой уверенностью, даже этим нельзя было оправдать такой страшный риск, ставящий страну на грань катастрофы.

Чем больше думалось, тем необъяснимей, непостижимей казался каждый факт. А они вспоминались десятками. Командир авиационного истребительного полка рассказывал Щербатову, как на их аэродром сел вдруг немецкий бомбардировщик: «Вы б поглядели на них, какие они вышли из самолета. По морде каждого видно — фашист. Держатся нагло, вот так на нас глядят! Ни черта они никакую ориентировку не потеряли. Но — куда там! Наехало высокое начальство, как по тревоге, любезностей им полные руки отвесили, накормили в командирской столовой, только что пирогов на дорогу не завернули. Нельзя — друзья! Будь моя воля — эх, я б этих друзей заклятых!..» — он выругался по-русски, хоть этим облегчив душу.

Случись все это в другом месте, можно было бы усомниться, не поверить. Но это происходило не где-то, а здесь, у них. Как было совместить: по всей стране ловят шпионов, газеты пишут о бдительности, и отпускают с почетом немецких летчиков, разведавших военный аэродром. Неужели так велик страх спровоцировать немцев? В XX веке войны не начинаются из-за того, что задержали самолет, нарушивший границу. А когда хотят начать войну, за предлогом дело не становится.

Слепому иной раз легче, чем зрячему. Он не видит, он может не знать. Но Щербатов на беду свою не был слепым. По одному полку от каждой его дивизии работало на строительстве укреплений. Их строили вдоль новой государственной границы, и было еще очень далеко до их завершения. А тем временем в тылу, там, где была старая граница, отодвинувшаяся на запад, уже разрушали прежние укрепрайоны. С них сняли вооружение, готовые доты засыпали землей. Не построив новых укреплений, разрушать старые — этого нормальный ум понять не мог.

Он решил поехать к командующему армией, убедить его, что ждать нельзя, надо действовать, пока еще время есть. Армией, в которую входил стрелковый корпус Щербатова, командовал генерал Лапшин. В финскую войну он еще командовал батальоном, под Выборгом получил полк, а потом стремительно вырос до командующего армией. Для такого роста в мирное время мало бывает даже самых блестящих данных. Нужны еще причины внешние. И эти причины Щербатов понимал. Когда в короткий срок были объявлены врагами народа почти все командующие округов, командармы, комкоры, комдивы, даже командиры полков и армия оказалась обезглавленной, должен был неминуемо начаться стремительный рост снизу. И вот командиры батальонов выросли в командармов. Вырасти-то выросли, а пригодны ли — проверить это могла только война. Людей мирных профессий проверяет мирное время, военных проверяет война. Те, кто от первых шагов создавали Красную Армию, а теперь исчезли по одному бесследно, так, что имена их, некогда славные, было опасно произносить, те тоже вырастали стремительно из рядовых в командармы. Но они вырастали в бою, а не за столами. И Щербатов, едучи к Лапшину, не мог не думать об этом, хотел бы и все же не мог обольщаться.

Генерал Лапшин, назначенный командармом недавно, пока еще чувствовал себя в этой должности, как только что выпущенный лейтенант в ремнях: новые, скрипят, и всем показаться хочется. Он принял Щербатова дружески, покровительственно и по-простому.

— Разговор ко мне, говоришь? — Лапшин раза два прошелся по кабинету взад-вперед, резко скрипя по дошкам кожаными подошвами, стал перед Щербатовым. Бритый наголо, с блестящей от загара головой и шеей, с суровыми черными длинноволосыми бровями на бритом лице — каждая бровь толщиной в ус, — Лапшин был невысок и крепок, покатые плечи его, спину и грудь под гимнастеркой округлял легкий жирок.

— Разговор...

Подняв бровь торчком, Лапшин из-под нее снизу вверх сверкнул на Щербатова глазом.

— А вот что мы с тобой придумаем, — и его «ты» было тем начальственным в новой, демократической манере сказанным «ты», которым награждают подчиненных в знак особого расположения и которое предполагает ответное «вы». — Сегодня дома я один, холостякую, дело субботнее, пойдем ко мне домой, а там и поговорим по душам.

Дома Лапшин своим особенным способом заварил чай, к слову попотчевав гостя чем-то вроде анекдота: «Почему мужчина заваривает чай лучше женщины? Потому что женщина знает, сколько надо класть заварки, а мужчина не знает и на всякий случай кладет на ложку больше». Некогда, будучи еще ротным, слышал Лапшин эту присказку от командира дивизии и теперь, став командующим армией, завел себе все так же, как когда-то слышал и видел у других. И привычки себе завел. Привычки в армии — дело не последнее. Пока ты мал, они никого не интересуют, разве что ординарца. Любит, например, старшина-сверхсрочник пить крепкий чай. Ну и люби себе на здоровье. Сиди хоть все воскресенье в гарнизоне в начищенных сапогах и пей чай. Но совсем другое дело, когда командующий любит крепкий чай. Это каждому и узнать интересно, и рассказать. Потому что это не так просто, у больших людей ничего зря не бывает.

Щербатов сам давно уже был в положении человека, за действиями которого наблюдают тысячи глаз, каждое слово которого — особенно если это удачно сказанное слово — подхватывается и передается многоусто. Он

ничего почти не знал о прошлой службе Лапшина, но, опытным военным глазом наблюдая его сейчас, в домашней обстановке, видел и понимал цену всему.

Было начало июня. Весь день стояла сильная жара, и теперь, под вечер, в марлевой занавеске, затянувшей окно от комаров, воздух был недвижим. И в этой духоте Лапшин пил крепкий чай стакан за стаканом, не потев, только голова и шея его коричневели и блестели сильнее. В коверкотовой гимнастерке с португеей, перехлестнутой через плечо, с орденом Боевого Красного Знамени на груди, он был похож на тех командармов, чьи портреты исчезли уже давно.

— Так о чем тревога? — спросил он.

— Тревога вот о чем: я на этих днях объезжал части своего корпуса — нехорошее настроение вблизи границы. Население соль, спички запасает, разговоры всякие в очередях. В общем, как перед войной. И факты тревожные есть...

— Так уж тревожные?

— Пока не видишь — ничего еще, а поглядишь... Павел Алексеевич, смотреть невозможно, как мы ему эшелон за эшелонем хлеб гоним, нефть, а он к нашим границам пушки везет.

Щербатов говорил это и сам еще не знал, что меньше чем через три недели его корпусная артиллерия будет расстреливать последний уходящий к немцам эшелон нефти и артиллеристы радостно закричат, своими глазами увидев, как от удачного попадания рвутся и горят на путях цистерны, не думая в этот момент о том, что расстреливают свою же собственную нефть.

— Так ты что, пушек его испугался? Мы — люди военные, нам пушек бояться вроде бы не к лицу, — сказал Лапшин, давая разговору тон бодрости, который, как привык он, обычно тут же подхватывался. И уверенный заранее, сверкнул глазами из-под бровей.

Щербатов некоторое время смотрел в стол.

— Боюсь я не пушек. Боюсь, что мы правде в глаза взглянуть не хотим. А правда в одном: война у границ. Это можно сейчас утверждать с достаточной вероятностью. Разрешите быть откровенным?

— Валяй.

Щербатов стал рассказывать факты, которые знал, которые, отправляясь к Лапшину, собрал специально. Он старался дать почувствовать ему ту тревогу, которой уже был пронизан воздух, убедить Лапшина, что надо

срочно сообщить в Москву, просить разрешения хотя бы рассредоточить авиацию, привести войска в боевую готовность, вывезти в тыл семьи командного состава. Сделать самое первое, самое необходимое и понять, понять, что это — война. Что немцев, фашистов нельзя задобрить. С ними, как с бандитами, разговор может быть только один — чем ты сильнее, тем они смиренней.

Лапшин слушал, накручивая на палец бровь. Потом откинулся на спинку стула, охватил ее руками позади себя и смотрел на Щербатова, чуть-чуть улыбаясь, как человек, который знает гораздо больше того, что ему хотят сообщить, больше того, что он сам имеет право сказать, и потому вынужден только слушать и поражаться наивности и легковесности суждений. Он сидел, не сомневающийся, что все, что нужно, делается, и враг, когда придет время, будет отброшен и разбит — малой кровью, могучим ударом.

— Эх, Щербатов, Щербатов! Какой же ты оказался политически незрелый человек! А ведь командир корпуса! Ай-я-яй! «Укрепления демонтируют в тылу, вооружение снято с них»... Так это где? За сотни километров от границ. Ты что, отступать собрался? Немцев на нашу землю хочешь пустить? Встречать их думаешь там? Знаешь, как такие настроения называются? Это называется — боязнь врага. Это у тебя пораженческие настроения. Негоже! Мы врага будем бить здесь, если он посмеет посягнуть на священные рубежи нашей Родины. И здесь его разобьем!

Голая голова его блестела уверенно, уверенно блестели глаза из-под сурово сдвинутых бровей, и весь он был олицетворением непоколебимой уверенности. Он гордился ею, как высшим достижением, доступным пока еще не всем. «Врага мы будем бить здесь». Чем бить, когда танки стоят разобранные? Мыслью? Слепой, гордящийся своей слепотой, как наградой свыше.

Щербатов сказал тихо:

— Товарищ командующий, самые передовые люди, вооруженные самыми передовыми идеями, могут оказаться бессильны против вооруженных бандитов.

— Насчет идей это ты брось!

— Это говорил Ленин.

— Вот видишь!

И Лапшин покачал головой. В сознании своего превосходства он смотрел на человека, временно поддавшегося панике.

Вдруг далеко в гарнизоне запела на закате труба. Щербатов слушал ее, закрыв глаза. Из далекого далека через годы и воспоминания, тревожа в душе самое дорогое, шел к нему звук трубы, некогда на всю жизнь позвавшей его. Уже давно смолкла труба, а он все слушал ее, бережно храня тишину.

Но, видимо, каждому труба пропела свое.

— Мы — солдаты, — сказал Лапшин твердо и встал. — Наш долг — выполнять приказ. Скажут умри — умрем!

Щербатов тоже встал, посмотрел на него.

— Солдатский свой долг мы выполним, он прост. Солдат за одну винтовку отвечает. Но и с винтовкой в руках... Когда первый раз мы брали винтовку в руки, в семнадцать лет, мы знали тогда, что идем в бой за все человечество. И не было на земле ничего, за что бы не отвечали мы. Неужели ж теперь, когда командуем тысячами людей, с нас спрос меньше?

Но и на это Лапшин только улыбнулся чуть-чуть и покачал головой, как бы еще раз сказав: «Какой же ты политически незрелый человек!..»

А через несколько дней он сам позвонил Щербатову. Утром рано, Щербатов только собирался ехать с проверкой в один из артиллерийских полков, когда прибежали за ним из штаба. В трубке он услышал веселый голос Лапшина:

— Щербатов? Газеты сегодня читал? Не получил еще? Ну вот получишь, прочти внимательно. Там на твой счет тоже есть. Понял? А когда прочтешь, выпей перед обедом сто грамм. Разрешаю. А за кого выпить — сам догадаешься.

Щербатов с трудом дождался газет. Но еще раньше, чем они пришли, он услышал по радио текст сообщения ТАСС. Потом прочел его своими глазами. За восемь дней до начала войны он читал:

«...По данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия Советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы, а происходящая в последнее время переброска германских войск, освободившихся от операций на Балканах, в восточные и северо-восточные районы

Германии связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям...»

Такое не могли сообщать, не располагая проверенными данными. Значит, видят, знают, отдают себе отчет. И вот предупреждают народ сохранять спокойствие, не верить слухам.

Найдя новое русло, мысль устремилась по нему, и весь этот день прошел как в угаре. Щербатова еще раз вызвал Лапшин, приказав немедленно прибыть, как потом оказалось, к обеду. Когда он, опоздавший, вошел, было уже достаточно выпито, шумно, сквозь папиросный дым блестели красные лица. Но Щербатову налили штрафную, налили еще, и лица в дыму засияли одной общей дружеской улыбкой. Пили за него. За того, кто сквозь бури и грозы, сквозь любые политические штормы твердой рукой ведет корабль вперед, глядя вдаль всевидящим орлиным взором. За его великое мужество и силу духа, за его беспримерную прозорливость, позволяющую ему вести народ от победы к победе. За Великого Рулевого нашей эпохи. И все громко говорили, перебивая друг друга, а во главе стола, рядом с Лапшиным сидел дивизионный комиссар Масловский, бледный от выпитой водки, как все нездоровые люди. На его белом лице темные глаза горели сильно и страстно, не всякий мог выдержать их взгляд. Светловолосый, он издали казался моложавым, и только вблизи было видно, что волосы его почти сплошь седые, а лоб в тонких морщинах. Щербатов все время чувствовал себя под его взглядом.

А потом как-то так получилось, что они трое — Лапшин, Масловский и Щербатов — стояли в углу комнаты, отдельно от всех. Щербатов стоял спиной к углу, держа стакан в руке, а перед ним с налитыми и поднятыми стаканами в руках стояли Лапшин и Масловский и говорили о самом сокровенном, говорили о нем. Между ними никогда не было душевной близости, но сейчас они чувствовали ее, хотелось говорить по душам.

— Каждый из нас может ошибаться, — говорил Щербатов, чувствуя потребность в исповеди и не замечая, что это можно и так понимать, будто он кается за прошлый свой приезд к Лапшину. — Каждый из нас может что-то недопонимать...

— А каково е м у! — торжествующе перебивал Лапшин. Он сознавал себя здесь человеком, наиболее близко стоящим к н е м у, и этого никому не хотел уступить. Сияя коричневым глянецом головы, он улыбался загадочной улыбкой, намекая на что-то, как человек, которому многое доверено, да немногое можно сказать. А Масловский, бледный, с темными раздраженными глазами, тяжело дышал, и одно веко его нервно подергивалось. И они никак не могли выпить своих стаканов, потому что друг перед другом хотелось сказать еще и еще: «Ведь каждый из нас... А каково е м у!..» Они испытывали великий восторг самоуничижения. Но где-то в глубине души Щербатов чувствовал фальшь происходящего. И, чувствуя, все же говорил. Что-то заставляло его говорить.

А среди ночи, проснувшись от головной боли, он вспомнил все это с мучительным стыдом. Было стыдно и гадко. И особенно гадко вспоминать, как они стояли в углу и прорвалась в нем эта потребность перед другими говорить о своей преданности, о том, что обычно человек держит в себе. Что заставляло его говорить это? Водка? Водка только сделала нестыдным то, чего трезвый стыдится. И отчего вообще радость? Что изменилось? Он пытался собрать уверенность, которая была у него днем, и не мог. Сейчас это почему-то не удавалось. А может, просто все обрадовались возможности зажмуриться? Зажмуриться и не видеть опасности? Ты не видишь — и ее уже нет. Он заново перечитал сообщение ТАСС, и теперь все в нем казалось неубедительным.

Этой ночью он слушал радио. Что говорит сейчас мир? Вдруг ворвался рев самолета и сквозь него торопливый, захлебывающийся голос диктора. Диктор говорил по-немецки. Над каким городом кружил сейчас самолет? Сквозь свист и хаос, сквозь обрывки музыки Щербатов нашел Париж. И твердая немецкая речь раздалась так близко, что Щербатов убавил звук и закрыл окно. Немца прерывал хохот многих здоровых глоток и аплодисменты. И снова говорил он что-то смешное. И снова хохот и топот ног.

Щербатов шарил по станциям с волны на волну. Притихшая Европа говорила по-немецки и плакала по-немецки, передавала немецкую музыку, и веселилась, и танцевала под нее. Во Франции, в Дании, в Голландии, в Бельгии, в Норвегии, в Польше, в Чехослова-

кии — на всех волнах раздавалась немецкая речь. В Белграде и Афинах звучало одно и то же немецкое танго, сладкое и медленное. «Происходящая в последнее время переброска германских войск, освободившихся на Балканах, связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательств к советско-германским отношениям...» Все это, казавшееся убедительным и таким логичным днем, сейчас выглядело по-иному. «Надо полагать...» Самое странное, что не немцы заинтересованы в таком опровержении, не они опровергают, а мы за них. И тон какой-то просительный, словно представляем на подпись или просим подтвердить.

Лондон, который теперь бомбили еженощно, под звон колоколов передавал богослужение. Москва давно закончила передачи, и люди спали мирным сном. От западной границы до Дальнего Востока страна спала, убаюканная, и видела сладкие сны. Как остановить надвигающееся? Щербатов знал, что командующий соседней армией писал лично Сталину, предупреждая об опасности, пытался посоветовать ряд срочных мер и за это по личному распоряжению Сталина был снят и отозван, обвиненный в трусости и пораженческих настроениях. Об этом шепнул ему вчера Лапшин и, отстранившись, прищурясь хитро, погрозил пальцем. Мол, учти и помни, что мог я с тобой сделать и не сделал.

Как лечить болезнь, когда запрещено даже называть ее? Безопасно одно: быть слепым. Зажмуриться и выражать уверенность. Говорить то, что хотят слышать. А что, если за завесой строжайшей секретности охраняется от взглядов пустота? Наша неподготовленность? И никому не разрешено приблизиться с советом: во круг, как ток смертельного напряжения, пропущен страх.

Самое ужасное, что во всем этом, противоестественном и гибельном, была своя логика, непостижимая для здравого ума. Щербатов не мог разгадать ее, но чувствовал, что она есть. И каждый факт, в отдельности казавшийся случайным, диким, был следствием чего-то и одновременно причиной. Все началось не сегодня, а где-то раньше. Развязанные, пущенные в ход события развивались теперь самостоятельно по своей внутренней логике, со всеми последствиями, которые вначале невозможно было предвидеть. Никто в отдельности гибели не хотел, и все вместе делали то, что вело к гибели.

И все-таки на другой день и в следующие дни Щербатов ждал, что появится немецкое опровержение. Он хотел надеяться еще, хотел ошибиться. Но дни шли, а немцы ничего не подтверждали и не опровергали. И то, что оставалось по-прежнему неясно людям, вершившим политику, привыкшим распоряжаться судьбами тысяч и миллионов, — простым людям, каждый из которых, если глядеть сверху, быть может, и неразличим в общей массе, каждому из этих обычных, обремененных детишками и страхами людей здесь, вблизи границы, давно уже было ясно. Они делали то, что всегда делали люди в ожидании чужеземного нашествия: запасали соль, спички, хлеб. Те из них, кто думал здесь переждать нашествие, ночами, втайне от соседских глаз, зарывали в землю самое дорогое; другие готовились в путь. Вещи прятали в землю, люди уходили в себя: слишком неудобно и небезопасно было говорить вслух об очевидном. И, странное дело, чем умней, доверенней, информированней был человек, тем глупей и беспомощней он действовал на поверку. А те, кому надеяться было не на кого, а надо было самим думать за себя и за своих детей, кто пользовался одними слухами, трижды перевернутыми, ни на что не похожими, те при всей неосмысленности и видимой бестолковости своих действий делали единственно правильное, что им оставалось делать.

И только армия, как будто ничего не менялось, продолжала жить по распорядку мирного времени. Артиллерия проводила учения на полигонах, танки, многие из них разобранные, стояли в ремонте, и по всем подразделениям готовились к вечерам художественной самодеятельности. После Щербатову об этом было дико вспомнить. Но это было так. На 22 июня, на воскресенье, были назначены спортивные соревнования и игры, этим соревнованиям придавалось большое значение, и подготовка к ним шла полным ходом.

В ночь с пятницы на субботу Щербатова вдруг вызвали в штаб к телефону. Понимая, что случилось нечто чрезвычайное, он быстро оделся и только успел выйти на крыльцо, как подкатила его машина. Шофер выскочил, с поспешностью виновато полез под капот: что-то не ладилось в моторе. Щербатов не стал ждать. Сказав: «Исправишь — догонишь», пошел пешком. Было ветрено, моросил дождь. Глубоко сунув руки в карманы плаща, Щербатов шел по улицам спящего городка,

и ясное ощущение — «вот оно, начинается» — подкатывало под сердце.

В штабе о звонке никто ничего не знал. Щербатов еще допрашивал дежурного, когда послышался звук мотора и сейчас же раздались несколько автоматных очередей. Щербатов с пистолетом в руке выскочил из штаба, дежурный бежал за ним. В переулке посреди мостовой горела его машина. Он дернул дверцу — шофер был убит.

В эту ночь он поднял корпус по тревоге. Для него сомнений не оставалось: война начнется с часу на час. Он вызвал артиллерийские полки с полигонов, командирам дивизий отдал приказ скрытно вывести войска в леса к государственной границе. Уже на исходе ночи, проехав на машине тридцать километров, поднял с постели командира соседнего авиационного соединения, известного в свое время военного летчика Бобринева, имя которого было окружено множеством легенд. Коротко рассказал о своем решении, Щербатов посоветовал ему рассредоточить самолеты.

— Думаешь, начинается? — спросил только Бобринев, глядя на него испуганными и восхищенными глазами. — От это так самодеятельность!

Не успев одеться, он стоял спиной к окну в синем гимнастическом шерстяном тренировочном костюме, скрещенными на груди руками подпирая мощные грудные мышцы, коротко постриженный, похожий на боксера. А Щербатов на отставленном стуле сидел посреди комнаты, одетый по-походному, в боевом снаряжении, в дождевике, в заляпанных грязью сапогах, и пахло от него дождем, кожей амуниции, оружейным маслом и бензином — запахом дальних военных дорог. И за окном, не глуша мотора, стояла машина, на которой он приехал и опять уезжал в ночь.

— Эх, да я ж ведь тоже любитель хорошей самодеятельности! — оживился Бобринев, зачем-то быстро причесывая короткий торчащий ежик волос.

Они простились крепким мужским пожатием, глянув друг другу в глаза.

Весь остаток ночи и день Щербатов не появлялся в штабе. Носясь на машине из полка в полк, сам проверял боевую готовность, знал, что ищут его. По многим телефонам требовали его, множество мотоциклистов с приказами мчалось за ним по разным дорогам — его нигде не было.

Уже под вечер в лесу, в дивизии Нестеренко разыскал его начальник штаба Сорокин. Он приехал вместе с Бровальским, который, прервав свой отпуск, самолетом вернулся из Москвы. Щербатов сидел на пне и по-походному ел суп из солдатского котелка. Фуражку он снял, положив рядом с собой на траву, и ел азартно, откусывая черный хлеб от ломтя, который не выпускал из руки, придерживавшей котелок на колене. И лицо у него было оживленное, и веяло от него силой.

Сорокин со страхом смотрел на его широколобую наклоненную над котелком голову, всю в крепких волосах, нигде еще не начавшую лысеть, чуть только тронутую сединой, смотрел так, словно эта голова уже не принадлежала ему. Он знал, что занесено над нею. Самое страшное, что мог совершить Щербатов, он совершил, в такой обстановке нарушив приказ. Весь день проведя у телефона, отвечая на яростные звонки командующего армией, грозившего трибуналом, он ехал сюда, доведенный до крайней степени испуга, содрогаюсь от мысли, что необдуманные, поспешные действия Щербатова могут быть расценены немцами как провокация и вызвать конфликт. Он ехал лично передать приказ, убедить, пока не поздно, зная, что уже выехали и ищут Щербатова Масловский и прокурор. Но сейчас, докладывая все это, он вместе с жалостью и страхом чувствовал свою смутную вину перед этим человеком, словно совершал предательство по отношению к нему, и пальцы его рук, вытянутых по швам, дрожали.

Щербатов доел суп, ни разу не подняв головы, пока начальник штаба и комиссар стояли над ним, как над больным, находящимся в опасности. Поставив котелок на траву, достал портсигар из кармана галифе, размял папиросу в пальцах, мундштуком постучал по крышке и закурил.

— Ну? — спросил он, сквозь папиросный дымок снизу щурясь на Бровальского. — Что в Москве?

Он спросил благодушно, как человек, находящийся в послеобеденном, заторможенном состоянии; из глаз его только после нескольких затяжек исчезло сонное выражение.

Бровальский нервно заходил по лесу.

— Ни черта не понимаю! — сказал он и оглянулся, нет ли посторонних, но, кроме них троих и Нестеренко, никого поблизости не было. — Утром ехал на аэродром, москвичи с авоськами, с гамаками, с детьми едут на да-

чу. Жара. Настроение предпраздничное. А из гостиницы, где я стоял, вдруг с вечера выехали все иностранцы. В вестибюле ступить было некуда, весь пол заставлен чемоданами. Иностранные такие чемоданы с наклейками. Сидят на них, как беженцы на корабле, волнуются, ждут машин. Все выехали. Только немцы остались...

Он вдруг покраснел. И оттого, что все видели это, скрыть было невозможно, он остановился со злым, мрачным лицом.

— Ни черта понять не могу! Три дня назад выхожу из номера... Вечером. Вдруг оттесняют. Какой-то переполох в коридоре. Коридорные, официанты, какие-то еще люди стоят у лестницы, как почетный караул. А по лестнице подымается немец. В штатском. По выправке — военный. Прошел сквозь этот почтительный строй с зубочисткой в зубах. Тогда уж пустили нас.

Но то главное, отчего он покраснел, что жгло его и сейчас, этого он не рассказал. В тот самый вечер, когда подымался по лестнице немец и всех поспешно оттеснили, очищая проход, Бровальский ужинал с дамой в ресторане. Их столик был близко к дверям, и в ресторан вошли два немца. Летчики. Они огляделись и направились к их столику, где были свободные места. И один из них уже галантно улыбался даме и отраженно Бровальскому, прежде чем спросить разрешения сесть. Ничего приятного, кроме испорченного вечера, который по вполне понятным причинам ему хотелось провести вдвоем, немцы эти с собой не несли, и тем не менее, когда один из них улыбнулся, Бровальский и на своем лице почувствовал готовность к улыбке: они были здесь гости и по новому договору — друзья, а он — хозяин, в некотором смысле — представитель страны. И вот этой улыбке и готовности встать и предложить им стулья он до сих пор простить себе не мог. Немцы вдруг остановились, и тот, что улыбался только что, сказал достаточно громко по-немецки:

— Стой, Курт! Тут сидит еврей. Пойдем отсюда.

И они прошли в глубину зала. Бровальский до крови прокусил себе губу, чтобы не подойти и не дать по морде. Будь это несколько лет назад, он бы не задумался. Но за эти годы привычка соразмерять свои действия с чьим-то незримым регламентирующим мнением, которое пусть даже и не высказано к данному случаю, а все равно существует как некий незримый эталон, эта привычка видеть вещи не своими глазами уже вошла

в кровь. Он, полковой комиссар, бьет в ресторане летчика дружественной державы... И он сидел, облитый позором, мужчина, не трус, физически сильный человек, полковой комиссар Красной Армии. Они, фашисты, в чужой стране вели себя как дома, а он, у себя дома, должен был учитывать нежелательные последствия. Он видел, как официант стоит перед ними в почтительной позе, как потом оба они, откинувшись, сквозь дым сигарет смотрят на женщин в ресторане оценивающими взглядами, переговариваясь между собой...

В эту ночь он, может быть, впервые так думал о запретном. Он не был наивен. Он знал, что там, где творится высокая политика, там нет места чувствам, там действует разум, и где-то приходится отступать и идти на компромиссы во имя достижения дальних целей. Совесть, мораль — для дипломата они не могут существовать в том виде, как для обычных смертных. Но сегодня он на себе испытал результат. В своей стране получил оскорбление от фашиста и не мог на него ответить. И впервые в эту ночь Бровальский подумал о том, достаточно ли четкой осталась грань, где кончается тактика и начинаются принципы. Как бы ни был этот договор нужен, быть может даже необходим, он еще повлечет за собой многие непредвиденные последствия, которые легко вызвать и трудно устранить.

Но даже со Щербатовым Бровальский не мог сейчас об этом говорить. Во всем случившемся было что-то постыдное для него лично. Он получил пощечину там, где должен был ее дать. И это жгло.

А Сорокин с ужасом видел, что они говорят о чем-то неглавном, несущественном, когда с минуты на минуту может случиться непоправимое. И движимый единственным стремлением спасти Щербатова, пока не поздно, помочь, он сказал умоляющим голосом:

— Иван Васильевич, я может быть, недостаточно ясно выразил... Сюда едут член Военного совета армии и прокурор. С минуты на минуту...

Щербатов снизу посмотрел на него, сказал мягко, потому что он понимал:

— Езжайте в штаб. В такое время штаб не должен оставаться без начальника штаба. И проверьте, подготовлена ли связь и все необходимое на запасном КП.

Какое-то время Сорокин еще стоял. В нем все боролось, но только вздернутые плечи и шевелящиеся пальцы рук говорили о его желании и беспомощности. Ско-

ванный дисциплиной, он чувствовал себя человеком, присутствующим при самоубийстве, видящим все и лишеным средств помочь.

Когда он уехал, Бровальский подошел к Щербатову, сел около него на траву. Так они сидели и курили. Потом Бровальский, глядя снизу в глаза, положил ему руку на колено, дружески и твердо. И Щербатов понял: что бы ни случилось, комиссар будет рядом.

В штаб они вернулись, когда было темно, и почти сейчас же Щербатова вызвали к аппарату. Он взял трубку.

— Щербатов?

Говорил Лапшин, и все понимали, что будет сказано сейчас. Стоя с трубкой в руке, Щербатов зачем-то поднял валявшуюся крышку чернильницы, поставил ее на место. Мысль его была не здесь, а руки сами по привычке делали свое. Бровальский и Сорокин смотрели на него. Он стоял у аппарата и со стороны казался таким спокойным, что становилось страшно на него смотреть. В тишине заглянул в дверь дежурный и поспешно скрылся. Но Щербатов ничего этого не видел. Он слышал только дыхание на том конце провода и ждал. Он был готов ко всему. Но только не к тому, что услышал в следующий момент:

— Щербатов! Немедленно поднять дивизии по тревоге. Боеприпасы иметь при войсках. Но помни, не исключена провокация. Может создаться сложная обстановка. На руки личному составу боеприпасы до особого распоряжения не выдавать!

Бровальский, не отрываясь смотревший на него, увидел, как Щербатов вдруг резко побледнел. Положив трубку, он медленно снимал с головы фуражку, сам не замечая, что делает. Свершилось! Не было мыслей о себе, было только сознание огромной обрушившейся беды. Он сел, и никто не решался ни о чем спрашивать его.

— Ну вот,— сказал он и взглянул на Бровальского.— Чего ждали — дождались. Приказано поднять войска по тревоге.

В эту ночь, отдав все распоряжения, он на короткое время заехал к себе домой. Он жил один, по-походному сурово. Топчан, покрытый ковром, письменный стол с лампой, приемником и несколько полок книг. Умея отказывать себе во многом, книги Щербатов покупал всякий раз, когда видел их, читал ночами, придвинув тумбочку с настольной лампой к топчану, читал, курил

и думал, прихлебывая из стакана холодный чай. И постепенно книги скапливались на полках в зависимости от того, как долго он на одном месте жил.

Глядя на них сейчас, Щербатов испытал странное чувство: в сущности, как беззащитна сама по себе человеческая мысль! Сколько раз она уже оказывалась погребенной под обломками, и людям приходилось начинать все сначала, раскапывая остывшие пепелища...

Он трогал книги рукой, брал их, раскрывал и ставил обратно. И тут из одной книги выпало что-то. Щербатов нагнулся. Брошюрка. Он поднял ее. На серой со щепками грубой бумаге — плакатный черный шрифт двадцатых годов. Волнуясь, Щербатов раскрыл ее. Наискось по заглавию — шутливая надпись: «Мужу сестры — от мужа сестры. Читай, Иван, ибо чтение развивает». И длинная роспись, так, что каждую букву можно прочесть: «Ф. Емельянов». Четыре года назад вот эту брошюру они искали с женой, перерывая всю библиотеку. Искали, чтоб уничтожить, и так и не нашли. Волнуясь, Щербатов держал ее сейчас в руках. И многое вспомнил он, глядя на эту надпись. Ему вспомнился последний приезд Емельянова.

Это был уже конец лета тридцать седьмого года, и события к тому времени приняли огромный размах. Как-то раз Щербатов возвращался домой пешком. Обычно стоило нажать кнопку лифта — и ты уже на шестом этаже. Но в этот день лифт испортился, и он шел по лестнице мимо квартир и видел сразу все то, что происходило постепенно. Он помнил людей, живших еще недавно за этими дверями, их лица, голоса. Лестница густонаселенного дома всегда была полна запахов, особенно в праздники: пеклось и жарилось на каждом этаже. Хлопали двери, с визгом, словно за ними гнались, выскакивали дети, лестница звенела их голосами, матери кричали из окон во двор: «Томочка! Витя! Ви-итя! Вот погоди, отец придет!..» Сейчас он видел пломбы на дверях, и шаги его гулко раздавались по каменным ступеням.

На втором этаже в большой квартире, соединенной из двух смежных квартир, жил дивизионный комиссар, человек сумрачный — дети во дворе почему-то его боялись. В гражданскую войну он был ранен шрапнелью, когда в пешем строю вел полк в атаку. Нога срослась

плохо, рана болела, и, наверное, от этого он всегда был мрачен. Его взяли одним из первых в доме.

Напротив жил военный инженер с женой. Оба молодые, красивые, рослые, на редкость подходившие друг к другу. Она была в положении, ждали сына, и было хорошо смотреть, как вечерами, гуляя, он осторожно вел ее под руку. Она говорила: «Господи! В такое время я — беременна!» Его тоже взяли, почти одновременно с дивизионным комиссаром.

А третья дверь была не опечатана. Здесь жил известный неудачник, человек, которому всю жизнь не везло, о чем жена его постоянно оповещала весь двор, жалуясь, какая она несчастная, что вышла за него замуж, и какая она дура, что родила ему четверых детей мучиться. В тридцать четвертом году, в компании он сказал: «Вы представляете, что будет, если товарищ Сталин умрет!..» Он не думал ничего плохого, он только хотел выразить свой ужас, если бы такое вдруг случилось, и хотел, чтоб люди этот его ужас и преданность его видели. Его исключили из партии, он долго нигде не мог устроиться на работу. Потом устроился мелким служащим в контору и тихо работал в ней по сей день.

Щербатов поднялся к себе на шестой этаж по гулкой каменной лестнице. С дверей напротив его квартиры уже сняли пломбу. Туда недавно вселился новый жилец. Возвращаясь поздно, он по утрам делал гимнастику на лестничной площадке. В нижней чистой рубашке, в тапочках на босу ногу, в галифе со спущенными с плеч подтяжками он приседал, разводя руки перед грудью. Раз! Раз! Натягивалось галифе на коленях. Вдох через нос. Выдох.

— Здравствуйте, полковник! — приветствовал он Щербатова. От его разогретого тела шел жар. — Ремонт у меня, — улыбался он многозначительно и кивал в направлении своей двери. — Не возражаете, что я здесь?

Он был дружелюбен и всячески ненавязчиво показывал свое расположение к соседу.

Щербатов поднял руку, позвонил. И ждал в тишине. Потом услышал быстрые, радостные, летящие к нему по коридору шаги жены. В передней он снял шинель, повесил на вешалку, а она стояла рядом. Он не был в бою, не вернулся из дальнего похода — просто со службы пришел домой. Но люди уже научились ценить обычные вещи. Он молча погладил ее по голове и поцеловал в волосы. За то, что она ждала его.

В этот вечер случилась неожиданная радость: приехал его старый друг Федор Емельянов. Находились они в отдаленном родстве — женаты были на двоюродных сестрах, — но Емельянов был в больших чинах, и потому Щербатов никогда о своих родственных связях не напоминал, сам к нему почти не ездил, разве что в дни рождений, когда неудобно было не ехать. Стоя высоко, Емельянов был человеком осведомленным, и потому Щербатов сейчас особенно обрадовался ему. Тот приехал по-семейному, с женой, веселый, достал из карманов шинели две бутылки коньяка: «Держи! Из своих винных погребов!», и у Щербатова шевельнулась надежда: может, перемены? Аня радостно суетилась на кухне: теперь не часто вот так просто ездили люди друг к другу. А тут еще такой гость! Емельянова она любила. Могучего сложения, рослый, с трезвым, ясным умом, он был из тех людей, которые во множестве всегда есть в народе, но становятся видны только в крутые, поворотные моменты истории. В такие поворотные моменты они приходят хозяйски умелые, уверенные, знающие, что им делать, не спрашивая, сами подставляют широкое плечо под тот угол, где тяжелей. Таких во множестве подняла революция, поставив на виду.

Емельянов и жил запоем, и работал запоем: Оказываясь дома после долгой разлуки, баловал жену, по-мужски баловал сыновей. Они чистили, смазывали ружья, набивали патроны — готовились на охоту: младший Емельянов, средний уже школьник и старший. И разговоры в доме велись мужские: о приемах дзюдо, о боксе, о стрельбе. А в воскресенье — мать еще спала — все трое бесшумно уходили на лыжах. Возвращались к завтраку. Средний — своим ходом, младший Емельянов вместе с лыжами — на горбу у старшего. От всех троих сквозь шерстяные свитера валил пар.

Широкий во всем, Емельянов отличался одной необъяснимой слабостью, над которой много потешались его друзья: никому никогда книг из своей библиотеки не давал. Он был абсолютно убежден, что всякий нормальный человек, к которому попала в руки хорошая книга, добровольно ее не отдаст. Ему не пришлось учиться в молодости, и он наверстывал взрослым человеком, читая ночи напролет, пристрастив к этому и Щербатова.

Вот он и приехал в тот вечер по-семейному с женой, с двумя бутылками коньяка в карманах, веселый, как

бывало. Но скоро Щербатов увидел за столом, что веселье его не очень веселое. Несколько раз жена Емельянова со страхом указывала на него глазами, он ее взгляда как будто не замечал. Усадив рядом с собой Андриюшку, пугал его вопросами, сбивал с толку и хохотал, довольный. Но вдруг сказал, оборвав смех:

— А ну покажи библиотеку!

Щербатов понял: хочет поговорить. В кабинете они закурили, сидя друг против друга.

— Новостей ждешь? — спросил Емельянов в упор. — Новостей сейчас ждут больше, чем правды. — Он усмехнулся. — Вот так и сидим по углам, ждем: «Может, меня минует...» Мы как учим солдата? В бою под огнем не лежать! Вперед! И другие за тобой! Да, в бою просто. Там смелому если и смерть, так слава. А здесь — позор! Ну-ка выйди, скажи громко... Так завтра, кто знал тебя, имени твоего будут бояться.

Сломал папиросу, вдавив в пепельницу, заходил по кабинету, хрустя пальцами за спиной.

— И ты, коммунист, исчезнешь бесследно, как враг своего народа. И люди поверят, что ты — враг. Вот что страшно.

Он стоял у окна, смотрел сквозь стекла во двор. Тяжелые плечи опущены, руки заложил за спину. Сквозь коротко подстриженные волосы на затылке блестит чистая загорелая кожа. А Щербатов слушал его и томился от мысли, что они вот так разговаривают, а отдушина отопления открыта. Он знал, какие тонкие стены. Он не мог не думать так: это уже вошло в кровь. И сознавая весь стыд этого, он все же не мог не мучиться.

— Страшные жертвы, — сказал Щербатов. — Безвинные — все так. Но если подумать, сколько врагов, каким окружением сжата страна... Да даже не в этом дело. Я только думаю, если суждено нам во имя идеи пожертвовать собой, так даже это не страшно.

И вдруг понял: он говорит это не Емельянову, не себе даже, он говорит так потому, что их могут слышать. И похолодел от мысли, что Емельянов мог это понять. Ведь он сейчас, в сущности, предавал его. И тем страшней было это предательство, что оно негласное, незаметное, не вынужденное обстоятельствами. Ведь он же в бою, не задумываясь, заслонил бы Емельянова собой. Так как же случилось, что он предает его перед тем незримым, что поселилось в душе? Но Емельянов не по-

нял. Этого он думать не мог. Обернувшись от окна, он пристально посмотрел на Щербатова, погрозил пальцем:

— Не ври! Этой надежды нам не дано. Идея давно уже не в жертвах нуждается, защиты просит. Человечество не сегодня на свет родилось, оно многое видело, о многом успело подумать.

Он подошел к книжной полке, указал через стекло:

— Вон у тебя Анатолий Франс. Сегодня среди ночи взял случайно и читал всю ночь. Есть у него речь в девятьсот пятом году: «За русский народ». И там он говорит о деле Дрейфуса. Сейчас даже читать странно. Казалось бы, из-за чего шум? Не тысячи на каторгу идут, всего один человек... Вот обожди, я найду сейчас. Это место... Слова даже непривычные какие-то: «Невинный страдалец»... Мы уж отвыкли от таких слов... Вот!— Он нашел по оглавлению, раскрыл том.— Слушай. Это он молодежи говорит:

«Защищая невинного страдальца против всех сил власти и общественного мнения, мы научили вас не подчинять их доводам доводы своего разума. Мы научили вас не подавлять в себе голоса совести. Мы научили вас не сгибаться перед могущественным преступлением. Мы научили вас провозглашать истину так, чтобы голос ее звучал сильнее бряцания сабель и рева толны. Мы научили вас, как должны поступать мужественные люди, когда судьи безмолвствуют, а министры лгут...» Вот!

Емельянов некоторое время издали смотрел ему в лицо.

— Страшно, что мы сами помогли укрепить слепую веру в него и теперь перед этой верой бессильны. Святая правда выглядит страшной ложью, если она не соответствует сегодняшним представлениям людей. Ты можешь представить, что было бы, если б нашелся сейчас человек, который по радио, например, сказал бы на всю страну о том, что творится, о Сталине? Знаешь, что было бы? С этой минуты даже тот, кто колеблется, поверил бы. И уже любая жестокость оправдана. То-то и беда, что последствия огромных событий сказываются не сразу, через годы и страдания доходят до людей.

И тут на площадке стукнула дверь лифта. И оба, замолчав, некоторое время вслушивались, пока не затихли шаги. Емельянов первый усмехнулся: над ним и над собой.

— Вот тебе и все,— сказал он и, поставив книгу на место, закрыл шкаф.— Вдуматься — сам начинаешь не

верить себе. Мы, два коммуниста, и, чего уж там говорить, дороже советской власти ничего для нас нет, а не то что слов — мыслей своих боимся... Слышал новый анекдот? Вечер. Сидит семья дома. Вдруг, — он показал в сторону хлопнувшего лифта, — звонок в дверь. Поглядели друг на друга: кому идти? Самый старший — дедушка. Пошел он открывать. Долго идет по коридору. Вдруг бежит обратно радостный, ноги за ним не поспевают: «Не волнуйтесь! Это — пожар!»

Они только улыбнулись. Смеяться как-то не хотелось.

Уже уходя и взявшись за ручку двери, Емельянов чего-то помедлил и впервые за весь вечер мягко, грустно и дружески посмотрел на Щербатова. Долго так, словно прощаясь. Потом глаза его снова посуровели и он сказал:

— Будет война, но поражение мы терпим уже сейчас. И будут погибшие безымянные герои, которых могло не быть.

Он ушел, оставив в доме тяжелое предчувствие беды. Это предчувствие томило Щербатова даже ночью, во сне. И когда жена вошла будить, он, словно не спал вовсе, сел быстро и тихо. Было еще темно, только начинали сереть окна в стенах. Он увидел белое лицо ее и — шелестящий в темноте шепот:

— Федя застрелился...

Все опустилось в нем куда-то вниз до тошнотного чувства в животе. В темноте, дрожащей рукой, на ощупь, нашел папиросы, закурил. Кто-то всхлипывал в коридоре, но это ни болью, ни сочувствием не отзывалось в нем. Он сидел оглушенный, тупо уставясь в пол. Емельянов решил. И прав он, не прав ли — теперь уж прав. Ни совесть, ничто больше не мучит его.

Последующие дни были оглушены опустившейся на всех тяжестью. Даже страха не было. В служебном кабинете и в доме Емельянова той же ночью произвели обыск, придирчиво рылись в его бумагах, самоубийцу увезли, словно арестовав посмертно, и хоронили негласно. Входя к нему в дом, Щербатов ясно чувствовал, как переступает через нечто отделившее эту семью от всех. Он подолгу сидел с осиротевшими ребятами, рассказывал им всякие истории, больше про войну, а хотелось ему посидеть в кабинете Емельянова, подумать среди его книг. Но кабинет был опечатан. И всего-то одна приклепнута на дверях желтая восковая печать,

но тверда она, как закон. При ней все чувствовали себя поднадзорными, оставленными здесь жить до выяснения обстоятельств. Как потерянные слонялись жена и дети по квартире, опасаясь притрагиваться к вещам, словно все здесь было уже не ихнее, беззвучно говорили в поселившейся тишине, и временами у Щербатова пу-талось, то ли здесь он это видит, то ли у себя.

Он знал: долго это уже не продлится. И как-то перед вечером ему позвонили. Он подошел к телефону:

— Щербатов слушает.

В трубке молчали. Потом — быстрый шепот:

— Дядя Ваня, это я. Толя Емельянов. Я не из дома, я из автомата говорю. Можно мне к вам прийти сейчас?

Щербатов сказал:

— Иди быстро. Мы ждем.

Толи долго не было, и все это время Аня то подходила к окну и смотрела во двор, то открывала дверь и ждала на площадке. Выскакивала на каждый стук лифта. И когда он вошел и она увидела его в передней, маленького, стриженного, всего как будто сгорбленно-го — он неловко снимал пальто, — заплакала над ним, зажимая рукой рот, все сразу поняв.

Он был младше Андрея почти на пять лет. Но жизнь теперь не спрашивала, не смотрела в метрики. За одну ночь детей делала взрослыми. И так получилось, что Андрея, старшего, заперли в детской, а разговаривали втроем. Аня все подкладывала ему в тарелку, и он ел, стеснялся, чего не было в нем прежде, но ел, потому что был голоден. И рассказывал:

— Мама все эти ночи ждала. Проснешься, а она не спит. Все ходит, ходит по дому. Приложит вот так руки к вискам и ходит. Руки у нее холодные были. Она говорила, что ей вспомнить надо что-то. Но как же она могла вспомнить, когда она совсем не спала? Мы ее днем пробовали уложить, а она все равно заснуть не может. Какие-то вещи, носки папины начнет перебирать — и забудет. Сидит с носком в руках. Даже обед забывала готовить. А когда пришли за ней, она не волновалась. Разбудила нас, спокойная такая. Там штатский был один, главный над ними. Мама сказала ему, что хочет умыться. И пошла в ванную. А он разрешил, только дверь оставил приоткрытой и сам в двери стал. Вы не думайте, он не смотрел на маму. Он все квартиру нашу осматривал, окна пробовал, как закрываются. А когда они записывать стали, раскрыл папку, я увидел, там

еще одна папка была, они ее сразу спрятали. Тоненькая такая, желтая, и на ней Борино имя написано: «Емельянов Борис». Мама и Боря не видели, я один увидел, но никому не сказал.

Что-то больно кольнуло Щербатова.

— Что ж ты к нам не прибежал сразу?

Толя опустил глаза в стол:

— Я боялся, что Борю без меня увезут, боялся оставлять его.

Но было и другое, что он не сказал им, словно пожалел их, он, мальчик. И они поняли это.

— А Боря не знал ничего, он все говорил: «Ничего, Толька, вот я на завод поступлю...» Он даже устраиваться ходил, только его почему-то не принимали. Мы с ним убрали весь дом, он заботливый такой был эти дни, сам завтраки клал мне в портфель. И из школы ждал меня, а вечером все уроки со мной делал. Они позавчера за ним пришли. Ночью тоже. Я сразу проснулся, как позвонили. А Боря спал, он же не знал ничего. Они с парадного хода пришли, а у нас еще из кухни ход есть. Я Борю разбудил, говорю ему: «Ты беги через черный ход, это — за тобой. Я долго буду открывать дверь». Я это еще давно подумал. Он сразу хотел бежать, стал быстро одеваться, а потом почему-то сел на диван и говорит: «Открывай...» И так его начало всего трясти, мне прямо страшно стало, он ботинки сам не мог надеть. Я когда открыл, они злые были, что мы долго не открывали, меня оттолкнули, к Боре сразу кинулись. Знаете, у нас кушетка такая жесткая, он на ней всегда спал, и боксерские перчатки его над ней висели. Вот он там сидел. А когда его уводили, он заплакал. Наверное, потому, что я один оставался. Он же не знал, что меня тоже увезут. Меня сразу после него в детприемник увезли. Там много таких детей. И все время еще привозят. Дядя Ваня, я сейчас оттуда прибежал. Только мне долго нельзя. Меня искать будут. Потому что у меня отпечатки пальцев сняли. Там у всех берут. И сфотографировали. Вот так прямо, с фанеркой в руках. И вот так, — он повернулся в профиль, и только теперь поняли они, почему он свежестрижен наголо. — Тетя Аня, вы не плачьте. Вы не думайте, там кормят три раза. А малышам — у них отдельная группа до семи лет, — им там весело. Они не понимают ничего, качаются на качелях.

Он замолчал и опять, как тогда, сгорбился и сидел перед ними, остриженный под машинку, словно мало-

летний преступник, почему-то с чернильным пятном на голове.

— Дядя Ваня, — сказал он и поднял на него глаза. И такое жалкое, слабое, такая мольба была в них, что свет их обжег. — Возьмите меня к себе. Кормите одной картошкой раз в день, только возьмите оттуда. Я скоро работать пойду. Я рисовать умею.

— Что ты, что ты! — Щербатов вскочил, отмахиваясь не от слов его, а от того, что было в душе во время разговора, потому что он давно все понял и ждал. — Что ты! Возьмем, конечно!

И тогда Аня, не сдерживаясь больше, бросилась к нему, как мать прижала к груди его стриженую голову, обливая ее слезами:

— Да мы не отпустим тебя никуда!

Но Толя высвободился из ее рук.

— Нет, это нельзя. Вы просто не знаете, — он говорил с ней так, словно был старше и опытней. — Там порядок такой... Вы мне лучше дайте сейчас на трамвай, а то я и так долго. А утром вы придите за мной. Дядя Ваня, вы не думайте, это разрешают. У нас вчера за одним мальчиком родные пришли. Надо только сказать, что вы хотите меня взять к себе. И еще справки надо принести: с работы и о жилплощади, что санитарные условия позволяют. А то так не отдадут.

Вдвоем они проводили его на трамвай. И на остановке он еще раз попросил, как будто понимая все, что они должны чувствовать:

— Только вы утром сразу придите. А справки принесете потом. А то нас долго не держат там, могут отправить.

Но до утра была еще ночь. То, что говорилось сейчас в порыве чувств, завтра предстояло сделать обдуманно, сознавая все, что с этой минуты берешь и навлекаешь на себя. Утром нужно было пойти, взять все справки, сказав, куда, зачем и о чем.

Сколько прошло с того дня, как они разговаривали? Вот здесь у окна стоял Емельянов, заложив руки за спину, и смотрел вниз, где у подъезда под фонарем блестела его машина. Теперь Щербатов понимал, о чем он думал тогда. Теперь все его слова и сам приезд в тот вечер окрашивались иным светом, как всегда, когда человека уже нет. Смерть его давала всему свой смысл. Неужели только неделя прошла с того дня? И уже нет семьи, и прибежал к ним Толя, единственный уцелев-

ний из всех, потому что был еще мал. Но в нем, десятилетнем человеке, Щербатов чувствовал жизнеспособность и силу, которые не дадут ему пропасть. Будет ли эта сила в Андрее? Не сговариваясь, они оберегали его от всего. Но перед жизнью Андрей оставался беззащитным, и они знали это.

Вот и подступило вплотную к Щербатову то, что до сих пор обходило его стороной. Поймут ли когда-нибудь люди, что в иные моменты легче быть героем, чем остаться просто порядочным человеком? Из тех, что сгинули в эти годы бесследно, сколько бы с радостью, как великое избавление, как счастье, приняли бы на себя во имя родины любой, и тяжкий, и смертный, труд! И их именами после гордились бы. Но суждено им было иное.

Щербатов долго отступал, многим поступился. Этот рубеж был последним. И на последнем своем рубеже он был духом тверд. Одного он не мог только: защитить от неминуемого свою семью. Всю эту ночь они с Аней не спали, а едва только зазвонили первые трамваи, они оделись, вышли из подъезда и через весь город отправились в детприемник, где ждал их Толя Емельянов. Так стало у них двое сыновей. Что бы ни ждало впереди, Щербатову казалось, он готов ко всему. Но его ждали совсем другие испытания. Ему еще должна была выпасть удача, ему предстоял успех.

Случайно на маневрах Щербатов встретил старого товарища, с которым служба давно развела его. Он как-то не думал о нем последнее время. Был просто уверен, что его давно уже нет: тот был замечен и стоял на виду. И вдруг Сергачев приехал на маневры в роли инспектирующего, и они встретились. И обрадовались, заново воскресив друг друга. Сергачев недавно получил крупное назначение, ему нужны были люди, а за Щербатовым ничего компрометирующего не числилось. Правда, был у Щербатова выговор за политическую близорукость. Но такой выговор, хотя и не являлся поощрением ни в коей мере, все же означал, что владелец его определенной стадии проверки прошел сравнительно благополучно и мог надеяться. Иными словами, сам он ни к чему причастен не был, а только не сумел вовремя разглядеть врагов, орудовавших близко от него. Но, боже мой, кто же не оказался в эти годы близорук! И Сергачев сказал уверенно:

— Выговор снимем! Походишь сколько положено, и — снимем.

Давно уже с ним никто так уверенно не говорил. Словно человек этот прибыл из другого мира, где люди прочно стоят на земле, где каждый знает себе цену. И в этот мир Щербатову предстояло теперь вступить равным среди равных.

Они расстались, уговорившись, что в самое короткое время Щербатова затребует Москва.

Он и верил, и боялся преждевременно спугнуть свою, так неожиданно замерцавшую, счастливую звезду. Но одно ощутил он ясно: он как бы поднялся и стал вдруг недосыгаем для тех, в чьих руках до сих пор полагал свою судьбу, все свое незащищенное будущее. Теперь он был не в их ведении. Это сразу почувствовали все. Он неожиданно перешел в круг людей проверенных, стоящих как бы вне подозрений. Это было не просто повышение, сослуживцы почувствовали силу, стоящую за ним, но видели ее в нем самом и смотрели на него новыми глазами, как бы теперь только в полной мере разглядев. И под их взглядами Щербатов ощутил, как давно уже не испытанная уверенность вливается в него.

Он долго смотрел на жизнь глазами человека, которому логикой событий предстояло уйти из нее. Сейчас он оставался жить. И масса фактов, которых он прежде не замечал, открылась ему. Да, многое меняется к лучшему. Передавали шепотом, что до Сталина дошли все же некоторые сведения, и он запросил: что же происходит? И когда ему доложили, сколько посажено, Сталин рассердился и сказал: «Хватит!» После Щербатов с великим стыдом вспоминал, как он слушал это и радовался, и сам передавал... Но в тот момент он увидел в этом факте только одно: наступила пора смягчения. Еще недавно печаталась карикатура: черная, железная, вся в шипах рукавица, и в ней зажат жалкого вида человечиска с выдавленным из него длинным языком. Это были «ежовые рукавицы». И вот Ежова не стало. И это тоже, должно быть, к лучшему.

Тот подъем, который Щербатов ощущал в себе, он чувствовал сейчас во многих людях. Страна строила, встречала полярников, славила своих героев. День начинался бодрой музыкой. Гремели марши, песни Дунаевского сами вливались в кровь. Под них легче дышалось, веселей было ступать по земле. И строила страна

небывальными темпами. Цифры поражали, если сравнивать, что было, с тем, что есть. Две сотни танков и бронемашин насчитывалось в Красной Армии к началу тридцатых годов, да и они годились больше для парада. Страна не выпускала ни тракторов, ни самолетов, ни автомобилей. Вся эта промышленность была создана, и тысячи танков, тысячи самолетов получила Красная Армия. Это же факт. Уже Европа осталась позади по общему объему производства, впереди маячила одна лишь Америка.

Глазами военного человека Щербатов видел происходившие изменения и оценивал их. В глубоком тылу — на Волге, в предгорьях Урала, в степях Западной Сибири — создавалась новая мощная база металлургии, энергетики: второй Баку, второй Донбасс. Война грозила с Запада, и вот в самой глубине страны, недостижимой для авиации, закладывался новый фундамент боеспособности армии. А вскоре через всю страну Щербатов ехал на Дальний Восток к новому месту службы. Здесь отгремели последние залпы гражданской войны, здесь заканчивалась его боевая юность. И вот он снова ехал туда. И снова был молод, чувствовал подъем сил, хотелось ему трудного, настоящего дела. Как он истосковался по нему!

Соседями его по купе были три полковника, все милые люди, тоже, как и он, получившие новые назначения. Они ехали к месту службы, после туда должны были прибыть семьи, а сейчас они чувствовали себя холостяками, получившими неожиданную свободу. И во всем вагоне, где по коридору, по мягким ковровым дорожкам прогуливались пассажиры, покачиваясь в такт рессорам, останавливались у окон покурить перед мелькающими за стеклом телеграфными столбами и медленно поворачивающимися бесконечными пространствами, а матери вели умыть нарядных детей, опекая их по дороге и гордясь, — во всем этом вагоне вместе с запахами еды, одеколona и дорогих папирос стоял дух довольства, вежливости и благополучия. Но особенно весело было в их купе. За окном — мороз, снежные поля, а сквозь обтаявшие мокрые стекла светило и искрилось горячее солнце. И огромные южные груши на столе, будто ржавые на белой салфетке, и виноград из вагона-ресторана, холодный, весь еще в опилках. А под стол они, четыре полковника, словно школьники, прятали пустые бутылки. И на станциях кто-ни-

будь выбегал и возвращался, впрыгнув уже на ходу. Тогда отодвигались груши и виноград и ставилась посреди стола горячая картошка, которую только что в чугуне, укутанном в ватник, обеими варежками прижимала к груди заиндевелая баба, ставились морозные, прямо из рассола огурцы, хрустящие ледком... А потом другой кто-то хватался за шапку и выскакивал на станцию, чтобы не остаться в долгу.

Были ли дни сомнений? Он пережил и видел, как в их доме одно за другим гасли окна и дом пустел, а потом вновь начал заселяться. И уже другие люди, свежесвыбранные и позавтракавшие, по утрам выходили из подъездов, садились в те самые персональные машины, сиденья которых еще не успели остыть от их предшественников, и ехали в те же, недавно опроставшиеся должности. И во всем их облике была поражающая неизблемость. Словно с ними не могло случиться то, что случилось с их предшественниками, а пульс жизни, бывший до сих пор учащенно, неровно, теперь, при них, обретает свой нормальный ритм. И не видели, что они — перекладные, которых еще много будет сменено в пути.

Поезд дальнего следования в потоке жизни нес Щербатова через страну, укачивая все тревоги на своих мягких рессорах, в тепле и чистоте, и то самое ощущение прочности бытия, которое поражало в других, по каждой жилочке вливалось ему в кровь, наполняя уверенность.

На маленькой сибирской станции посреди тайги он выскочил купить что-либо. Одна-единственная баба, прячась за вагонами, продавала курицу. Пока он рассчитывался, баба, закутанная в три платка, все озиралась быстрыми глазами, не идет ли милиционер, и это казалось почему-то смешно. Хлопьями отвесно падал снег, по ту сторону путей к приходу поезда играла музыка. Разогретый вином, выскочивший из тепла в одной гимнастерке, не чувствуя мороза, Щербатов обогнул последний вагон и с горячей, капающей бульоном и жиром курицей в руке, которую он держал за ножки, чтоб не обкапать себя, представляя заранее, какое оживление попутчиков вызовет сейчас, побежал по перрону вдоль поезда. Он не сразу понял, что происходит впереди. На столбе репродуктор передавал вальс Штрауса, а перед ним по всему дощатому перрону, на снегу, словно на молитве, стояли на коленях люди в арестантской одежде

и без шапок. Вокруг них возвышалась охрана с винтовками, считая по головам. Щербатов увидел лицо ближнего к нему пожилого арестанта, на которого он чуть не наскочил. Снег падал на его желтый высокий лоб со втянутыми висками, на остриженную и неровно обросшую сединой голову. Подняв худое лицо с большими черными влажными глазами, он слушал музыку, и целый исчезнувший мир был сейчас в этих никого не видящих глазах.

На Щербатова, хрупая валенками по снегу, надвинулся конвоир в дубленом полушубке. Между бараньим мехом воротника и мехом ушанки — молодое, красное, дышащее паром, свирепое на службе лицо.

— Пройдите, товарищ полковник. Не скапливайтесь... Запрещено.

Щербатова оттеснили на край платформы, и радостный зимний день с мягким светом солнца и хлопьями падающим снегом померк. Но много раз после Щербатов вспоминал эту платформу, людей, стоящих на коленях, и с мучительным стыдом видел себя, хорошо поевшего, красного от вина, счастливого, с горячей курицей в руке, набежавшего на них.

Щербатов поставил книгу на полку, втиснул рядом с ней брошюру, которую в свое время искал несколько ночей подряд, перерывая библиотеку. Стоя уже в дверях, оглядел комнату. В эту последнюю предвоенную ночь все вещи в ней стояли так, как они уже останутся в памяти.

Он взял с собой только бумаги и карточку сына со стола. А когда прятал их в планшетку, в дверь позвонили. Это Бровальский заехал за ним. Щербатов закрыл квартиру на ключ, посмотрел на него, держа на ладони, и, так и не решив, что с ним делать, сунул в карман.

Уже рассветало, когда они ехали по городу. Город спал крепким на заре сном. И взрослые люди, и дети, пригревшиеся в кроватях под утро, досматривая свои последние мирные сны.

В штабе молчали все телефоны, по линиям связи — ожидание и тишина. И все командиры были в сборе. Стоявший в углу лицом к карте начальник разведки корпуса сказал вдруг:

— А у меня сын родился.

— Что? — спросил Сорокин, не поняв.

— У меня сын родился. Прошлой ночью. Вот как раз в пять утра. Мы почему-то ждали дочь.

Бровальский посмотрел в окно, где было уже совершенно светло, и сказал:

— Пожалуй, пора выключить свет.

И подошел к выключателю, а все почему-то посмотрели на него. Дальнейшее произошло настолько одновременно, что в сознании слилось в одно действие. Бровальский поднял руку, дотронулся до выключателя — и во дворе из кирпичной стены гаража взлетел куст огня, словно это он рубильником включил взрыв.

Когда все вскочили на ноги, комната уже изменилась непоправимо. Опрокинутые вещи, выбитые взрывной волной стекла, запах тола. А за окном, повиснув на проводах, качался срубленный телеграфный столб.

Взрывы уже раздавались в городе, низко над домами свистело и выло, а со стороны границы надвигался тяжелый гул: шли самолеты.

— Всем на запасной КП! — крикнул Щербатов, и чувство, что он что-то забыл, заставило его оглянуться вокруг себя.

В углу у карты все так же стоял начальник разведки Петренко, смертельно бледный, и смотрел на него.

— Беги к ним, — сказал Щербатов. — Отведешь в бомбоубежище — вернешься!

Из того, что после видел он на войне, быть может, самыми страшными были эти первые часы в гибнущем городе. Уже возникли пожары и горел на окраине спиртоводочный завод, и среди пожаров и взрывов из рушащихся домов выскакивали раздетые люди, успевшие только проснуться, кидались под защиту стен, и каменные стены рушились, погребая их под собой. Они металась и бежали под прицельным огнем артиллерии и попадали под огонь, а сверху, с неба, падали бомбы. И крики обезумевших матерей, среди бедствия и смерти сзывающих детей своих, вид незащитности взрослых, бессильных даже собою закрыть, спасти детей, — это было самое страшное. Мгновения вмещали вечность, всю жизнь, — и прожитое, и то, о чем уже никто не узнает никогда.

Какая-то женщина в больничном халате, прижимая ребенка к груди, кинулась наперерез его машине. Он увидел одновременно ее и далеко за нею в центре города церковь. Из бока церкви дохнуло вдруг облако дыма, красной кирпичной пыли и известки, и белая, к богу

вознесенная колокольня с куполом, уже горевшим в лучах взошедшего солнца, мягко и беззвучно осела вниз, разрушаясь на глазах.

— Иван Васильевич!

— Люба!— крикнул Щербатов, узнав ее. Это была жена Петренко, почти девочка, кончившая школу год назад, босая, с длинными по спине волосами, с грудным ребенком, которого она еще не умела держать на руках.

— Иван Васильевич, они бросили бомбу на роддом. На всех. Иван Васильевич, что же это? Где Коля?

— Люба!— крикнул Щербатов, стоя в машине и не слыша своего голоса, потому что над ними проходили немецкие самолеты и рев их моторов глушил все.— Беги туда. Вон — бомбоубежище. Я скажу Коле, где вы.

Он сам показал ей рукой, куда бежать, и она послушно побежала. На короткий миг возникла она в темном проеме дверей — в больничном коротком халате, босая, с ребенком впереди себя,— и там взлетел взрыв. На том месте, куда успела она ступить. И не было уже ничего, только дымилась воронка. Единственный след, оставшийся от них на земле,— был след ее босых ног на бусыжнике мостовой, маленькие кровавые следы: она босиком бежала по стеклу.

Зная, что уже ничем нельзя помочь, Щербатов все же шел туда. За ним тенью шел его адъютант. И тут возник новый звук. Стремительный, врезающийся, острый, он неся с неба.

— Товарищ генерал!

Весь напрягаясь под визгом летящих сверху бомб, адъютант стоял перед ним, протягивая чистый платок, и что-то говорил, со страхом указывая ему на лицо. Щербатов строго посмотрел на платок в руке адъютанта. Полуоглушенный взрывом, он плохо слышал, плохо соображал. Он увидел кровь у себя на рукаве и опять оглянулся на дом, к которому только что бежала Люба Петренко.

Улица вдоль была пуста. Все, что только что бежало и металось,— исчезло, распластанное под этим свистящим, в душу нацеленным, острым визгом бомб. Щербатов стоял посреди улицы, глядя ввѣрх. Самолеты кружились над вокзалом, низко проходили над крышами домов, сбрасывали бомбы и снова заходили на круг, планомерно и методично. Они кружились в чистом небе, освещенные снизу восходящим солнцем, и никто по ним не стрелял. Ни один зенитный разрыв не потревожил

их. А там, в районе вокзала, стоял отдельный зенитный дивизион. Щербатов знал это.

Он вскочил на подножку машины, рукой держась за дверцу, крикнул шоферу:

— Давай туда! Скорей!

Когда он примчался к зенитчикам, вокзал уже горел. И горел на путях пассажирский поезд, только что прибывший из Москвы.

Но то, что он увидел рядом с вокзалом, было еще страшней. Он увидел целые, приведенные к бою зенитные орудия и ни одной воронки вблизи них. Расчеты стояли у расчехленных орудий, смотрели в небо и не стреляли.

— Командира дивизиона ко мне!

К нему выскочил майор. Щербатов смотрел на него онемев.

— Ты... ты — живой? И не стреляешь?

Майор только вытягивался перед ним. А над ними в дыму носились немецкие самолеты и бомбили, и гонялись за людьми, хлынувшими от вагонов в поле.

— Товарищ генерал, мне приказ... Мне приказано не стрелять! Не отвечать на провокацию!

Не владея собой, Щербатов потянулся за пистолетом. В этот момент он не думал, не способен был думать о том, что перед ним стоит не виновник, а результат — бледный, изо всех сил тянущийся по стойке «смирно» майор, готовый вот так принять смерть, но уже не способный понимать что-либо.

Когда сбили первый самолет и привели выбросившихся на парашютах летчиков, Щербатов здесь же, на батарее, коротко допросил их. И старший из летчиков, с обгорелыми волосами, в прожженном до тела обмундировании, на вопрос, почему они не бомбили зенитные орудия, сказал, презрительно усмехнувшись в глаза:

— Мы знали, что им дан приказ не стрелять.

А после, уже в окружении, Щербатов своими глазами прочел директиву наркома обороны. В ней среди прочего приказывалось:

«1. Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Впредь до особого распоряжения наземным войскам границу не переходить».

Далеко позади отпылала граница. Только колонны плечных и встречно на восток идущая немецкая техника пересекали теперь ее. И Щербатова поразили эти

слова: «Впредь до особого распоряжения наземным войскам границу не переходить». Неужели еще в тот момент боялись рассердить фашистов, надеялись задобрить их?

Там, в директиве, был и такой пункт:

«Разведывательной и боевой авиации установить места сосредоточения авиации противника и группировку его наземных войск. Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные группировки его наземных войск...»

Но уже не было самолетов, способных выполнить это. Они погибли под бомбами на своих аэродромах, не успев взлететь и раньше, чем был подписан для них этот приказ.

Щербатов прочел эту директиву много дней спустя, потому что 22 июня в 7 часов утра, когда она была отдана, уже не существовало средств связи, чтобы передать ее войскам. Ее случайно нашли в лесу, в бумагах разбомбленного штаба, в зеленом сундучке, на котором, словно закрыв его своим телом, лежал убитый офицер.

ГЛАВА X

В тот час, когда приказано было корпусу стать в оборону и ждать, судьбы многих сотен и тысяч людей были решены. Жизнь их могла бы пойти одним путем, но слово было сказано, решение принято, и с этого момента им предстоял иной путь, иная судьба. Однако сами люди, чьи судьбы непоправимо переменялись в этот час, ничего об этом не знали и еще не чувствовали. И даже те из них, кто видел, как ранним утром командир дивизии Тройников уехал к командиру корпуса, а после возвратился оттуда злой, даже они не видели связи между этой поездкой и своей дальнейшей судьбой. Они были заняты своими заботами, радовались успеху, и летнее утро оставалось для них летним утром, а тишина была просто тишиной, в ней еще не чувствовалось тревоги. И для Гончарова ничего в это утро не переменялось. Закусив в зубах пшеничный колосок, он шел полем к себе на огневые позиции и думал о Наде, о том, как она сказала: «Ой, товарищ старший лейтенант, так напугали, прямо слова сказать не могу». Шел и улыбался.

Было с утра жарко и сухо, и в хлебах, стоявших ему по грудь, в безветрии и духоте, гимнастерка прилипла к спине. С выцветшего желтоватого неба солнце светило сквозь мглицу. Изредка у немцев бухало орудие. Гончаров на слух провожал невидимый полет снаряда, потом из спелого, блестящего соломой поля взлетало грязное облако дыма и земли и долго стояло над хлебами, росло, не колышное ветром. А за ним текла, струилась в прозрачных волнах плоская даль, словно это хлеба бесцветно дымились, вот-вот готовые вспыхнуть под солнцем. Но когда с полдороги Гончаров свернул в березовый лес, сразу будто в другой мир попал. Тут еще только просыпалось утро, сырое и сумеречное. Мелкая за деревьями, пока он шел, выскакивая из-за стволов, слепило в мокрой листве солнце, и вызревшая трава под ним матово дымилась холодной росой. Мелкие семена ее налипали Гончарову на голенища, а позади по распрямляющейся траве тек за сапогами сочный зеленый след.

В кустах, среди которых, моя корни, тек мелкий ручей, Гончаров напился, ополоснул горячее лицо и уже подымался, упершись в землю ладонями, когда заметил в ручье бритву. Кем-то оброненная, она лежала, раскрывшись, на камнях под водой и в преломленном, попавшем на нее луче солнца блестела сквозь воду. Радуюсь неожиданной удаче, Гончаров ступил в ручей — вода сразу же замутилась от поднявшегося со дна черноземного ила, — поднял бритву. Стоя обеими ногами в воде, сквозь кожу сапог чувствуя родниковый холод и напор струи, он рассматривал блестящее на солнце мокрое лезвие, раскрывая и складывая его. Бритва была наша, обронена недавно: она еще не успела заржаветь.

Вдруг Гончаров почувствовал какое-то беспокойство и обернулся. Словно на него смотрели из леса. Но все было спокойно. Над ручьем в сырой тени кустов звенели потревоженные комары. Только подувший ветер донес запах падали. Наверное, где-то поблизости лежала убитая лошадь.

Гончаров перебрел ручей, впереди деревья редели, за ними была поляна, освещенная солнцем, и внезапно за стволами берез он увидел машину. Наша, крытая санитарная машина стояла, воткнувшись радиатором в кусты, один бок ее и стекло кабины с одной стороны блестя на солнце. И он опять, еще сильнее почувствовал смутное беспокойство. Во всем была неподвижность, особенно в этой брошенной машине, начавшей

уже зарастать. Она стояла в высокой траве, нигде вокруг нее не было видно следов, и трава росла выше подножек. Гончаров осторожно обошел ее. Задние дверцы с разомкнутыми половинками красного креста были открыты, между ними на нитях паук раснял паутину. Вся в мельчайшей росной пыли, она сверкала на солнце, а из глубины, из сумрака, с цинкового пола мученической улыбкой скалились белые зубы на распухом черном лице. И тяжкий густой, разящий дух шел из-под прокаленной солнцем металлической крыши так, что Гончаров отступил, задержав дыхание. Он едва не споткнулся о другой труп, лежащий в траве. Это был молодой светловолосый красноармеец. Он лежал ничком, кто-то уже лежащему с близкого расстояния выстрелил ему в спину между лопаток, пригвоздив к земле. Края гимнастерки вокруг раны были обожжены и присохли к спине. Так он и застыл в последнем усилии, пытаясь ползти.

И только тут Гончаров увидел, что по всей поляне лежат убитые. Уже поднялась и сомкнулась трава, но реденькая была она над ними. Гончаров шел от одного к другому, как по следу. Посреди поляны лежал капитан в одном хромовом сапоге, натянутом на сильную напряженную икру. Другая нога, перебитая выше колена, вся в бинтах, как в валенке, была неестественно вывернута в сторону от туловища пяткой вверх, из бинтов торчали осколки сломанной деревянной шины. Его волокли за раненую ногу, и по траве, размотавшись, протянулся бинт, белый в кровавых пятнах. С желтого мертвого лица властно хмурились густые брови, и весь он как бы силился встать.

А рядом — почти мальчик, стриженный под машинку, с белым шрамом на затылке, голый по пояс и босой, всей грудью, руками, лицом приласкался к нагретой солнцем земле, будто спал. Между пальцами его босых ног пробилась трава, придавленный боком кустик земляники криво тянулся вверх, и на нем, рядом с мертвым телом, краснели темные перезревшие ягоды.

Не колышимаая ветром, блестела трава на солнце, круг синего неба смотрел сверху, как в колодец, жужжали пчелы над мокрыми от росы цветами. И Гончаров вдруг услышал особенную тишину над этой поляной, полной солнца и света. Тишину смерти. Слово на миг своими глазами увидел вымерший мир. И так же свети-

ло солнце и тянулась трава к свету. Но пустота и вечный покой были в этом сияющем немом мире.

Орудийный выстрел раскатился за лесом. Гончаров проследил его полет, снова оглядел поляну и тут, на самом ее краю, в кустах увидел еще одного убитого. Он подошел. Это была девушка. Медицинская сестра, наверное сопровождавшая машину. Портупея и гимнастерка на ее груди были разорваны, в траве белели раскинутые голые ноги в сапогах. С запрокинутого в куст лица узкими полосками белков глядели закатившиеся глаза, рот разбит, и из черных запекшихся губ белели эмалью обсохшие на ветру мертвые зубы. А по щеке, заползая в рот, по глазницам сновали рыжие лесные муравьи, и среди них, срываясь и жужжа, карабкалась оса. Вся земля вокруг была истоптана, изрыта каблуками сапог, как копытами, валялись выеденные жестянки из-под немецких мясных консервов. Гончарова вдруг затрясло. С отеками кровью кулаками он стоял над ней, раскачиваясь и стоная. Его душило. Он оглянулся вокруг себя тоскливыми глазами, впервые испытал такое нестерпимое желание бить.

Надо было взять у мертвых документы, надо было что-то сделать. Задерживая дыхание, он нагнулся, растегнул карман гимнастерки. Когда доставал удостоверение, случайно коснулся пальцами ее мертвой, каменнотвердой груди и вздрогнул. А с фотографии на удостоверении глянуло на него оживленное личико в кудряшках, распахнутые навстречу нечаянной радости глаза.

Он пошел обратно к машине, заглянул в кабину, в кузов, под низ. Ему хотелось похоронить хотя бы девушку. Чтобы ничьи глаза больше не видели ее. Он обыскал все вокруг — лопаты не было. Тогда он нарвал две большие охапки травы и завалил ее сверху.

Уже отойдя шагов сто, Гончаров достал портсигар, губами вытянул из него папиросу. Он выкурил ее в несколько затяжек, ничего не почувствовав. Выкурил следом вторую, только тогда немного отпустило в груди.

Когда он вышел на батарею, орудийные расчеты завтракали. Пушки стояли в вырытых ночью окопах, и ближнюю обхаживал наводчик с тряпкой в руке, обтирая росу с толстостенного, не прогретшегося на солнце ствола, масляно блестящего из-под тряпки. Батарейцы сидели тут же на огороде, посреди гряд, вокруг эмалированного таза. В него комом вывалили круто

сваренную, еще горячую пшеничную кашу, и замковый прямо из подойника лил в таз парное, пенящееся молоко, а рядом стояла хозяйка, смотрела на бойцов.

По всем деревням, отбитым ночью у немцев, шла сейчас особенная, возбужденная жизнь. Бойцы, как к себе домой, бегали в деревни, возвращались кто с кринкой молока, кто с хлебом под мышкой. Другим прямо в окопы несли. Еще не на километры даже отодвинулся фронт, но люди, надеждой опережая события, верили, что самое страшное позади, война, пройдя через них, пойдет теперь дальше и дальше от их мест. И в великой благодарности за избавление, с радушием и застенчивостью женщины готовили и несли в окопы, кормили и стирали, словно бы все это — и окопы, и деревня — стало теперь одним общим домом. Но среди большого и общего, среди тысяч бойцов у каждой теперь были свои, чем-то как бы родные: те, что окопались ближе к ее огороду. И в батарее Гончарова каждая пушка теперь была чья-то, не безнадзорная.

Хозяйка взяла подойник и пошла через подсолнухи к деревне, командир огневого взвода Старых, по годам едва ли не самый молодой во взводе, увидев комбата и гордясь, что у него все так по-хозяйски, по-семейному, а сам он, как отец в семье, пригласил басом:

— Завтракать с нами, товарищ комбат!

Гончаров сел к тазу, посмотрел на молоко, посмотрел на ложку, которую подали ему. Встал:

— Слейте на руки кто-нибудь.

Тот же замковый, что лил из ведра парное молоко, сбегал с котелком, принес воды. Гончаров долго мыл руки, все что-то не мог с них смыть.

Когда он сел и все сели, он вдруг увидел на отдалении без охраны немца. Немец сидел на земле, а вокруг него стояли деревенские ребяташки, разглядывали его, шепчась между собой. Немец был тупого вида, пыльный, серый, и все на нем было тесное, особенно мундир был тесен в плечах. В косо торчащей вверх пилотке над оттопыренными толстыми ушами, с мясной мокрой от пота складкой на затылке, он расширился книзу — от головы и плеч к заду, которым сидел на рыхлой земле. Жгло сверху солнцем, и немец был весь отсыревший, мокрыми ладонями он суетливо вытирал мокрые блестящие щеки, тесный потемневший воротник мундира впитывал в себя пот. Он обернулся, что-то почувствовав, и из глаз в глаза сквозь разделявшее их незна-

ние языка, на котором каждый из них говорил и думал, Гончаров на короткий миг беспрепятственно заглянул в его смятенные, завивавшие под взглядом мысли, заглянул в чужую душу.

Долго после этого он сидел, слыша в ушах только удары своего сердца, следя за тем, чтобы рука, которой он нес ложку ко рту, не дрожала.

Командир орудия Орлов, черный от загара, коренастый, с монгольского склада широкоскулым лицом, положил в отдельный котелок каши, ложкой отлил туда молока и с котелком направился к немцу.

— Назад! — крикнул Гончаров так, что тот, вздрогнув, остановился. Все испуганно оглянулись на командира батареи, перестав есть. Гончаров сидел белый. В наступившей тишине бойцы, чувствуя себя неловко, старались не смотреть друг на друга.

И тут стало слышно гудение самолетов. С поля — издали казалось, очень низко — шли «юнкеры». Они приближались, и все, на какой-то миг застыв, смотрели на них. словно испугнутые воробьи с грядки, кинулись к деревне мальчишки; отчаянные женские голоса уже скликали их. И от дальнего орудия неслось протяжное:

— Во-оздуж!

«Юнкеры» шли медленно, уверенно, от них невозможно было оторвать глаз.

— Всем — в ровики! — закричал Гончаров.

Самолеты, перестраиваясь, заходили на деревню со стороны солнца, и во всех окопах вслед им поворачивались головы.

— Сейчас дадут! — будто радуясь, говорил кто-то знающий быстрым, захлебывающимся голосом. — Сейчас они нам дадут!

Первый «юнкер» пошел в пики, включив сирену. Гончаров сам не заметил, когда зажмурился, ткнулся лбом в колени. Вой сирены, металлический визг бомбы, уже оторвавшейся, нацеленной, пошедшей — все это неслось к земле. И меньше, меньше наверху оставалось воздуха, острый визг врезался в уши, в сердце, распирая его, и спиной, всем телом, затылком, вобравшимся в плечи, чувствовалось, как она летит... Гончаров пере-силлил себя, открыл глаза. Он увидел вдруг замерший, в последний раз сверкнувший солнцем мир. И с грохотом рванулась земля кверху.

Мимо окопа из черного дыма в дым промчалась корова. Она неслась безумным галопом, по всему ее боку от лопатки вниз блестела кровь.

С новым взрывом кто-то пахнувший потом, горячий, живой свалился сверху. Вздрагивая всем телом, прижимался сильней. Грохнуло. Посыпалась земля сверху. Гончаров высвободился. В поднятой взрывом пыли на него смотрел командир взвода Старых. Пот каплями блестел в морщинах лба, в крупных порах кожи, на верхней губе. Из голубых распахнутых глаз рвалось безумное веселье. И тут за ним, на поле, Гончаров увидел, как с серой земли вскочил серый немец, побежал, пригнувшись.

Сверху шел в пике «юнкерс», блестя на солнце белыми вспышками. И еще раньше, чем Гончаров успел выхватить пистолет, пулеметная очередь косо хлестнула по земле, по брустверу окопа. Весь заламываясь, оседая на подогнувшихся коленях, немец повалился на бок.

ГЛАВА XI

Из машины Щербатов видел, как кружатся вдали, устремляются вниз и снова кружатся над чем-то, словно стая ворон, немецкие бомбардировщики. Но деревня, над которой они кружились, и сами взрывы на таком расстоянии снизу видны не были.

Щербатов сидел впереди, рядом с шофером, а сзади — адъютант и Тройников, сопровождавший командира корпуса, поскольку тот находился на участке его дивизии. За ними, соблюдая интервал, следовала машина Тройникова.

Две легковые защитного цвета «эмки» скатились в лощину, и оттуда не стало уже видно самолетов. Они выскочили из лощины на другой ее стороне и врезались в хлеба, скрывшись в них целиком. Колосья били в ветровое стекло, по дверцам, по крыше, наполняя машину царпаньем и стуком, падали, сбитые на капот, и узкий просвет неба впереди был весь в качающихся усатых, стремительно выраставших и несшихся навстречу колосьях. Вдруг хлеба с левой стороны упали, открылся простор скошенного поля. Впереди рассыпанной цепью на стену хлебов шли косари, за ними — бабы, подставляя согнутые спины солнцу. Издали показалось в пер-

вый момент, что это деревня, как в старину, дружно вышла на покос. Только уж очень на подбор молоды и необычно одеты были мужики — в солдатских сапогах, в военных галифе, в пилотках, в распахнутых гимнастерках, а иные вовсе в нательных рубашках. Неумело, вразнобой, по-городскому замахиваясь косами, они шли передом. А косившие с ними и вязавшие следом бабы были старше их по годам — солдатские жены, быть может, уже вдовы солдатские. Щербатов, быстро обгоняя, проезжал мимо них, они оборачивались, иные не разгибаясь, и радость, молодившая и украшавшая их лица, брала за сердце. Это была радость несбывшегося, того, что должно и могло быть. Но работали они в этот выпавший среди войны мирный день, как, наверное, никогда до войны не работали, словно даже не знали, что так можно работать.

Щербатов остановил машину, и трое ближних к дороге косарей, шедших передом, обернулись на него с занесенными под шаг и в такт косами. Двое были молоды, стрижены под машинку, оба в гимнастерках с ремнями косо через плечо, в пилотках поперек головы. Потные и веселые, они друг перед другом нажимали изо всех сил, как мальчишки наперегонки. Третий, в белой на ярком солнце рубашке, с низко надвинутым на лицо лаковым козырьком и морщинистой, высоко подстриженной коричневой шеей, был в годах, не так силен, но шел играючи, легко и, широко махая косой, настигал их. Они все трое обернулись на подъехавших, и в первый момент в их оживленных лицах было одинаковое от общей работы выражение азарта и как бы превосходства над теми, кто с ними сейчас не косил. Но уже в следующий момент старший, бросив косу и поправляясь на бегу, подбежал к командиру корпуса, с выправкой старого строевика взял под козырек.

— Товарищ генерал! Третий батальон девятьсот шестнадцатого стрелкового полка, — не робея под взглядом командира корпуса, докладывал он, — в перерыве между боями помогает гражданскому населению. Докладывает командир полка подполковник Прищемихин.

И, сделав положенный шаг в сторону, он как бы открыл обзору начальства все поле и солдат, только что работавших, а сейчас стоявших на нем, и баб, глазевших издали с любопытством. Щербатов продолжал смотреть на Прищемихина. То крестьянское, что не так замеча-

лось в нем, одетом в полную форму, при знаках различия и ремнях, отчетливо проступало теперь, когда он под ярким солнцем в белой нательной рубашке и пыльных сапогах стоял в пшенице, загорелый дотемна тем особым загаром, каким загорают только работающие в поле крестьяне и солдаты. Рука его, коричневая с тыльной стороны и светлая на ладони, натертая древком косы, едва заметно дрожала у виска.

— Не слишком ли затянулся у вас тут перерыв между боями, а?

Никак не отвечая на вопрос, поскольку ответ начальство само знает и не для того спрашивает, чтобы советоваться, Прищемихин отдернул руку от виска, стоял по стойке «смирно», не отрываясь смотрел командиру корпуса в глаза.

За долгую службу в армии, а может, просто потому, что характер был у него такой, Прищемихин всюду, где он оказывался старшим по званию, чувствовал себя ответственным за всех и за все, за подчиненных и не подчиненных. Когда ночью его полк взял эту деревню, полную попрятавшихся от боя баб, детишек и стариков, сидевших по погребам и подпольям, и когда все они, натерпевшиеся страха, повывлезали оттуда и он увидел их, с этих пор он уже, не раздумывая, отвечал и за них в полной мере. Для него не существовало вопроса, который с надеждой, как заклинание, задавали все жители подряд: «Теперь вы не уйдете?» Дело военное, а он — солдат. Как тут вперед загадывать? Но что мог он для них сделать, то мог. И, приказав двум батальонам и артиллерии окапываться, сам во главе третьего батальона ранним утром вышел убирать хлеб. Будут ли наступать или отступать, или надолго станет здесь оборона, но пока что бабы эти и детишки будут с хлебом. Тем более, что кроме о них и позаботиться некому. С той стороны, куда проводили они отцов и мужей, своих защитников, с этой самой стороны, не заставив долго ждать, нагрянул фронт. Впереди — немцы на танках, на машинах, за немцами, уже не днем, ночами пробираясь, — свои, пешие. Огородами, задами, поодиночке. И уже не защиты от них было ждать, а самих накормить да с собой дать в дальнюю дорогу.

Прищемихин не спрашивал себя, правильно или неправильно он поступает, а делал то единственное, что по его понятиям надо было делать. Но сейчас, в присутствии командира корпуса он вдруг почувствовал себя ви-

новатым. Еще и потому особенно, что стоял перед ним не по форме одетый, в натальной рубашке.

— Что, война кончилась? Все по домам?

— Виноват, товарищ командующий!

Коричневые кисти рук Прищемихина из белых рукавов рубашки сами тянулись по швам. Он заметно побледнел сквозь загар. Не от страха, а оттого, что это происходило в присутствии его солдат.

Но Щербатов уже ничего не видел. Приступ тяжелого генеральского гнева владел им. И тем сильнее, чем дольше он его сдерживал, носил в себе. Он единственный из всех здесь в полной мере сознавал с каждым часом надвигавшуюся опасность. На всех этих стоявших с косами на поле людей, его бойцов, издали в страхе глазевших на него, мечтая об одном только, чтобы гнев начальства пронесло мимо. Он один знал, что грозило им, но ничего не мог изменить, даже сказать им не имел права. И человек кричал в нем:

— Почему полк не окапывается?! Немцы ждать будут? Вы кто, командир полка или председатель колхоза?

Раскаты его голоса разносились по полю, и те, кого достигали они, делали единственное, что делают в присутствии разгневанного начальства: тянулись по стойке «смирно». Все они и их командир полка Прищемихин были сейчас одно целое, он же с того момента, как стал кричать, превратился в силу, стоящую над ними, которой надо было подчиняться, а не понимать ее.

— В полку безобразия! Распушенность! — выкрикивал он слова и в ослеплении сам верил в них. И то, что за спиной его спокойно стоял Тройников, который имел основания по-своему расценивать все происходящее, приводило Щербатова в совершенную ярость.

Вдруг он увидел, как по всему полю заматались бабы, куда-то бежали, пригибаясь, срывая с голов белые платки. И как только он увидел это, сейчас же услышал сверху приближающийся гул самолетов. Они заходили от леса, гудением своим сотрясая воздух. Передние уже заходили на бомбежку, накрываясь на острых крыльях, а от вершин леса все отрывались и отрывались новые самолеты, казавшиеся издали черточками на узкой полоске неба.

По всему полю, как стон, неся крик: «Во-о-оздух! Ложи-ись!..» И все живое хлынуло врозь, в хлеба, в канавы, стремясь стать незаметным. Голый по пояс, мускулистый парень бежал, на ходу натягивая гим-

настерку. Когда пробежал мимо Щербатова, голова его высунулась из ворота и глянуло молодое лицо. В нем было что-то пристыженное за себя и за всех, кто бежал сейчас, и вместе с тем оно было оживлено, потому что ему, физически здоровому молодому парню, сам по себе бег был радостен.

Поле опустело, как вымерло, томительное ожидание повисло над ним. И тут Щербатов увидел, что офицеры все так же стоят позади него.

— Всем — в рожь! — крикнул он под надвинувшимся гулом; дрожание воздуха уже ощущалось. Никто не сдвинулся с места. И понимая, что они будут стоять, пока он стоит, Щербатов побежал первый, придерживая на груди раскачивающийся бинокль. Но в противоположность тому парню, ему, генералу и немолодому уже человеку, бег не доставлял физического удовольствия, а был только стыд. Он бежал и видел со стороны, как они бегут на виду, на ярком солнце спотыкающейся группкой, и впереди — он с биноклем, страшно медленно, почти неподвижные по сравнению с тем, что уже косо несло на них сверху.

И тут из середины поля, из желтых на солнце шелковистых хлебов дохнул черный смерч взрыва, вместе с землей вырвав с корнем чью-то жизнь. Того, кто так же, как все, только что слушал, сжимался, ждал и, до самого конца надеясь, не верил. Комья земли, рушась сверху, застучали по спинам живых, по колосьям, поваленным взрывной волной.

Щербатова сбило с ног, прежде чем он успел упасть. Лежа, дотянулся до откатившейся фуражки, не успев надеть, зажмурился: рвануло близко из глубины вздрогнувшей земли. Когда открыл глаза, нестерпимо ярким показался свет солнца, желтый блеск колосьев сквозь надвигавшееся сбоку косое и черное. И снова визг, удар сверху. Дрогнула земля. Короткий блеск живого солнца и удушливая чернота. И прорезающий ее визг.

Но страшней этого, хуже этого было бессилие, безмерное унижение. Он, генерал, командир корпуса, слову которого подвластны десятки тысяч людей, лежал среди них на поле, придавленный к земле, а над ними над всеми, распластанными, сновали в дыму немецкие летчики, недостижимые, хоть камнем кидай в них, пикировали сверху, для устрашения включая сирены.

Обсыпанный глиной, Щербатов в какой-то момент поднялся на руках. По всей трясущейся, вздрагивающей, становящейся на дыбы земле лицами вниз, спинами кверху лежали бойцы. И тут новый, как свист снаряда, звук возник над полем. По самым хлебам, стремительно вырастая и расширяясь, предваряемый этим звенящим свистом, а сам как бы беззвучный, несся в воздухе самолет. «Ду-ду-ду-ду-ду!..» — сквозь звон, сквозь толщу воздуха стучал его пулемет, и весь он, сверкая белыми вспышками на крыльях, раздвигаясь вширь, как бы взмывал над хлебами.

— Огонь! — закричал Щербатов, видя его снизу близко, крупно и указывая рукой. — Из всех винтовок — огонь!..

Но гонимая пропеллером впереди самолета стена звука ударила по ушам, и сразу беззвучным в ней стал человеческий голос.

Когда, отбомбив, «юнкерсы» улетели, отовсюду на поле стали подыматься из хлебов люди. Они говорили громкими голосами, смеялись, перебивая друг друга, размахивали руками. И если бы был трезвый среди них, они сейчас показались бы ему пьяными. Оставшись в живых, они были пьяны жизнью, они чувствовали ее с небывалой остротой и не способны были еще в этот момент думать о мертвых.

К Щербатову, один за другим, подходили командиры с некоторой долей неуверенности. Задним числом каждый пытался взглянуть на себя со стороны и вспомнить, не было ли в его поведении под бомбежкой чего-либо такого, чего сейчас пришлось бы стыдиться. И они с особенным усердием отряхивались, заправлялись, как бы случайно взглянув в глаза товарища, старались прочесть в них про себя. После пережитого унижения всем было неловко. Но еще более неловко было тем, кто во время бомбежки отбежал дальше и теперь на глазах у всех подходил последним. Они чувствовали себя так, словно дали повод заподозрить их в трусости.

Щербатов оглянулся, увидел Прищемихина и нахмурился. Ему тяжело и неприятно сейчас было видеть человека, на которого он кричал. Но Прищемихин оттого, что всё это случилось с командиром корпуса на участке его полка, оттого, что в полку были убитые, теперь в полной мере чувствовал свою вину.

Отдав приказания и по-прежнему обходя глазами командира полка, Щербатов направился к машине,

опасливо выползавшей навстречу к нему из кустов. Он сейчас, если бы и захотел, не смог вспомнить, что заставило его кричать. После бомбежки, как и все, он особенно остро чувствовал жизнь.

Щербатов шел впереди провожавших его командиров, сняв с головы фуражку, сбивал с нее пыль. И что-то молодцеватое было сейчас в его походке, во всей фигуре, в плечах, осыпанных землей, словно сбросил он с них тяготивший груз. Он понимал, что означала эта бомбежка, под которую он попал здесь случайно. Немцы бросили против него то, что быстрее всего можно было подкинуть к месту прорыва: авиацию. Теперь, преследуя каждый его шаг, они будут бомбить до тех пор, пока не подойдут сюда более медленные танки и пехота. Но ожидание кончилось. И уж хоть это было хорошо.

— Ну? — сказал Щербатов, взявшись за дверцу машины и оглядывая Тройникова. — Понял, что эта бомбежка означала? — он кивнул на небо, где пока далеко еще слышен был звук новой волны летевших сюда бомбардировщиков. — Зарывайся в землю. Теперь уж не долго ждать. Один полк и часть артиллерии отведи в резерв. Сейчас возьми, потом взять будет негде.

Щербатов сел на переднее сиденье, захлопнул дверцу. Шофер, искоса сквозь стекло поглядывая на небо, развернул машину, дал полный газ. Две «эмки» от одного места помчались в разные стороны, оставив над дорогой, притихшей под надвигающимся на нее гулом, два медленно тающих пыльных хвоста.

ГЛАВА XII

К ночи по всему горизонту, зажженные немецкими бомбами, горели деревни и хутора. Бойцы, все в копоти и саже, в прожженных гимнастерках сновали из двора во двор, тушили пожары, но опять налетали самолеты и сверху, как в огромные костры, кидали бомбы в горящие деревни. И тут среди всеобщего разрушения, огня и гибели прошел слух, сразу подхваченный, что немцам подают сигналы с земли. И повсюду стали ловить предателей и переодетых шпионов. В одной из деревень поймали учителя. Был он не местный, за три года до войны переехал сюда с семьей, поселился на краю деревни, и кто-то — потом уже нельзя было установить

кто — сам лично видел, как он во время налета светил немецким самолетам, указывая, куда кидать бомбы.

К нему ворвались ночью, полосуя лучами фонариков темноту дома, в первый момент показавшуюся нежилой. Зажгли свет, увидели его, бледного, как преступника, и сразу все поняли. Учителя схватили. Жена, беременная, простоволосая, кинулась отнимать его, хватала бойцов за руки, за гимнастерки, ползла за ними по полу и кричала, кричала, перепуганные дети подняли плач. Только в этот момент здесь можно было еще усомниться, поколебаться как-то. Но чтоб кончить скорей, не слышать ее сверлящий крик, учителя волокли к дверям, толкаясь, мешая друг другу в тесноте, отрывали от себя руки жены, кидая ей вначале, как надежду: «Там разберутся...», а потом уже молча, упорно, ожесточаясь от борьбы, от крика и плача. И если им, чужим людям, тяжело было делать свое дело в присутствии детей и они спешили, то ему сознавать, что дети видят, как их отца схватили и силой волокут куда-то, было нестерпимо. И не думая в этот момент о себе, ради детей, чтоб их защитить от страха, он вырывался, хватаясь за двери и косяки, и слабые усилия его только злили тех, кто его тащил.

— Товарищи, товарищи!.. Дети смотрят!.. Зачем хватать?.. Я сам, пожалуйста... Не надо толкать меня!..

И, схватившись рукой за дверь, не давая оторвать себя, он кричал, выворачивая шею:

— Маша! Ты детей пугаешь! Не надо кричать!

Его оторвали от двери и подняли, но он успел ногой зацепиться за косяк и держался с силой, неожиданной в его слабом теле, одновременно и лицом и голосом стараясь показать, что ничего страшного не происходит, что все хорошо и прилично:

— Маша, успокой детей! Видишь, товарищи разберутся...

И пытался улыбнуться испуганным лицом, как бы прося подтвердить, что они разберутся и ничего страшного не случится с ним. Но разбираться можно было здесь, в доме, а когда его вытолкали на улицу, на красный свет пожара и люди с ожесточенными лицами увидели его на крыльце, пойманного и рвущегося из рук, другие законы вступили в свои права. Толкая в спину, его повели серединой улицы среди огня и треска горящего дерева. Мимо бежали жители, ведя за руку детей, таща на веревках коров, — крики, детский плач, мыча-

ние животных, треск и взрывы горящих бревен, жар, пышущий в лица, запах горящего мяса — во всем этом стоне, вопле общего бедствия потонула одна судьба, один голос, взывавший к справедливости.

Из черноты ночи в свет огня выскакивали навстречу бойцы:

— Поймали?

— А-а, сволочь!..

— Отстреливался, гад!..

Толпа все увеличивалась, напирая и давя между горящими домами, дышала одним жадным дыханием пересохших ртов. И те, кто только что спрашивал, уже рассказывали другим, как очевидцы, где и при каких обстоятельствах был пойман этот человек, подававший сигналы немцам. Его начали бить. Чья-то рука дернула за воротник — пуговицы на горле отскочили. Доставая через спины конвойных, сбили фуражку, и множество сапог и солдатских кованых ботинок, втапывая и торопясь, прошло через нее. Он закрывал голову руками, сгибаясь, жался под защиту конвойных, тех самых людей, которые силой выволокли его из дома, а теперь загораживали его, поскольку на них лежала ответственность. И их тоже били по спинам и шеям, оттого, что не могли достать его.

Многие забегали вперед, чтобы увидеть. Там, в центре толпы, закрываясь от ударов и всякий раз оборачиваясь на них, двигался, влекомый общим движением, согнутый человек. В нем, растерзанном, одетом в пиджачок, единственном штатском среди одинаковых военных гимнастеров, каждый безошибочно узнавал того, кого заранее ждал увидеть: переодетого немецкого шпиона, подававшего сигналы.

Все это множество распаленных людей, дышащих ртов, топчущих землю сапог, все это, слитое воедино, предваряемое криком: «Веду-ут...», катилось по освещенной пожаром улице под черным небом, куда летели искры горящих домов. Они свернули в проулок, свернули еще раз, потом снова оказались на той же улице, возбужденные, с нарастающей решимостью шли теперь по ней в обратном направлении, не замечая этого. Вдруг толпа стала, упершись во что-то. Задние, напирая, подымались на носки, вытягивали шеи. Впереди, освещенная пламенем, стояла легковая машина. Некоторые узнавали ее: это была «эмка» начальника особого отдела корпуса Шалаева.

Еще издали, увидев толпу и поняв сразу, кого ведут, Шалаев вышел из машины и ждал, держась за дверцу, блестящую от красного огня. Сегодня это уже был не первый, нескольких приводили к нему. Иные просили и плакали, пытаясь хватать его за колени, но запомнился последний, особенно яростный. Со связанными за спиной руками, в белой рубашке, он стоял в дверях, на вопросы не отвечал. Отвернув голову с заросшей, небритой скулой, глядел в окно. И вдруг прорвалось в нем: «Спрашиваешь! Может, грозить мне будешь? — крикнул он Шалаеву хриплым от ненависти голосом. — Чем ты мне угрозишь, когда я один... — Он дернул связанные за спиной руки, хотел вырвать их. — Один! С ракетницей ваш полк гнал!..» Он так и крикнул: «ваш полк», а сам был русский. И такая ненависть, такое презрение к Шалаеву, ко всему советскому было в нем, что больше ни о чем его спрашивать не стали.

Шалаев смотрел на приблизившуюся толпу, ждал. Толпа разомкнулась перед ним, и оттуда, вытолкнутый, появился измятый человек в штатском. Как только отпустили его, он быстро встряхнулся, обдернулся самыми обычными человеческими движениями и, увидев перед собой машину и стоявшего рядом с ней начальника, вдруг улыбнулся разбитыми губами. Всю дорогу сюда его сжимали за плечи, гнули, больно выворачивали руку, сзади били по голове, и когда теперь отпустили и он пошевелил плечами, он непроизвольно улыбнулся от радостного чувства физической свободы. И еще он улыбнулся человеку, с которым в его представлении было связано освобождение.

У Шалаева, когда он увидел эту заискивающую улыбку, которой пытались его расположить, кровь прилила к сердцу, оно пропустило удар, так что он задохнулся на мгновение, потом забилося часто. Тяжелым взглядом смотрел он на вытолкнутого к нему человека, тщедушного, испуганного, стиравшего кровь с губы. Сам крепкого сложения, способный много съесть, выпить, физически сильный, Шалаев с недоверием, с неосознанной брезгливостью, как к уродству, относился к людям хилым, болезненным и слабым. И когда при нем говорили, он, хотя сам и не говорил этого, в душе был согласен, что от них, от таких вот, чего угодно можно ждать. Здоровый человек — здоров, и доволен, и весел. А эти, которые умом живут, на всякую вещь умом своим посягают, подвергают сомнению, что им не

положено, — эти точат жизнь, как жук дерево. Он не любил их и не доверял. И если это были его подчиненные, он своего отношения к ним не скрывал и никак не старался облегчить их службу. Не верил он, что они что-то могут понимать и судить о том, о чем он судить не мог. А все их рассуждения для того, чтобы взять себе в жизни что полегче и получше, а самую черную, неблагодарную работу оставить другим людям, таким, как он, Шалаев. Да еще и попытаться стать над ними. От них, от таких вот, и предательство развелось. А его он ненавидел всей душой, ненавидел и искоренял.

Шалаева не ошеломили неудачи первых дней войны, но его до глубины души поразили открывшиеся размеры предательства. Чем же иначе, как не предательством, можно было объяснить разгром и отступление нашей армии, силу которой он знал? Чем объяснить, что мы, столько времени готовясь и будучи такими подготовленными, проявляя строжайшую бдительность и воспитав в духе бдительности народ, оказались застигнутыми врасплох, в первые часы потеряли на аэродромах чуть ли не всю авиацию, причем, как уже только теперь выяснилось, баки многих самолетов не были даже заправлены горючим, а танки по чьему-то приказу перед самой войной стали разбирать и ремонтировать? Никакое другое объяснение ничего не объясняло. И только слова «измена», «предательство», только эти слова сразу объясняли все и находили отклик в душах людей. Тем, что после всей работы, проделанной в стране, после стольких процессов над изменниками родины измена все же проявилась, да еще в таких размерах, — этим с несомненностью подтверждалось то главное, что Шалаев и прежде знал: мало, мало искореняли ее до войны, не успели всех искоренить, остались кое-где невырванные корешочки и вот проросли, повысунули голы на встречу немцам, как поганки после дождя.

— Где взяли? — спросил Шалаев, глядя тяжелым взглядом исподлобья. Он не спросил, кто этот растерзанный, задыхающийся человек, вытолкнутый к нему, почему его схватили и ведут, он спросил только: «Где взяли?» После сегодняшней бомбежки, когда в огне погибло столько людей, детей, было несомненно, как всегда в такие моменты, что есть где-то попрытавшиеся предатели, которые с земли указывали немцам. И ярость людей сама поднялась против них. Каждый пойманный убеждал только, что где-то еще больше

скрывается невыловленных. Шалаев к этой встрече был готов заранее и ждал ее.

- В доме взяли, не успел схорониться!
- Кругом дома сгорели, его целый стоит!
- Не ждал гостей!

Уже никто не помнил, кто первый указал на этого учителя, но в святой ярости, охватившей людей, каждый не сомневался, что это он подавал сигналы немцам. И громче всех кричали не те, кто брал его, а те, кто присоединился по дороге, сам ничего не видел и потому особенно горячился. Только один из всей толпы, сам преступник, не понимал и не мог поверить в то, что для остальных было несомненно. Стоя среди криков и ненависти, он вдруг улыбнулся разбитым ртом, робко и глуповато, не сознавая всей неуместности такой улыбки в его положении. Ему, единственному из всех знавшему себя, казалось, что и этот, подъехавший в машине, наделенный властью человек, которому надлежало разобраться, понимает, не может не понимать всю очевидную нелепость происходящего, и он улыбнулся ему, как бы извиняясь за людей, за все то, что они кричали в ослеплении.

Шалаев, нахмурясь, задышал. У него похолодели опущенные вниз руки, пальцы сами зашевелились на них. Вот это человекоподобие в предателе особенно страшно поразило его сейчас. Зачем-то он поглядел на его ноги, худые, в повисших на них брюках и нечистых ботинках. Тот переступил ботинками по земле.

— Местный? — спросил Шалаев тихо.

— Местный уже. Три года здесь живу! — со всей искренностью, вкладывая в свой ответ больше, чем надежду, сказал учитель, не ощущая, как это приобретает иное звучание для окруживших его людей.

— Дети есть?

— Двое. Мальчик и девочка... Третьего ждем...

Стало вдруг тихо и страшно. В колеблющихся отсветах пламени разгоряченные, потные лица людей блестели, глаза глядели мутно и пьяно. Сильней стал слышен треск горящего дерева, жаждущее дыхание. Казалось, розовый пар подымается над людьми. И все это затряслось, задрожало в глазах Шалаева, и, увидев его глаза, учитель закричал:

— Товарищи, что вы де...

Сильная рука Шалаева схватила его за рубашку у горла, стянула ее так, что пресекалось дыхание. Но

этот оборвавшийся крик страха услышали все. Он ударил по напряженным нервам людей, и общая крупная дрожь сотрясла толпу.

— Ждешь... Ждешь!.. — задыхаясь, говорил Шалаев, не слыша, что говорит, и тряс, тряс, изо всех сил сжимая, скручивая собравшуюся у горла рубашку.

Все плыло, он не видел ясно лица этого человека, из глаз которого текли слезы удушья, но чувствовал в своей руке дрожь его бессильного, сотрясающегося тела и, входя в иступление, до хруста сжимал зубы.

— Ждешь, сволочь продажная!.. Немцев ждешь!..

Внезапная боль прожгла его от колена. Вздрогнув, Шалаев выпустил человека, которого тряс, мутными глазами огляделся вокруг. Там, внизу, стоял укусивший его в ногу мальчишка. Белое обострившееся лицо, распахнутые от ужаса, увеличенные слезами глаза. Отступая под взглядом Шалаева, сам боясь, он кричал отчаянно:

— Не бейте его! Это мой, мой, мой папа! Не бейте его!..

И, загораживая отца, обнимал его ноги, всем телом дрожащим жался к ним.

— Не бейте его!..

Шалаев стоял, нагнув голову, дышал, словно просыпаясь, и просыпались люди вокруг, начиная видеть мир и все происходящее иными глазами.

Мальчик, пролезший под ногами у них, среди сдавливавших друг друга напряженных тел, топчущих сапог, каждый из которых мог раздавить его, просверлил худым телом толпу и выскочил на свет пожара. Самый маленький и слабый из всех, вооруженный единственной силой — силой любви в своем замирающем сердечике, он кричал одни и те же, ничего не объяснявшие слова: «Это мой папа! Не бейте его!..» И странным образом слова эти сейчас всё удостоверляли, и люди, минуту назад в слепой ярости не признававшие себя, трезвели и снова становились людьми.

Шалаев пошел из толпы. Перед ним расступались. Он шел и, сам того не замечая, отряхивал руку. Хотел стряхнуть с нее тот зуд, который еще чувствовал в ладони.

Он захлопнул за собой дверцу машины, усталость вдруг придавила его. Шофер, рядовой боец товарищ Петров, сигналив, повел машину среди расходящейся толпы. Несколько человек стояло около учителя. Маль-

чик вправлял ему рубашку в брюки, а один из конвойных держал перед ним найденную на земле растоптанную фуражку.

Поздно ночью, пропахший дымом горящих деревень, Шалаев вернулся в штаб. Из темноты сеней на ощупь открыл дверь — комната с побеленными стенами и потолком, с окнами, завешенными суконными одеялами, с застоявшейся тишиной и запахом керосина от лампы показалась ярко освещенной. За столом над картой, почти соединясь головами, сидели Бровальский и Щербатов. Они не сразу обернулись на дверь.

Шалаев сел. Свет керосиновой лампы, стоявшей на блюдечке посреди карты, резал ему неосвоившиеся глаза. Отворачиваясь, он раздраженно косился на нее.

— Горят деревни. Уходит народ. Детишек несут, скот гонят — все дороги забиты.

Здесь, в закрытом помещении, от его гимнастерки особенно сильно чувствовался запах дыма, пожарища. Он тоже почувствовал его, зачем-то понюхал рукав.

— Днем деревни казались без людей. Откуда столько народу повысыпало? Жуткое дело смотреть. Еле пробился сюда...

Шалаев помолчал.

— Ну? Слыхали уже? Командующий фронтом изменил!..

И оглядел всех темным взглядом недобро прищуренных глаз, по произведенному впечатлению проверяя каждого из них. Глаза его остро блестели.

Бровальский повернулся, как сидел, лицо испуганное: «Не может быть!», и по-женски махнул на Шалаева рукой, словно хотел сказать: «Уйди, не верю!..» Щербатов, успевший снова так крепко задуматься над картой, что ничего не расслышал, поднял лицо, строго посмотрел на Шалаева ничего не выражавшими глазами. И только тут смысл сказанного, задержавшийся в сознании, дошел до него. Значительно позже, как звук после вспышки выстрела.

— Что? — спросил он, сделав горлом откашливающийся звук: «Кха-кхым».

— Что? Бежать хотел командующий фронтом. Генерал! — с жестоким удовольствием повторил Шалаев и бессознательно, но так, словно и они теперь становились подозрительны, глянул на генеральские петлицы

Щербатова. — С картами, с планами, со всеми документами бежал. В легковой машине. Уже на шоссе танк догнал. С третьего снаряда из пушки расстрелял. В упор.

— Откуда сведения?— спросил Бровальский.

Шалаев по привычке посмотрел на него тем взглядом, после которого сразу становилось ясно, что проявлять излишний интерес не только неуместно и нежелательно, но и небезопасно. А уже не существовало секретных каналов, по каким он мог бы получить секретные сведения, обычная связь и та была прервана. Но оставались привычки.

— Вы вот что скажите мне,— Шалаев словно в улыбке оскалил белые на смуглом лице крепкие зубы.— Вы оба умней, ученей меня... Чего ему не хватало?.. Чего, говорю, не хватало ему? Генерал! Почет, уважение, слава, власть, деньги, черт их возьми! Служи только! Всего вот так дано! Кто дал? Советская власть! Народ дал! И он же, сукин сын, их предал! Ладно, не будем про совесть говорить, про партбилет, который носил небось вот здесь, на сердце, козырял им, пока лез вверх. Что ему немцы, больше дадут? Родину они ему дадут? Ведь он же — Коротков! Объясните вы мне,— может, я один такой дурной, что не понимаю?

Бровальский и Щербатов сидели молча, каждый наедине со случившимся. Из-под обрушившегося на них придавленная мысль выкарабкивалась с трудом.

— А ведь я Короткова еще по финской знал,— сказал Бровальский, честно признаваясь. И не то его смущало сейчас, что человека, которого он знал, обвиняют в предательстве, а смущало, что сам он прежде не смог его разглядеть, оказался таким близоруким.— Нас тогда двенадцать человек награжденных привезли к нему. Мороз был — водка замерзала. А он тоже, как все, в белом полушубке, в валенках, только ремни и кобура на нем белой кожи. Уверенный такой стоит под сосной, руки в нагрудных карманах держит. «Ну, орлы!..» Поздоровался с каждым за руку, и вот запомнил я: мороз, а у него рука горячая. Даже пар от нее идет, как вынул из кармана. И не сказать, чтоб крепкий такой был или роста огромного...

Бровальский для сравнения оглянулся вокруг себя не ко времени радостными глазами и, как на препятствие, налетел на сощуренный презрительно взгляд Шалаева. Тот покачал головой:

— То-то, что руки жмем без разбора... Жалеем!

— Ну, ты меня не учи пока что! — вспыхнул Бровальский. — Кому жать, кому не жать... Я тоже такой умный задним числом.

— Я не учу-у, — сказал Шалаев, глядя на него с сомнением. — Я по себе могу сказать... Тоже не всегда проявлял... Когда в тридцать седьмом году у сестры мужа репрессировали и она ко мне прибежала с тремя детьми, меньшому еще года нет, не нашел я в себе мужества сказать в тот момент честно и принципиально, как подобает коммунисту. Жалко ее стало. И его тоже. Пожалел! И даже засомневался. Потому что понять не мог. Он же рабочий! Наш! Из рабочей семьи. Этих бывших всяких, которые инженерами устроились, начальниками разными, директорами — этих мне никогда жалко не было. Сколько волка ни корми, он тебя же загрызть норовит. Мне не их, народных денег, какими платили им, жалко было. Но он рабочий, машинист-кривоносовец... Калинин лично ему орден «Знак Почета» вручал. А она, оказывается, вот даже куда, зараза, проникла. Я три года за него выговор носил. Но я смыл с себя... Смыл позорное пятно.

Синий угарный огонек зажегся и посвечивал в его глазах. Его не удивила, как их, измена командующего. Она только утверждала его в главном, делала очевидной для всех необходимость его бессонной работы, на которой он все нервы потерял.

— Дожалелись... Лучше десять невиновных обезвредить, чем одного врага упустить. Сто невиновных! Тогда б не пришлось сегодня расплачиваться тысячами!

Щербатов из-за лампы глянул на него. От Шалаева шло дыхание того гибельного безумия, какое в моменты поражений овладевает людьми, перебрасываясь от одного к другому, как эпидемия, как пожар.

— А ну возьми себя в руки! — нагнувшись над ним, приблизив лицо, снизу освещенное лампой, Щербатов стучал пальцем по столу. — Чтоб никто... Ясно? Ни один человек чтоб не слышал от тебя! Иначе — как за распространение паники!.. Как за ложные слухи!..

Он отошел к окну, оттуда, не оборачиваясь, сказал Бровальскому брезгливо:

— Дай ему валерьянки, пусть успокоится...

И тут на улице лопнул выстрел. Еще один. На крыльце громко затопали, кто-то на коне вскачь пронесся мимо окон. А уже заливались в ночи за околицей пулеметы. Дверь рванулась, с темноты на свет, ослеп-

ленно моргая, шагнул через порог адъютант, голос задыхающийся:

— Товарищ командующий!.. Там...

Глаза его растерянно бежали, ни на ком не останавливаясь. Все трое смотрели на него. И, оробев под взглядами, адъютант совсем тихо закончил:

— Немцы там прорвались... товарищ командующий...

— Где немцы? Сам видел? Сколько? — повеселев, спрашивал Бровальский быстро. — А ну идем, покажи!..

Щербатов, руки назад, расставив ноги в сапогах, все так же стоял лбом к окну, завешенному одеялом. Шалаев, бледный, видел только его спину, перекрещенную ремнями. С прыгающими губами, обдергивая на себе гимнастерку, он хотел что-то сказать, надо было что-то сказать. Но так ничего и не сказав, вышел за спиной ни разу не обернувшегося Щербатова.

ГЛАВА XIII

В село, где стояла батарея Гончарова, немцы ворвались на рассвете. Переполошная стрельба вспыхнула сразу в нескольких концах и погасла, и тогда стал слышен треск мотоциклов. Потом опять вспыхнула стрельба. На батарее, среди воронок, оставшихся от бомбежки, озябшие спросонок артиллеристы, торопясь разворачивали пушки. Утро было серенькое, землю кутал туман.

Вспрыгнув на бруствер, Гончаров в бинокль пытался разглядеть немцев. Выгоревшая за ночь улица стала широкой. По одной стороне ее — редкие уцелевшие дома, другая лежала в пепле, и церковь, прежде стоявшая далеко, так, что из-за деревьев виднелась только макушка ее, первой ловившая восход солнца, теперь открылась целиком до подножия, и даже площадь, на которой она стояла, была видна. От огородов до церкви простерлось пепелище. Туман и дым, заровняв воронки, стекали в низину и в улицу. А из тумана могильными холмиками на месте бывших домов проступали груды обгорелой глины, кирпича и пепла; некоторые еще курились дымком. И запах гари, паленой шерсти, неистребимый запах сгоревшего хлеба витал надо всем. Им пропахли и земля, и туман, и одежда бойцов. Даже руки, в которых Гончаров держал бинокль, пахли гарью, он ощущал ее вкус во рту.

Из-за церкви с нарастающим треском моторов вырвались немцы. По широкой дуге мотоциклы с колясками въезжали в улицу. Серые на серых машинах, с широко расставленными по рулю руками, в серых до плеч касках, все на таком расстоянии без лиц, они казались вросшими в мотоциклы. Туман, заливавший улицу, был им вполколеса, и они двигались по нему, как по мелкой воде.

Из дома выскочили несколько бойцов и побежали, пригнувшись. Один обернулся, с колена выстрелил из винтовки. Немцы все так же двигались вперед в сплошном рокоте моторов. У переднего на руле брызнул красный огонь пулемета. Боец упал. Он лежал поперек дороги, проступая из тумана. Мотоциклы один за другим, не сворачивая, переезжали через него, и у каждого подскакивало на нем колесо коляски, и немец, сидевший в ней, переваливался. Из домов, из дворов, из-за куч щебня выскакивали бойцы, вспугнутые треском мотоциклов, перебегая, скрывались в тумане. Бежали те самые бойцы, от которых вчера бежали немцы.

Гончаров с жадностью смотрел, как едут немцы, и не мог оторваться. И что-то подымалось в нем, как озноб. Уже посвистывали пули, несколько со звоном ударились в щит. Он оглянулся. За щитом, напряженные, согнутые, ждали огневики, ствол орудия, косо перемещающаяся, сопровождал мотоциклистов. В стороне, лежа грудью на холодном бруствере, разведчик целился из ручного пулемета и ладонью отирал слезящийся глаз.

— Огонь! — крикнул Гончаров, махнув рукой.

Грохнуло. Воздух толкнулся в уши. Передний мотоциклист на всем ходу, как в куст, врезался в разрыв снаряда, вставший перед ним.

Четырехорудийная батарея с близкого расстояния была в упор, накрыв сразу и голову и хвост колонны. Земля взлетала из-под колес, и там, во все еще продолжавшемся движении, в коротких всплесках огня, мотоциклы словно проваливались в пустоту, и новые влетали на их место, и все это стремительно мчалось, мелькало, несло, не выскакивая за рубеж, положенный первым разрывом.

Гончаров выхватил у разведчика ручной пулемет, перепрыгнув через бруствер, побежал вперед, разряжая себя криком.

— Ура-а-а!..

Туда, в неосевшую пыль и дым, где шевелилось посреди дороги, выкарабкивалось из-под обломков что-то единое, еще живое, всаживал он на бегу трассы пуль, они впивались, как раскаленный штык, и он бежал за ними, крича. В первого выскочившего из пыли немца он выстрелил в упор, и тут, набежав, обогнали его бойцы, впереди замелькали спины в гимнастерках.

Все было стремительно кончено. По улице, подгоняя прикладами, гнали немцев, и они бежали, некоторые с поднятыми руками, озираясь. Среди разбитых и целых брошенных мотоциклов сновали бойцы, разбирая трофеи, у многих на плечах уже болтались захваченные немецкие автоматы. И тут из кювета, перевалившись колесом через снарядную воронку, на глазах у всех, стоило только винтовку скинуть с плеча, выполз при общей растерянности и, разгоняясь, набрав скорость, умчался мотоциклист, сопровождаемый улюлюканьем, взглядами пленных и криками: «Стреляй! Ребята! Немец! Стреляй!..» Несколько запоздалых выстрелов ударило вслед, но мотоцикл с высоко подпрыгивающей пустой коляской скрылся уже за церковью.

Согнанных на край пепелища немцев построили, Гончаров шел, заглядывая в лица. Полчаса назад, в стальных касках, верхом на мотоциклах, с широко расставленными по рулю руками, все они казались крупней, больше. Сейчас перед ним стояли мальчишки, многие раненные, один плакал, размазывая по лицу слезы и кровь. Но Гончаров только что видел, как они ехали. Через пепелище, по телам убитых, не сворачивая, уверенные в своей силе и праве. Вот так же, не колебавшись, они проехали бы через него, через каждого, через весь мир.

Кончилось время раздумий. На войне убеждает пуля. Гончаров шел вдоль строя пленных, и не было среди них невинных, не было жалости ни к одному.

ГЛАВА XIV

На выезде из деревни машину Шалаева задержали. Широкоскулый, приземистый сержант в обмотках, с каменными желваками и каменной складкой меж бровей, обняв сгибом локтя винтовку за ствол, долго читал документы, помаргивая белыми ресницами. Отрывал строгий взгляд, чтобы сличить фотокарточку, и снова

читал. Прежде чем вернуть, заглянул внутрь машины и, захлопывая дверцу, все еще как бы не удостоверившись до конца, зачем-то оглядел еще и скаты. Но тут подошел лейтенант, узнал Шалаева в лицо и, возвращая удостоверение, козырнул.

— Простите, товарищ батальонный комиссар, — сказал он, извиняясь улыбкой, — приказано проверить документы у всех.

И зачем-то оглянувшись, наклонился к дверце, снизил голос:

— На участке двести восемьдесят первой дивизии слух прошел: немцы десант выбросили. Если срочной необходимости нет, может, не ездили бы, пока выяснится?..

Шалаеву вдруг расхотелось ехать. Но именно потому, что ему расхотелось, а шофер, товарищ Петров, глядя на него сбоку, ждал, как ждут судьбы, Шалаев остался непоколебим. И, вымещая на другом то, что на себе не вымещают, он пальцем поманил лейтенанта. Взявшись обеими руками за опущенное стекло, тот охотно всунулся в окошко.

— Старшим, лейтенант, когда полагается советовать? — спросил Шалаев почти ласково. — Когда спрашивают совета или по собственной инициативе?

Пальцы лейтенанта отлипли от стекла:

— Ясно, товарищ батальонный комиссар.

Выпрямившись, он сдержанно взял под козырек. Машина тронулась, оставив позади себя отдалявшихся сержанта и лейтенанта. Сквозь пыль они смотрели ей вслед.

Неприятный осадок после вчерашнего, нехорошее что-то подымалось в Шалаеве со дна души. Вспомнит — и начинает мутить. Так бывает наутро после сильного перепоя, когда все, что говорил и делал, вспоминать муторно — зажмуришься только да закричишь. И гнетет предчувствие всеобщей беды. Но так же, как после водки наутро лекарство одно — водка же, так и Шалаев не колеблясь направил мысль вслед вчерашнему гневу, и гнев вытеснил стыд.

— Смотрите, товарищ майор, — сказал шофер, — пушки куда у них развернуты.

Шалаев нахмурился, но тут необычный вид пушек отвлек его. Слева в хлебах по всему косогору легкие пушки были развернуты не к фронту, а смотрели на до рогу нацеленными дулами, как бы провожая движущу-

юся по ней машину. И вдруг странно пустынной показалась Шалаеву дорога впереди. Ни по сторонам ее в хлебах, ни впереди — ни души не было видно. Такой пустынной и настороженной земля бывает только у переднего края, где все скрыто, но отовсюду смотрят глаза и замаскированные дула.

В сущности, Шалаев мог бы не ехать. Но после вчерашнего ему тяжело было находиться рядом с командиром корпуса и Бровальским.

— Порядочки в двести восемьдесят первой! — сказал он с особенным удовольствием, потому что это была дивизия Тройникова, а он не забыл Тройникову, что произошло между ними на совете.

Тем временем шофер, пригнувшись к рулю, выворачивая шею, пытался сквозь ветровое стекло что-то разглядеть в небе, не выпуская дорогу из глаз. Из-за верхнего края ветрового стекла в поле зрения выскочили два «хейнкеля», удаляясь. Они обронили бомбы над артиллерийскими позициями, и из желтого поля впереди один за другим взлетели три черных взрыва. Шофер сбоку беспокойно взглянул на Шалаева, но тот, не отвлекаясь, смотрел перед собой в стекло. Чем нерешительней чувствовал он себя в душе, тем тверже и раздраженней было его лицо.

Самолеты уже были далеко над рощей и кружились над ней. По временам они исчезали за вершинами деревьев и снова появлялись, кружась. Большая тень облака с хлебов сползла на дорогу, краем своим накрыла рощу; машина быстро нагоняла ее. Но еще раньше, чем она приблизилась достаточно, тень облака упала с деревьев, обнажив их солнцу, сдвинулась с дороги, и на ней видны стали крошечные фигурки нескольких человек, выступившие из-за деревьев. Ни их самих, ни цвета их формы разглядеть отсюда было невозможно. Все это вместе — и деревья, и дорога, и люди на ней — тряслось и скакало в ветровом стекле машины, мчавшейся по ухабам. Но угрозу, исходившую от этих появившихся на дороге людей, Шалаев почувствовал на расстоянии. И самолеты продолжали кружиться над рощей и не бомбили ее. И люди эти открыто стояли на дороге... Все вместе это было странно. Шалаев вспомнил, как лейтенант предупредил его, и роща теперь показалась ему именно тем местом, куда и должны были сбросить десант. Но машина все так же несла их вперед. Твердый во всем, Шалаев не решался сейчас приказать шоферу

остановиться. Ему казалось это малодушием, и он стыдился проявить его.

И тут впереди из серой пыли дороги всплеснулся разрыв. Шофер успел только упасть на руль, а когда поднял голову, увидел белые пробойны в стекле и обернувшееся назад, разъяренное, темное от гнева лицо Шалаева.

— Стой! — кричал Шалаев, поддаваясь первому сильному чувству: выскочить и наказать того, кто смел стрелять в них.

Но тут же сообразил, что останавливаться нельзя.

— Вперед! Быстро! Давай!..

Заскрежетало в коробке передач, машина рванулась вперед.

— Ч-черт! — говорил шофер, испуганно улыбаясь. Он знал, что за звуком мотора полет снаряда не будет слышен, быть может, уже летит, и не мог молча вынести этого страшного ожидания. — Встречает нас двести восемьдесят первая!..

Неловко, словно парализованную, поворачивая шею, он опасливо снизу вверх глянул на крышу кабины.

— Ухлопают, потом разбирайся. Скажут, фамилию перепутали... — пытался шутить он.

Черный взрыв взлетел перед стеклом, на миг заслонив дорогу. Машина дернулась, как живая. В ней что-то начало глохнуть, она подвигалась вперед рывками, встряхивая обоих.

Роца была уже близко. Свернув с дороги, весь пригибаясь шеей, как бы ожидая удара сзади, шофер гнал к кустам по кочковатой земле. Они почти воткнулись в куст, и машина стала. Оба выскочили из дверец. И тут в остановившейся машине, внутри нее, что-то дернулось сильно в последний раз, и, задрожав вся, затрясшись и мотором, и крыльями, и распахнутыми дверцами, машина заглохла. В наступившей тишине издали еще стал слышен полет снаряда: ви-и-и-у-у!.. Ах! Ах! — встали два плоских разрыва значительно сзади по сторонам дороги.

Шалаев и шофер, вырвавшись из-под опасности, смотрели теперь издали на эти разрывы. Как после быстрого бега колотится сердце, так и сейчас в обоих билась радость. И впервые за всю совместную службу они чувствовали такую открытую душевную близость друг к другу, близость двух людей, оставшихся в живых.

— Ну что, товарищ Петров, живы?..

И оба рассмеялись. Достав платок, Шалаев вытирал потное, обсыхавшее на ветерке лицо. В этот момент оба они совершенно забыли о людях, появившихся на дороге и исчезнувших в роще во время обстрела: ближняя опасность заслонила дальнюю.

Шалаев еще вытирал лицо, как вдруг, что-то почувствовав за спиной, быстро обернулся. От деревьев, развернувшись в цепочку, шли на них четверо. А один, уже подошедший неслышно, из-под руки держал на ладони автомат, ремень которого натянулся от плеча вниз.

Только одно мгновение, когда Шалаев обернулся и увидел приближавшихся, лицо его оставалось напряженным. Но это мгновение поймал стоявший против него человек.

Они стояли друг против друга: тот — с немецким автоматом на ладони, Шалаев — с платком в левой руке, очень белым на солнце и чистым, и один раз человек, не сводя глаз, покосился на платок. А те четверо подошли. И за это короткое время, пока они так стояли и смотрели друг на друга, мысль общая, одна и та же, успела проскочить между ними из глаз в глаза и быть понятой, и снова проскочить.

— Свои! — закричал шофер обрадованно. — А мы напугались!..

Человек улыбнулся одной стороной лица, обращенной к шоферу, но головы на его голос не повернул и остался таким же серьезным. Даже еще серьезней оттого, что на секунду улыбнулся без выражения, не спуская с Шалаева карауливших каждое его движение глаз. И снова что-то не понравилось Шалаеву в его лице. Здоровое, розовое, с выступившей из кожи золотящейся на солнце щетиной, с жесткими рыжими бровями. Под ними — голубые глаза. И они смотрели на Шалаева. В этих смотревших пристально глазах, из глубины их рвалось наружу неудержимое, хитрое, как у сумасшедшего, веселье, еле сдерживаемый смех. Это были не русские глаза. Это были глаза немца!

Шалаев похолодел: «Влип!..» И уже в новом, в истинном свете он увидел всех пятерых. Он увидел, как на них не сидела красноармейская форма, в которую они были одеты, словно была она с чужого плеча. И во всех них, рослых, тренированных, в том, как они подошли, вместе с остороженностью чувствовалась особая развязность, которая отличает отборные войска:

разведчиков, парашютистов, обученных самостоятельности,— и которую редко встретишь у рядового пехотинца, сильного в массе, а не в одиночку.

— Двести восемьдесят первая?— без умолку говорил шофер, ошалевший от радости, что жив.— Тоже порядок завели: к ним едут, а они забаву нашли, из пушек стрелять! А ухлопали бы? Кто у вас командир полка?— повысил он голос.

Не отвлекаясь, никак не отвечая на то, что говорил шофер, человек с автоматом сказал:

— Разрешите проверить ваши документы.

Он сказал это по-русски, но с той бесцветностью и правильностью всех слов, что сразу чувствовался нерусский. Шалаев услышал едва уловимый акцент.

Мысль работала четко. Те четверо, подойдя, стояли перед ним и справа. И пистолет его тоже был справа. С той самой стороны, где они стояли. В застегнутой кобуре. Сзади не стал ни один. Чтоб, если стрелять, не попали в своего.

Мельком, краем глаза Шалаев увидел вдруг помертвевшее лицо шофера с раскрытым ртом. Тот теперь только увидел, кто перед ним.

Рука Шалаева сама по привычке потянулась к левому нагрудному карману гимнастерки, где лежало у него удостоверение личности. Но, выигрывая время, он сначала расстегнул правый карман. Он делал это медленно, а мысль со страшной быстротой обегала круг, толкаясь во все стороны, ища выход. Поискав в правом кармане и, как бы вспомнив, он расстегнул другой нагрудный карман, но уже левой рукой. А правая так и осталась у кармана на весу, чтобы только скользнуть вниз к пистолету. Пальцы ее застегивали пуговицу.

Он подал удостоверение левой рукой. Беря его, человек еще раз внимательно, фотографируя в памяти, глянул на Шалаева и раскрыл. И как только он заглянул в удостоверение, все тоже потянулись туда, вытягивая шеи. Поглядеть. В этот момент рука Шалаева скользнула к пистолету. Но он даже не успел вырвать его из кобуры: человек, взявший удостоверение, на слух стерек его. Даже не движение его — мысль!

Шалаева повалили. Молча, сопя над ним, сквозь стиснутые зубы, спиной вбивая в землю, выламывали руки. Кто-то коленом наступил на него.

— Сволочь! — победно сказал немец с жесткими рыжими бровями, еще тяжело дыша и весело ощеривая рот, а глаза блестели жестоко.

Первый встав, он подкинул на ладони отнятый пистолет — плоский «вальтер», которым Шалаев гордился, сунул в карман штанов.

— Я его, б...., сразу понял. Удостоверение сует...

Один за другим подымались остальные, отряхиваясь, разгоряченные борьбой. Последним постыдно встал Шалаев. Раздавленный, с разбитым в кровь лицом, на которое кто-то наступил каблуком.

— Стерва!..

— А так по морде вроде не скажешь!

— Ты на него сейчас погляди... Немец!

— А мы еще думаем, что за бесстрашный? Два немца над дорогой летят, а он хоть бы что, едет!

Шалаев смотрел на них, боясь верить. И вдруг со всей остротой прозрения, с какой он только что видел в них немцев, понял несомненно: свои! Это были свои. И голоса свои, родные, русские. И лица такие, что не спутаешь. Он весь подался вперед, к ним:

— Я — начальник особого отдела корпуса!

Слова его произвели неожиданное действие. Не столько слова сами, как то, что немец на глазах у всех заговорил по-русски. Бойцы стояли, не зная чему верить. Но они видели его сейчас не таким, каким он все еще видел себя. Перед ними стоял избитый человек, с лица его, на котором отпечатался след каблука, на грудь гимнастерки капала кровь. И вдруг кто-то из бойцов, самый догадливый, захохотал, хлопнув себя ладонью:

— От брешет, сволочь! «Начальник особого отдела...» А ну, сбреши еще!

И тут — крик:

— Ребята! Второй где? Второй убег!

Несколько рук схватили Шалаева. И вместе с ними, с людьми, державшими его, Шалаев видел, как далеко за дорогой мелькнула в хлебах голова. И скрылась. Бухнули винтовочные выстрелы. Др-р-р-р... — залился вслед автомат. Бойцы, державшие Шалаева, смотрели не дыша. В эти секунды, когда он, всей душой замерев, жадно ждал вместе с ними, решалась его судьба. От того, убежит или не убежит шофер, зависела вся его жизнь.

Много дальше того места, куда стреляли, мелькнула в последний раз в хлебах согнутая спина и скрылась в лощине. Ушел! Один за другим бойцы оборачивались на Шалаева с тем выражением, с каким они смотрели вслед убежавшему и пущенным в него очередям. Они возбужденно дышали, словно не мыслью, а сами пробежали все это расстояние. И Шалаев, оставшийся в руках у них, почувствовал, как необратимое надвинулось на него. И, понимая всю нелепость происходящего, потому что они — свои, он убедился в этом, понимая, что надо спешить сделать что-то, сказать, остановить, он в то же время с обессиливающим ужасом чувствовал, как безразличие наваливается на него. Как будто во сне мчался на него поезд, и он видел его, надо было сдвинуться, сойти с рельсов, но опасность затягивала, и он только смотрел с жутким чувством на эту мчащуюся на него смерть, а ноги, вязкие и бессильные, словно вросли.

С необычайной ясностью он чувствовал время в двух измерениях: страшную быстроту несшихся на него последних секунд, когда еще что-то можно было сделать, надо было сделать, и медленность, с которой мысль, застревающая, протекала в его сознании. А потерей во всем этом была его жизнь и что-то еще, главное, к чему он приблизился, но что понять не хватит уже времени.

— Я — начальник особого отдела корпуса, — сказал он подавленно. И, подняв на них неуверенные глаза, слизнул с губы кровь. Он впервые слышал сам, как правда звучит ложью. Тем более страшной и явной, чем сильнее он настаивал на ней. Сейчас, после того, как убежал шофер.

Красноармеец с рыжими бровями, белозубо ощерясь, схватил его за грудь, потянул на себя. Шалаев дернулся, но руки держали его. И не в силах выдернуть их, он успел только зажмуриться. Блеснувший перед глазами приклад обрушился на него. Падая, он чувствовал, как рванули на нем гимнастерку, слышал над собой радостные голоса:

— Ребята! На нем бельё шелковая!

— Они его от вшей надевают.

— Сверху-то наше все надел, а бельё сымать пожалел...

Боль, горячей молнией ослепившая Шалаева, подняла его с земли. Он вскочил с залитыми глазами, рванулся и вырвался из рук. Во рту его, полном крови

и осколков, язык, обрезаясь об острые края выбитых зубов, заплелся, произнося что-то, быть может, самое главное в его жизни, но никто не разобрал его последний крик. Люди шарахнулись от него, и Шалаев, рванувшись вперед, налетел на белую вспышку выстрела.

ГЛАВА XV

Для того бойца, который, выскочив из избы, увидел въезжавших в улицу немецких мотоциклистов, успел выстрелить в них с колена и упал под пулеметной очередью, весь этот короткий миг от момента, когда он увидел их и побежал, а потом, остановившись, начал отстреливаться, до момента, когда он лежал уже на дороге и вся колонна, мотоцикл за мотоциклом, проехала через него, — все это, безмерно малое по времени, вместило и страх его, и решимость, и жизнь, и будущее, и смерть. Но на оперативной карте и он, и все, кто погиб в этом коротком ночном бою, и немцы, которых после артиллеристы Гончарова бегом гнали прикладами по улице села, — все это превратилось в тонкую, как булавочный укол, синюю стрелу с загнутым назад концом. Множество таких острых синих стрел за ночь вонзилось с разных сторон в 3-й стрелковый корпус, оставшись торчать в нем. И по ним с достаточной точностью немцы могли очертить на карте пространство, занятое корпусом, масштабы прорыва и глубину.

Было несомненно, что все эти короткие бои — это бои с первыми успешными подходами подразделениями немцев, разведка боем. С какой стороны немцы нанесут главный удар, Щербатову было пока неясно, а произвести разведку на большую глубину он не мог, у него не было авиации. Немцы же летали над его корпусом вот уже целые сутки, бомбили, обстреливали и, конечно, фотографировали. Был отдан строжайший приказ маскироваться, зарыться в землю, но это уже ничего не могло изменить. Сидя с Сорокиным над картой, они продумывали десятки вариантов, беря за исходное самую выгодную обстановку для немцев и самую невыгодную для себя. И только об одном варианте Щербатов боялся думать. Он боялся думать о том, что будет, если они вообще не станут наступать. Будут развивать успех на главном направлении, оставляя его корпус все глубже и глубже в тылу у себя. А эти мелкие подразделения,

ночью завязавшие бой, спущены на него, как собаки на медведя. Они будут кусать, и лаять, и кусать, вцепляясь отовсюду, до тех пор, пока не подойдет охотник с ружьем. Этим охотником с ружьем могла стать соседняя немецкая армия, расположенная южнее, которая, перейдя в наступление, сразу оказывалась в тылу корпуса и отрезала его. Об этом Щербатов боялся думать, потому что тут выхода не было, это был конец. Выход мог бы быть только в одном: прямо сейчас, не ожидая, отвести корпус на исходные рубежи и там, повернувшись фронтом, встретить удар. Но он не имел права сделать это сам: спасая свой корпус, он мог подставить под удар другие соединения. Приказ Лапшина обязывал его закрепиться и ждать. И именно потому, что об этом единственном варианте он боялся думать, он думал о нем все время и даже предпринял первые шаги: ночью, растянув фланги, он начал перебрасывать дивизию Нестеренко в тыл.

А все могло быть иначе. Вот так же, как он сидит сейчас над картой, боясь подумать о самом худшем, сидел над картой командующий немецкой группировкой, у которого в тылу, нависнув над коммуникациями и быстро продвигаясь, появился русский стрелковый корпус с артиллерией и запасом снарядов. В тот неустойчивый момент, когда у немцев основные силы не высвободились на фронте, а тыл был пуст, в этот момент заколебалось военное счастье и нужно было решиться, нужен был новый удар. Но к этому удару Лапшин не был готов. Отступая, он не мог поверить, что нужно наступать. Он нанес корпусом удар во фланг и, не ощутив сразу перелома, видя только, что немцы продолжают наступать, испугался потерять и этот корпус. И приказал самое бессмысленное: остановиться и ждать. Развязал руки немцам.

Уже с утра не было связи с Лапшиным. Под артиллерийскую канонаду заканчивался там бой. Это из всех стволов стреляла немецкая артиллерия, а разрывов ее отсюда уже и слышно не было. Слушать это отсюда и бездействовать было тяжелей всего, нервы у людей были напряжены, фронт отдалялся, и каждый боец понимал теперь: дальше очередь их. Немцы еще не начали наступать, но корпус уже оборонялся. И это было самое непоправимое.

Если бы в момент прорыва у немцев оказалось достаточно сил, и они бы контратаковали, и корпус понес

потери, они не добились бы того, что делало сейчас за них время. Убить в бою одного, десять, сто солдат — это значит только уменьшить армию на определенное количество людей, а сила наступления при этом может не измениться. Но оставшийся в живых и зараженный паникой солдат один способен вызвать эпидемию страха. И вот это начиналось уже. Остановленные в момент наивысшего душевного подъема, вынужденные несколько суток бездействовать, слыша ежеминутно, как добивают их армию, люди начали томиться, поползли слухи, по ночам казалось, что немцы обкладывают корпус со всех сторон, стягивают вокруг него силы. И уже не столько немцы, как страшен был сам страх, приумножавший всё десятикратно. Связи с командующим армией не было, сведений оттуда не было никаких. Щербатов послал несколько офицеров связи на мотоциклах, послал легкий танк — никто пока не вернулся.

К полудню на шоссе замечены были в бинокль две машины. Щербатову доложили. Он находился в лесу, где сосредоточивались отведенные ночью в тыл части дивизии Нестеренко. Шоссе разрезало лес. Когда Щербатов вышел на шоссе, машины были уже близко. Они шли с большой скоростью, быстро увеличиваясь, гудение их сильных моторов нарастало. Щербатов узнал переднюю машину: это был «ЗИС» командующего.

«ЗИС» остановился. Головой вперед, без фуражки вылез из него Лапшин, не ответив на приветствие, двинулся в лес. Из другой машины выгружались военные, беспокойно поглядывая на небо. Они старались далеко не отходить, как беженцы, которых в последний момент могут забыть, не взять с собой в машину. Щербатов узнал прокурора, начальника оперативного отдела — они его почему-то не узнавали.

Идя вслед за командующим, Щербатов остановился у края поляны, как у дверей. По поляне, пока заправляли машины, взад-вперед ходил Лапшин, раздраженно косясь. В хромовых сапогах, в хромовом, несмотря на жару, черном пальто, — наверное, забыл снять, и никто не решался напомнить, — в коверкотовой гимнастерке с медалью XX-летия РККА и орденом Боевого Красного Знамени, он держал руки за спиной под пальто, и оно поднялось сзади, а концы пояса болтались. Щербатов стоял, окаменев. Не перед командующим — перед размерами и непоправимостью бедствия, которые тот принес с собой. Перед тем, что уже свершилось. А за гори-

зонтом, откуда, стремительно возникнув на шоссе, только что примчались обе машины, еще погромыхивали раскаты дальнего артиллерийского грома, уже стихавшего.

Лапшин близко прошел мимо, опав ветром, и на его голой выбритой голове Щербатов увидел мокрую ссадину. Она кровоточила. Щербатов почувствовал эту ссадину физически. Он на минуту закрыл глаза. И вдруг услышал стон. Лапшин сидел на поваленном дереве. В луче солнца, косо сверху пробивавшем лесную тень, как наморщенное голенище, блестело его пальто, кожаный воротник насунулся на голый воспаленный затылок. И оттуда, из-под пальто, опять раздался долгий, как от зубной боли, стон. Щербатов оглянулся, быстро подошел к Лапшину. Что-то по-человечески толкнуло его к нему.

— Товарищ командующий! — позвал он, как больного, стоя над ним. — Павел Алексеевич!..

Лапшин поднял мутные глаза, глядел, не видя.

— Думаешь, разбил он меня? Разбил? — говорил он, как ребенок, не стыдящийся няньки. — О-бо-жди!.. — Голая голова его покраснела, он погрозил кулаком. — Я с новой армией приду, так только дым от него пойдет!

— Павел Алексеевич! — вразумительно позвал Щербатов, помогая командующему взять себя в руки, раз тот сам сейчас этого сделать не мог. И загораживал его спиной от взглядов. Каков бы ни был Лапшин, командующего армией в момент слабости никто видеть не должен. — Корпусу надо отходить на исходные позиции. Отходить срочно. Еще время есть. Завтра его не будет. Я посылаю к вам офицеров связи... Разрешите доложить обстановку...

И в этом «разрешите» докладывающего, в подчеркнутом соблюдении формы и тона была не просьба, не требование даже — было достоинство военного человека, которое не должно теряться ни при каких обстоятельствах и которое он хотел сейчас вдохнуть командующему.

Щербатов раскрыл планшетку с картой под целлулоидом. Привлеченный мельканием планшетки перед лицом, движениями рук по ней, Лапшин обратил внимание и некоторое время тупо смотрел в карту. Щербатов докладывал, наклонившись сверху, видя только воспаленную голову, мясистое красное ухо, блестящую от пота щеку и над ней жесткую, как ус, по привычке

грозно надвинутую бровь. Казалось, командующий слушает. Сдерживая себя, чтоб не торопиться, Щербатов втушал, и это не могло не дойти до сознания. Лапшин поднял голову, снизу пристально поглядел на него. В осмыслившихся глазах прорезалось что-то острое. Он видел Щербатова. Того самого командира корпуса, своего подчиненного, с которым у него уже несколько раз были связаны минуты внутреннего позора.

При всей самоуверенности Лапшин знал, что в Щербатове есть что-то очень важное, чего нет в нем самом. А ему, командующему армией, оно было бы как раз нужней. Он никак не определял для себя словами это «что-то», но знал, что оно не выдается ни вместе с должностью, ни со званиями и орденами, его можно желать и никакими средствами нельзя приобрести. Оно либо есть, либо его нету. И вот у Щербатова это было.

Никогда в мирное время Лапшин не ощущал, что у него чего-то нет. Нет! — он мог приказать, и — будет. Он привык к своему положению и к уважению, которое оказывалось ему повсеместно. Оно было его принадлежностью, и он никогда не задумывался над тем: по праву ли оно ему принадлежит? Такие вещи утверждались наверху, и каждого, кто попробовал бы усомниться в его праве, он бы счел человеком, подрывающим основы. И только когда началась война и с первых же часов он увидел, как ничего не может сделать, он впервые испытал чувство своей неполноценности, о котором даже не подозревал раньше. Располагавший гораздо меньшими сведениями Щербатов каким-то способом угадывал и видел то, чего он, командующий, не видел.

И вот этот Щербатов просится отступить. Два дня назад, когда он назвал их авантюристами, наступать рвался, начальника штаба к нему присылал, а сейчас уже готов отступить. Ничто так не возвышает душу, как унижение человека, чье превосходство ты чувствовал над собой. Ничто так не излечивает ран!

Лапшин, сидя, снизу смотрел на своего командира корпуса. Острая, сумасшедшая радость рвалась из его глаз.

— Отступить, говоришь?

Весь кожано заскрипев, он обернулся. Ему нужен был свидетель его торжества. И, выхваченный взглядом командующего, двинулся к нему начальник оперативного отдела Марков, ступая кожаными подошвами по траве. Ширококостный и плоский в груди, огромного

роста, со светлым взглядом прозрачных глаз, он приближался, уже издали участвуя.

— Видал? — командующий кивком головы приглашал посмотреть на Щербатова. — Оре-ол! Это он просился ударить по тылам немцев. Рейд! Ты прежде в кавалерии, Щербатов, не служил, а? Не помню твоего личного дела. Случаем, не кавалерист? Вот не решились мы с тобой, Марков, приказ-то подписать, воевали, некогда было, а то б уж он под Берлин подходил со знаменами. Теперь небось нас винит. Не позволили.

Лапшин легко вскочил, кожаное пальто осталось стоять на земле, прислоненное к пню. Блестящая голова с грозными бровями, раздувшаяся шея, которую душил отложной воротник, были красны, коверкотовая гимнастерка без складки облегла покатые гладкие плечи, поднявшуюся грудь с косо влитой в нее портупеей. И весь он, с орденом, с широким глянцевым ремнем поперек живота был разительно похож на кого-то.

— Вот из-за таких-то, Марков, из-за таких!.. — кричал Лапшин, весь поддергиваясь вверх от своего крика. — Два дня наступать рвался, теперь бежит! Мы там жизни клали, а он чемоданы уложил! Еще и немцы не подошли, а он бежит! — И голос Лапшина заглушал дальний гром пушек, довершавших разгром его армии. Свои — не немцы, своих бить можно, привычно. Он бил, и постепенно отлегалось от души. А Марков не строго даже — грустно так и сожалеюще — оглядывал Щербатова с ног до головы и качал головой.

Но ничего этого Щербатов не видел. Смертельно бледный от величайшего позора стоял он перед командующим, и пальцы его рук, вытянутых по швам, вздрагивали. Военный человек, он умел и знал, как воевать на поле боя. Но перед этой силой он был бессилён.

Кто-то из штабных, страхась и останавливаясь при каждом раскате голоса, приблизился на негнущихся коленях, заранее неся ладонь у виска. Выждав безопасный момент, доложил, что машины заправлены и ждут. И как только командующий двинулся, со всей почтительностью подхватил с земли и понес его кожаное пальто.

— Я вам поотступаю! — в последний раз сверкнул глазами Лапшин уже от машины и пальцем погрозил. — Я вам поотступаю! Стоять здесь! Насмерть стоять!

Взревев сильными моторами, машины резко взяли с места, а над дорогой осталось таять в воздухе вонючее бензиновое облако.

Он не разбил противника, не изменил коренным образом обстановку. Он всего лишь накричал на подчиненного, выместил на нем гнев. Но он дал себе физическую разрядку, и в его сознании необъяснимым образом все изменилось к лучшему. Положение уже не казалось безнадежным. Мотор гудел ровно и мощно, и все мелькало и уносилось назад, а он мчался хоть и в тыл, но вперед, и дорога, узкая вдаль, раздвигалась перед скошенным радиатором машины. И это непрерывное движение и ощутимая сила мотора, передававшаяся ему, возвращали Лапшина в привычное состояние уверенности.

Он давно уже ездил в машинах особого класса — самых сильных и самых больших, с особенным светом и особым сигналом. Правила и знаки, обязательные для всех остальных, для него не существовали. В городе, где до войны стоял штаб, машина его с повышенной скоростью шла по средней черте, и светофоры, издали завидев его черный «ЗИС», испуганно мигали, и на всех перекрестках, на всем протяжении зеленый свет ковровой дорожкой сам стелился под колеса. Сидя на переднем сиденье, Лапшин мчался, распуская пешеходов, глядя только перед собой в усвоенной им манере. Все было прочным, все казалось таким неизменным, что любой враг, замысливший посягнуть, должен был прежде утратить себя. И вдруг немцы одним ударом вышибли его из седла. Удар этот был так неожидан, так ошеломляющ, что Лапшин до сих пор не мог прийти в себя.

Но постепенно, чем дальше позади оставался фронт, тем меньшими начинали казаться Лапшину размеры постигнутого им поражения. Он уже оценивал события спокойно, мыслил масштабно. И действия его теперь не выглядели ни бессмысленными, ни торопливыми, ни жалкими. Он проявил главное: твердость. Наступающего врага он встретил грудью, не дрогнув, не поколебавшись. Маневры всякие хороши, когда ты победил. Тогда и маневры зачтутся. Но если побежден ты, так вот их и припомнят тебе прежде всего: не выдержал, твердости не хватило, маневрировать начал... В дни, когда над ро-

диной нависла смертельная опасность, страшны не жертвы, не отдельные поражения, страшно малодушие. В этом его не могли упрекнуть. И если все же он не одолел врага, так потому только, что враг силен. Еще не дали себя знать постоянно действующие факторы, от которых зависит конечный исход войны. Временно действующий фактор — внезапность — был все еще на стороне немцев, хотя действие его уже начинало заметно ослабевать.

Лапшин достал платок, вытер им охлаждавшуюся на ветру голову. И вдруг почувствовал боль и жжение на коже, когда с левой стороны провел платком. Он повернул к себе автомобильное зеркальце. С левой стороны была мокрая ссадина. Явиться с ссадиной на голове — это было неприятно. Он осторожно промокнул сукровицу платком, стараясь не задеть, посадил на голову фуражку и еще осанистей, значительней стал в ней. После этого Лапшин закурил толстую папиросу, отдыхая, затянулся несколько раз подряд. Дым медленно вытягивало в щель над приспущенным стеклом и там смахивало встречным ветром, иногда заталкивая назад. И когда он, почти успокоенный, сощурился, смотрел вперед, вдруг знакомое сосущее чувство потянуло в груди тошнотно, и все опустилось, осело вниз. Это был страх. И сразу все, что он думал только что, показалось ничтожным, жалким, никого не способным убедить. Он сидел маленький, не шевелился, ждал, прислушиваясь к себе. Ждал, как ждут нового приступа боли, боясь неосторожным движением вызвать его. Новый приступ не возвращался. Лапшин робко подумал о человеке, чьей волей не уставал восхищаться, чье мнение было единственным мерилом всех поступков. О том, с кем связан был единым током крови. Неужели ж он отрубит собственный палец? И постепенно Лапшин успокоился. Страх прошел, только очень глубоко осталось что-то едва заметное, как предчувствие.

Сильная машина с особенным светом и особым сигналом несла его вперед, и дорога расступалась перед его мысленным взором. С той самой не всем дозволенной скоростью, с какой он мчался по жизни, мчался он теперь к своей гибели. Силы, в свое время поднявшие его и поставившие на эту высокую должность по причинам, меньше всего зависящим от его личных качеств, теперь, в момент поражения, требовали жертву. Пронесшийся было слух, что изменил командующий фронтом, слух,

после не подтвержденный, не исчез бесследно. Нужен был виновник неудач. И мчавшийся с докладом Лапшин, все хорошо продумавший и подготовившийся, стечением многих обстоятельств, не зависевших от него так же, как и его возвышение, должен был стать одним из виновников.

ГЛАВА XVI

Андрей Щербатов сидел на камне за углом бревенчатого коровника и пил из котелка парное молоко. Отрывался, чтобы передохнуть, и опять пил, держа котелок в ладонях, жмурясь от удовольствия. За спиной, по ту сторону коровника, было некошеное клеверное поле, ветер и где-то в складках поля — немцы. А здесь, на припеке, — безветренно и тихо. Утреннее солнце грело серые бревна стены и белый ноздреватый камень, на котором сидел Андрей. Вся земля перед раскрытыми в темноту коровника дверьми была истыкана множеством телячьих копыт, следы их закаменели. Вытопанная, жирная, а сейчас засохшая, она пахла мочой и пометом; на жердях загонов, о которые терлись телята, остались клочки их шерсти. Ветер, выносясь из-за угла, дул меж жердей, сметая в пустых загонах пыль, сухой помет и солому.

В большом коровнике осталось всего две коровы. Одна телилась, лежа на соломе, мычание ее по временам слышалось из раскрытых дверей. У другой была перебита передняя нога. Пулеметчик Корягин взял ее ногу в лубок, прибинтовал хорошо и теперь доил ее. И весь этот коровник с коровой, которая никак не могла растелиться, и другой коровой, которую доили, с дулом пулемета, глядевшим из западной стены на поле, — был передний край обороны. Влево до сгоревшей деревни и вправо до леса на горизонте были вырыты окопы, в них сидела пехота. Над окопами, над клеверным полем дул сильный ветер, и день от ветра казался прохладным. Только здесь, в затишке, было жарко.

Андрей поставил пустой котелок на землю у ног, вытер след молока на верхней губе и, увидев вышедшего из дверей Корягина, улыбнулся ему. Корягин, подвзанный мешком, как фартуком, с засученными вместе с нательной рубашкой рукавами гимнастерки на сильных руках, в сапогах, обрызганных молоком, был за

всех сразу: и за доярку, и за ветеринара, и за пулеметчика.

— Ну как? — спросил Андрей смеясь.

— Да не стоит на месте, — пожаловался Корягин. — Все ж полведра надоил. Надо во взвод ребятам снести. Животная, а тоже благодарность, как у людей. Я ей ногу, можно сказать, в строй вернул, она меня рогом норовит пырнуть.

Нагнув крутую шею, Корягин стоял, весь освещенный солнцем, спутанный чуб повис на лоб, под черными бровями — синие со смешинкой глаза. Андрей достал портсигар, раскрыл на ладони. Он был туго набит папиросами, недавно только заложил в него пачку. И тут пулеметчик второй номер Фролов позвал его:

— Товарищ лейтенант!

Андрей протянул портсигар Корягину, потом взял сам папиросу. Прикурили от одной спички.

— Товарищ лейтенант!..

— Чего у него там стряслось? — щеголяя грубоватостью, Андрей поиграл басовыми нотками голоса. — Без няньки остался. Пойди глянь.

Но сам тоже встал, вслед за Корягиным вошел в сумеречную темноту коровника, где, как амбразуры, светились дневным светом окошки в западной бревенчатой стене. На соломе лежала на боку корова со вздутым животом, закинув рогатую голову. Она услышала вошедших и замычала; видно было, как мычание проходит в ее напрягшемся, вытянутом горле.

— Ну, чего?

Фролов повернул к ним освещенное из окошка лицо. В первый момент оно показалось Андрею радостным.

— Танки, товарищ лейтенант!

— Какие танки? — нахмурясь, бессознательно-строго переспросил Андрей, будто, запретив солдату произносить это слово, можно было запретить и сами танки.

Но в тот же момент далекий железный стрекот, который он уже слышал некоторое время, не воспринимая, ворвался в уши, словно стал громче. И он особенно резко увидел это освещенное окно в стене, около которого волосы надо лбом Фролова шевелились от ветра.

— А ну пусти!

Он взялся руками за стесанный край, глянул в узкое, прорубленное в бревнах отверстие, всем лицом, сощуренными глазами ощутив в нем напор ветра, дувшего с поля, и увидел высокое небо, зеленое поле и на нем —

серые танки. Они шли по всему полю в поднятой ими сухой пыли. Андрей вскинул к глазам бинокль и эти же танки увидел притянутыми на близкое расстояние, в десять раз крупней. Освещенные солнцем, они блестяли сквозь пыль, над башнями хлыстиками дрожали антенны. За каждым танком в хвосте пыли, прячась и прижимаясь к броне, кучками бежала пехота в касках. Ветер нес железное стрекотание и рокот моторов, казавшиеся уже близкими оттого, что танки были близко видны. Холодок этого ветра Андрей чувствовал на сохнувших губах, которые беспрестанно облизывал.

— Так!..

И продолжал смотреть не отрываясь.

— Так..

Он едва успел откачнуться: коротко свистнув, разорвался снаряд близко от стены. Осколки снаружи ударили в бревна, в шиферной крыше над головой засветились отверстия, дымом заволокло окно.

— Ну, ребята, началось!— с особенной остротой ощущения, которую давала близкая опасность, крикнул Андрей. И видел в этот момент обоих пулеметчиков и себя, как он им говорит. Все это еще было важным.

На соломе забилась корова, как под ножом, подымая с земли рогатую голову, выкатывая мокрый, горящий глаз. Низко просвистело над крышей, разорвалось за коровником.

— Теперь держись!— крикнул Андрей и подмигнул. Кругом уже грохотало.— Будем отсекал пехоту. Фролов, гранаты готовы!

Корягин сорвал с себя фартук, упал за пулемет под стеной. Вскочив на кормушку, Андрей смотрел в узкое окно под крышей.

По полю среди взлетающих дымов мчались танки, с ходу стреляя. Передние были уже близко, у бегущей за ними пехоты видны были лица.

— Огонь!— Андрей сверху махнул рукой. И увидел, как на земле спина, плечи и вжатый в них затылок Корягина затряслись одной дрожью с пулеметом. На поле стали падать бегущие немцы. Их заслоняло взрывами.

Корягин что-то крикнул, показывая рукой.

— Что?— не понял Андрей. И не успел понять. Его сорвало, отбросило, ударив о землю. Со звоном в ушах он поднялся.

Вместо стены был дым, и в дыму косо висели бревна. Корягин лежал ничком, пальцы его руки последним усилием скребли землю. И, не схватывая сознанием, Андрей увидел посреди коровника маленького мокрого теленка, вскакивавшего с колен. Но тут в пролом стены сквозь дым стало вдвигаться большое, как копыта, в нем смутно угадывались очертания танка. Андрей выхватил связку гранат у Фролова, который подымался, упираясь в землю рукой, отпрыгнул к боковой стене. Темнея с каждой минутой и вырастая, танк надвигался на них. Андрей увидел все так же стоявшего на четвереньках Фролова, его белые, безумно расширившиеся глаза и, успев пожалеть его, крикнул: «Беги!» — и бросил связку гранат. Куст пламени взлетел из-под танка, но тут другой танк, отвернув башню с пушкой, всей массой, как стальной таран, ударил в стену, и крыша рухнула.

...В оседающей пыли танк, ворочаясь, выбрался из-под обломков — доски, бревна, расколотый шифер катились с него. Открылся люк, из башни по пояс поднялся танкист с загорелым, красным от жары и пота лицом, светловолосый, почти белый, в черном обмундировании. Стоя в башне, он оглядел поле боя. Несколько танков горело в клевере, но остальные, пробив оборону, шли на восток. В центре их задержала деревня. Оттуда, из садов, били противотанковые пушки. Немецкие танки, стоя дугой, вели огонь по деревне; их скошенные кормы окутывала пыль и выхлопные газы. Над полем в помощь танкам низко шли бомбардировщики с крестами. Танкист, стоя в башне, проводил их, поворачивая голову за ними вслед, и спрыгнул на землю. За ним спрыгнули остальные танкисты, разминая ноги, пошли к подорванному гранатой танку. Вокруг него уже стоял экипаж. Они поговорили, вместе соображая, что можно сделать.

На месте коровника лежали развалины: бревна, шлак, битый шифер и кирпич. Все было похоронено под ними. Уцелела только одна стена. И около нее из-под бревен видны были плечи и голова убитого лейтенанта. Ветер шевелил по истоптанной земле его длинные прямые волосы.

— О-о! — сказал танкист, первый выскочивший из башни. И все посмотрели туда, куда смотрел он. Посреди развалин, косо расставив слабые, плохо державшие его ноги, стоял теленок, маленький, еще не облизан-

ный матерью; мокрая шерсть на нем засохла на ветру и закурчавилась.

— О-о!— сказали и остальные немцы, увидев все то обилие, которое стояло перед ними пока еще в сыром виде. Светловолосый танкист подошел, поднял теленка и понес к танку, ноги его болтались на весу. Он посадил его на броню. В рокоте взревевшего мотора не слышно было слабое мычание теленка, исчезнувшего в башне. Танк ринулся вперед, догоняя другие, уже устремившиеся с поля на деревню, придавленную авиацией. Ветер подхватил и понес следом взвихренную пыль. Ветер был на земле, а в ярко-синем высоком небе стояли неподвижные, ослепительной белизны облака.

ГЛАВА XVII

Взяли их днем, когда солнце стояло высоко. В бомбовой воронке, где они скрывались, тени давно уже не было, и командир взвода Старых, раненный в голову, на жаре впал в беспамятство. На глаза его, на распухшие, черные от запекшейся крови губы садились мухи; Борька Литвак отгонял их, не мог видеть, что они ползают по нему, как по мертвому. Лежа на животе, Борька плоским штыком от полуавтоматической винтовки раскапывал стену воронки, рыхлую после взрыва, полную осколков: хотел зачем-то докопаться до сырой земли. Двое бойцов — ездовой и заряжающий, — оба низкорослые, крепкие, сидели колено к колену и тихо говорили между собой по-казахски. Солнце жгло их черные, остриженные под машинку, блестящие коротким волосом головы. Гончаров курил, сощуренными глазами смотрел за край воронки. До самого горизонта, где в желтой дымке стояли неподвижные облака, поле было скошено. Хлеб не успели убрать, не успели связать в снопы. Он лежал волнами, и среди них на стерне видны были спины убитых в гимнастерках, сливавшихся с цветом поля.

Когда немецкие танки, пробив оборону, устремились на восток, в центре их задержала деревня. Батарей Гончарова, стоявшая на огородах, и две батареи легких противотанковых пушек, замаскированные в садах, встретили их в упор. Тогда налетела авиация, все смешала с землей, и танки снова пошли в атаку. И снова отползли, оставив несколько машин гореть на поле пе-

ред деревней. Потом опять прилетели бомбардировщики, сверху пикировали на окопы, орудия смолкали один за другим. А в это время танки зашли с тыла.

Расстреляв все снаряды и подорвав орудие, отрезанный от полка, от леса, с тремя оставшимися в живых бойцами, уведя раненого командира взвода под руки, Гончаров скрылся в поле. Танки, пройдя близко от бомбовой воронки, в тумане не заметили их. Потом в воронку приполз шестой: сержант-пехотинец.

До полудня сидели молча, каждый со своими мыслями. Солнце отвесно жгло. Не приходивший в сознание Старых бредил, временами кричал, и тогда оба бойца и сержант начинали тревожно оглядываться. Потом услышали рокот мотора. Гончаров выглянул. По полю толпой шли красноармейцы, человек восемь. За спинами их двигался бронетранспортер, в нем торчали пилотки немцев и ствол пулемета. Гончаров сполз вниз. Все смотрели на него. Он еще мог приказать, и слову его подчинились бы. Он посмотрел на людей. На шестерых было три карабина и наган. Хоть бы одна граната!..

Поняв, побледнев смертельно, Борька Литвак стал вынимать все из карманов, дрожащими руками рвал бумаги и запихивал в норку. Каблуком завадил их. Встал. На краю воронки уже стояли красноармейцы, из-за спин их вышел маленький немец с наставленным автоматом, показал стволом: «Выходи!» Первым полез из воронки сержант. За ним — оба бойца. Лица их были серы. За ними — Борька Литвак. Гончаров видел снизу, как сержант оступился на краю воронки, но тут же молодцевато вскочил, отряхивая ладони, испуганно улыбнулся немцу. Гончаров мучительно подбирал немецкие слова, которые вдруг забыл все сразу.

— Krank! ¹ — сказал он, показывая на раненого командира взвода. — Er krank... ²

Немец подумал, потом на каблуках, по осыпавшемуся откосу спустился вниз. Он посмотрел на раненого, снял высокую пилотку. Резко отделяясь от загорелого лба, обнажилась белая, отмокшая под пилоткой кожа лысой головы с прилипшими к ней волосиками, темными от пота. Человеческим усталым жестом он вытер лобу загорелой рукой, поглядел на мокрую ладонь и снова надел пилотку. Наверху, надвинувшись, стоял

¹ Большой! (нем.)

² Он болен... (неправильн. нем.)

бронетранспортер, мотор его работал на малых оборотах. Немец стволом автомата показал Гончарову: «Лезь вверх!» Гончаров полез. И сейчас же за спиной его раздалась автоматная очередь. Он обернулся. И видел, как на земле вздрогнул, весь дернулся Старых.

Немец вылез из воронки одновременно с Гончаровым. Не взглянув на пленных, забрался в бронетранспортер, и бронетранспортер двинулся дальше по полю, гоня пленных впереди себя. Они проходили мимо убитых, лежавших под солнцем на жаре. Когда на поле падалась валявшаяся винтовка, водитель гусеницей наезжал на нее. Потом пошла черная после пожара земля. И на этой земле, сгоревшей до корней трав, стояли сгоревшие немецкие танки. Гончаров и бойцы узнавали их. Бронетранспортер прибавил скорость. Пленные бежали. Он гнал их к лесу, все прибавляя скорость, и они бежали молча, и двое раненых среди них бежали, стараясь не отстать. На опушке стояло человек двадцать пленных. Бронетранспортер подогнал их сюда и свернул обратно в поле, а к ним подошли другие немцы. Двое, старый и молодой, переходя от одного к другому, заглядывали в лица. Пленные стояли вблизи траншеи, сутки назад вырытой ими же самими. Здесь была оборона полка, и воронки мин и снарядов сидели в земле одна на одной. В траншее, местами обвалившейся от взрывов, лежали убитые, серые, как засыпавшая их земля. Пленные старались не смотреть туда.

Немцы всё переходили от одного к другому. Остановились перед Литваком. Посмотрели на него, посмотрели друг на друга, и старый подмигнул молодому.

— Jude? ¹ — спросил он, глядя Литваку в глаза, не сомневаясь, что тот поймет.

Литвак молчал.

— Jude! — поощрял его немец, ожидающе улыбаясь и гримасничая.

Литвак молчал, только сильнее бледнел с каждой минутой.

Гончаров, стоявший через человека, шагнул вперед. Загораживая Литвака плечом, говорил:

— Это — боец мой. Солдат, понимаешь? Я — его командир. Я!

И, указывая себе в грудь, кивал немцу дружески, старался расположить его улыбкой.

¹ Еврей? (нем.)

— О-о, Kamrad! — сказал немец одобрительно, покачивая головой и тоже улыбаясь. — Я, я!..

И вдруг, отскочив, сделав выпад, ткнул Гончарова дулом автомата, как штыком, в грудь.

— Zurück! ¹ — лягнул он, весь оскаливаясь и дрожа. — Zurück!

Тем временем молодой немец, взяв Литвака двумя пальцами за гимнастерку на локте, перевел его через траншею. Там уже стояли несколько человек отобранных. Среди них был рослый плечистый командир с двумя шпалами и неспоротой звездой на рукаве гимнастерки.

Всего только узкая траншея отделила их от остальных, но все понимали, что это черта между жизнью и смертью.

Пленных погнали дальше большой толпой, а отобранные остались стоять на опушке леса у края вырытой траншеи. И Гончаров видел, какими глазами посмотрел ему вслед Борька Литвак.

ГЛАВА XVIII

Была ночь, поздно поднявшаяся луна светила косо из-за черных зубчатых вершин леса, и тень их лежала на траве, дымчатой от росы. И он увидел с закрытыми глазами, как из леса в лунный свет по росе вышел Андрей без пилотки, с рассыпавшимися волосами, и с ним была женщина. Он вел ее за руку, и они шли рядом, молодые, в лунном свете, а за ними по распрямляющейся траве стлался темный след. За двойными стеклами Щербатов тогда не слышал их голосов, видел только, что они смеются и счастливы, и отчего-то рассердился. На что он сердился тогда? Он не думал, что будет все это вспоминать. Сын тогда вошел с мокрыми от росы головками сапог, глаза его блестели, а от волос пахло вечерней сыростью, лесной хвоей, туманом — молодостью пахло. Невозможно представить себе, поверить невозможно, что нет уже этих блестящих молодостью глаз, нет этих волос, а он все чувствует их запах.

Щербатов не слышал, как появился Сорокин, но он почувствовал вдруг рядом другого человека. И как сидел в тени стога, нахмурился, чтобы не видели его мок-

¹ Назад! (нем.)

рых глаз. Сорокин подошел с тем виноватым лицом, с той осторожностью, с какой они все теперь обращались к нему, как к больному. Они скрывали от него, как погиб Андрей, они только рассказывали то, чем он, отец, мог бы гордиться и что тем самым должно было утешить его. Но там было и еще что-то ужасное, он знал, чувствовал это, а они скрывали...

«...И кровь его впитала земля...» — подумал Щербатов, а быть может, вспомнил строку забытого стиха или псалма, которых не помнил и не знал. Но она явственно звучала в нем. И, глядя в лицо Сорокину, он увидел эту сухую землю, на которой остался Андрей, увидел Андрея и зажмурился. Даже похоронить его он не мог. Все это место, на котором сражался со своим взводом Андрей и умер, не отступив, — все это было у немцев. И он остался там.

Звук голоса Сорокина сквозь мысли опять дошел до него, и он увидел его лицо. Луна невысоко стояла над полем, освещая с одной стороны прошлогодние, потемневшие от дождей стога, и при ее свете только выступавшие части лица — лоб с надбровьями, скулы, нос, шевелящиеся сухие губы — были видны и блестели, а виски, глазницы и щеки от резких теней казались запавшими, и все лицо выглядело больным. И страдание, сделавшее Щербатова мягче к людям, доступней, как маятник часов рукой, тронуло и подтолкнуло его сердце, и он впервые так близко и больно почувствовал Сорокина, своего начальника штаба, почувствовал, что делается сейчас в его душе. Но он постеснялся, никак не выразил это внешне, оставшись сидеть с наклоненной головой, так, что глаз его не было видно. И Сорокину казалось, он ждет, когда тот кончит доклад.

То, чего боялся Щербатов, о чем предупреждал Лапшина, случилось вчера на рассвете, когда соседняя немецкая армия, никак до сих пор не проявлявшая активности, перешла в наступление. Она перешла в наступление в тылу, и сразу корпус оказался в глубоком окружении, а часть танков и пехоты немцев, нанося вспомогательный удар, разрежала его. На направлении этого удара, быть может, даже на острие его оказался батальон, в который входил взвод Андрея. И теперь там был коридор, пробитый немецкими танками. По ту сторону его остался весь корпус, а по эту — отрезанный от корпуса штаб, несколько тыловых подразделений и около полка пехоты дивизии Нестеренко. Две попытки про-

рваться к своим ни к чему не привели, коридор только расширился к ночи, и внутри него текли и текли к фронту немецкие войска. Там осталась штабная рация, раздавленная танками, и связи с корпусом не было вот уже четырнадцать часов. Сорокин докладывал сейчас о мерах, которые были приняты, о посланных на ту сторону разведчиках, из которых пока не вернулся ни один. Он предлагал попытаться еще раз на рассвете внезапной атакой пробиться к своим. Щербатов поднял голову, внимательно посмотрел на него. И по глазам Сорокина увидел, что тот, так же как и он сам, понимает и знает: пробиться не удастся.

— Будем драться здесь, — сказал он.

Решение это давно сложилось в нем, но он хотел, чтоб и другие пришли к нему. Был только один достойный выход: зарыться в землю и тут, в окружении, принять бой. Жертвуя собою, связать немцев и дать корпусу оторваться и уйти. После этого боя в живых останутся не многие. Ночью, мелкими группами им, может быть, удастся просочиться сквозь кольцо, уйти в лес и начать долгий путь к своим. Надо было сообщить об этом решении Тройникову и Бровальскому на ту сторону, передать им приказ срочно сняться и уходить, оставив заслоны.

Сорокин выслушал спокойно, оглядел носки своих сапог.

— Я скажу Нестеренко, чтобы сам отобрал добровольцев, которые пойдут на ту сторону. Прислать их к вам?

— Пусть придет. Поговорю с ними.

Сорокин ушел, а Щербатов остался один. И снова мысли и образы обступили его. И вдруг нечаянно вспомнил Андрея совсем крошечного, с темной реденькой челкой на голой голове и примятыми мягкими ушами. От того времени осталась плохая фотография: запеленатый младенец, такой же, как все младенцы, с оставившимися стеклянными глазами, в них свет, как два бельма. А у Андрея были живые раскосые темные глазенки; это потом они стали серыми. Щербатов вспомнил, как в голодном двадцать втором году, в крестьянской избе, продувавшейся со всех углов, они купали его, придвинув деревянное корыто к теплому боку печи. И это крошечное тельце, когда разворачивали парные пеленки, теплые его теплом, поджатые и скрещенные, как в утробе матери, сырые ножки с шевелящимися

красными пальцами на них... Все такое маленькое, мягкое, неотвердевшее, что страшно было брать в руки. Он физически ощутил его и запах этот детский... Никому в целом свете не нужный еще, кроме них двоих, стоявших над корытом, спинами загораживая его от сквозняка... Много лет и много всего должно было пройти, пока Андрей понадобился стране и людям.

Кто-то великий сказал, что с рождением ребенка у человека появляется новый объект уязвимости. И жизнь была Щербатова в самое уязвимое место, безошибочно найдя его. Он знал, что станет с Андреем, если не будет его. Судьбы многих сыновей, не отвечавших за своих отцов, как утверждалось официально, прошли в эти годы перед глазами.

И опять, уже не впервые сегодня, Щербатов почувствовал жжение и боль в левой стороне груди и в лопатке. Он встал и начал ходить за стогом, чтобы боль не отвлекала его, не мешала думать, понять.

Что можно было сделать? Когда не ты решаешь, а решают за тебя? Не таких, как Щербатов, давило и не такие гнулись. Человек бессилен против машины. Можно было только погибнуть без смысла и пользы. Но из кого сложилась машина, кто дал ей карающую силу? Жертвы, прежде чем стать жертвами, были судьями, и будущие жертвы садились судить их. Одни помогали, другие не видели, молчали. И пришло время, когда уже необходимо стало молчать. Но раньше, раньше... Когда еще только рождалось и было слабым, как все новорожденное, то, что потом получило власть и стало над партией, над страной, над душами людей. Когда он первый раз, увидев опасность, хотел сказать, но оглянулся на соседей и промолчал. Не тогда ли он сделал первый шаг на длинном пути, который привел к сорок первому году и к гибели Андрея?

Когда Андрей был маленьким, казалось самым главным накормить его, «вложить в рот», как говорила жена. Потом стал больше, и уже другое тревожило: в рот вкладываем, а вкладываем ли в душу? В душу ему сумели вложить. Честные, чистые мальчики. Сквозь всё незапятнанным дошел до них свет Революции, и, неся его в сердце, пошли они в свой первый грозный бой...

Щербатов сел и вдруг зарыдал беззвучно, весь сотрясаясь, и слезы текли по его лицу, которое он изо всей силы сжимал ладонью.

Мать должна вкладывать ребенку в рот, пока он еще мал и слаб, отец — завоевывать для него жизнь. Не дом оставлять в наследство, а мир, в который сын, выросши, вступил бы равноправным гражданином.

Щербатов долго сидел зажмурясь. Он думал о жене. Ей еще предстояло узнать. С закрытыми глазами он увидел ее лицо, ее глаза, такие же, как были у Андрея, а теперь единственные родные глаза. Только они двое во всем мире знали, что потеряли они. И смерть сына больней и сильней, чем жизнь его, роднила их, навсегда осиротевших.

...Адъютант, по другую сторону стога стерегший каждый звук, не решаясь показываться на глаза, услышал долгий, сквозь зубы, больной стон. И опять шаги, шаги до утра.

За два часа до рассвета с той стороны пробрался разведчик, весь окровавленный, правой рукой, как ребенка, неся перед собой перебитую пулей левую руку. Он сообщил час, когда корпус пойдет на прорыв, на вырубку к ним. Морщась от боли, разулся и из сапога, из-под стельки достал записку. Под ней стояла одна только подпись — Тройникова. Второй подписи, которую и Щербатов и Сорокин ожидали увидеть, — подписи Бровальского не было.

Они не знали, что немецкое наступление застало Бровальского не в дивизии Тройникова, а уже по дороге в штаб, в полку, на который обрушился главный удар.

ГЛАВА XIX

В скопище людей, запертых в сарае, оцепленных со всех сторон, всю ночь шли разговоры. Люди переползали в темноте, ища земляков по мирной жизни, ища однопольчан, — в пустыне бедствия душа искала родную душу. Только под утро Гончаров на короткое время заснул. И увидел сон. Он увидел землю, всю залитую туманом. Земля вращалась, стеклянно блестя под луной голубые океаны и моря. И заворачиваясь в сырые туманы, она уносилась, становясь все меньше, одинокая в пустоте среди звезд. А они смотрели ей вслед, и одной щемящей болью болело сердце, и даже во сне он чувствовал плечом тепло Борькиного плеча. Но проснулся Гончаров один. Мертвые только во сне с нами вместе, в явь мы возвращаемся без них.

Бровальский же в эту ночь не сомкнул глаз. Он сидел, опершись спиной о бревенчатую стену, и думал. Жгла рана в плече, горячая на ощупь даже сквозь гимнастерку. Но сильней этой боли была другая боль. И мысль кружилась безостановочно, загнанная в один нескончаемый круг. И не раз среди пережитого, что само вставало перед глазами, вспоминал он старшего брата. Брата не тех лет, когда тот был в почете, малодоступен и суров, а последних лет, когда уже с ним все случилось и он из тюрьмы пришел к Бровальскому в его холостяцкую квартиру. В эти последние предвоенные годы он впервые за взрослую жизнь так близко почувствовал брата.

Когда бы Бровальский ни встал — очень ли рано или в воскресенье попозже, — брат уже не спал. Одетый, он сидел на заправленной кровати в немой позе человека, привыкшего подолгу ждать, у которого из всех человеческих свобод и возможностей оставлена одна-единственная: думать. Зимой светало поздно, и он сидел в темноте, не включая электричества.

На стриженной голове его постепенно отрастали волосы, и становилось видно, какие они теперь редкие. И еще продолжали лезть. С шишками на черепе, в этой позе ожидания он как-то сразу стал похож на их отца, и у Бровальского, глядя на него, сжималось сердце. Сквозь черты брата отчетливо проступали отцовские и то национальное, что раньше не было заметно в нем.

Он помнил брата два года назад, в последние месяцы перед арестом, с двумя ромбами в петлицах, с черными подкрученными усами, которые он завел еще в гражданскую войну, когда денкинская пуля выбила ему передние зубы. Не лишенный честолюбия, уверенный в себе, вечно занятый, он считал время на минуты. Сейчас, зажав ладони в коленях, он сидел с опущенными плечами, а время текло мимо него.

Бровальскому казалось, что именно теперь, когда он реабилитирован и восстановлен, брат, человек самолюбивый, с еще большим рвением будет служить, вернет себе то, что у него было отнято, хотя бы чтоб доказать всем, кто на протяжении этого времени втоптывал его честное имя в грязь. Но брат неожиданно вышел в отставку. Он читал газеты, слушал радио, был в курсе событий, но на все происходящее в жизни смотрел сквозь что-то невидимое другим людям, и Бровальский чувствовал, что он весь т а м, он не вернулся о т т у д а. Как-

то раз он застал брата стоящим у окна. Тот стоял и смотрел на людей. Было воскресенье, и люди шли по улице веселые, шли семьями, и громко играла музыка, а брат смотрел на них из окна, как единственный человек, знающий, что с каждым из них может случиться. Словно должно было произойти землетрясение и исчезнуть мир, и потому особенно жуткими были эти последние минуты веселья идущих по улице, ничего не подозревающих людей.

Впервые Бровальский понял, что происходит в душе брата, и испугался. Потому что с этим невозможно было жить. Он понял, что все его усилия вернуть брата к жизни, все это бессмысленно и безнадежно. А в то же время сам он, человек физически и духовно здоровый, не мог стать иным. Он делал то же, что делает большинство людей, охраняя свое духовное здоровье: не замечал. Инстинктивно старался не соприкасаться со всем тем, что могло это духовное здоровье нарушить. Спортсмен, лыжник, отличный наездник, не раз завоевывавший призы, он привык чувствовать себя человеком, показывающим пример. Но, входя в дом, он весь поникал в присутствии брата, начиная под его внимательным ироническим взглядом стыдиться в себе того, чем в обычной жизни гордился. И чем сильнее сознавал он свою вину, тем неудержимей хотелось ему вырваться на свежий воздух и там вздохнуть полной грудью.

Брат почти никогда не говорил о том, что было с ним. А если рассказывал все же, то не в связи с каким-то событием, что-то напомнившим ему, а в связи со своим ходом мыслей, не прекращавшимся в нем. Так, однажды, щурясь на блестящий стеклами книжный шкаф, отчего казалось, что он улыбается, рассказал, как уже после всего, когда их троих — его, комиссара и начальника штаба — оправдали, председатель трибунала сказал начальнику штаба: «Как же вы сможете смотреть в глаза своим товарищам, которых оклеветали? Как вы с этим в душе останетесь жить?» И тот потом сел, стриженный и седой, и заплакал.

— Ты мне о нем не говори! — сказал Бровальский, покраснев. — Он — сволочь, и его слезы — вода!

Но брат странно как-то посмотрел на него:

— Да? Ты так думаешь? Тогда я тебе расскажу, как он подписал. Пока от него добивались показаний на комиссара и на меня, он держался. Но потом его привели на допрос, и он услышал в соседней комнате голос своей

жены. И тогда он подписал все. Кстати, полковник, который спросил его, как он теперь сможет с этим в душе жить, я его, этого полковника, встречал раньше. Только он тогда был майор и допрашивал меня.

И брат улыбнулся своей тихой, страшной улыбкой.

— Между прочим, ордер на мой арест знаешь кто подписал?

Он назвал имя известнейшего военачальника, в свое время героя, а теперь расстрелянного как враг народа.

— Только не думай, пожалуйста, что он действительно враг. Он просто в какой-то момент решил, что можно пожертвовать мною и тем самым спасти себя. Не для себя — для великой цели. Для которой он — важнее, чем я, и не понимал, что, подписывая мне приговор, он уже подписывает приговор себе. Так бывало. Когда люди, молча отвернувшись, приносили в жертву одного, они тем самым утверждали право с каждым из них расправиться в дальнейшем. Все начинается с одного. Важен этот один. Первый. Стоит людям отвернуться от него, молча подтвердить несправедливость, и им всем в дальнейшем будет отказано в правах. Что трудно сделать с первым, то легко в дальнейшем сделать с тысячами.

...Только теперь смутное беспокойство, сознание ложности того, что он делал, внезапно поразило Бровальского. Всегда чем разительней и несовместимей с общим строем жизни были отдельные факты, тем сильнее подымалось в Бровальском противодействие. Не самим фактам, а возможности принять их за проявление чего-то более глубокого. Он гордился своим умением, а в силу своей должности и людей учил этому умению — видеть жизнь в ее поступательном развитии, не сосредоточивать внимания на отдельных, нехарактерных мелочах, чтобы деревья не заслоняли леса. И вдруг он впервые усомнился: не было ли это его постоянное стремление пройти мимо, не замечать, не соприкоснуться со всем тем, что как-то могло нарушить его духовное здоровье, стремление, такое естественное для людей, некая защитная реакция здорового организма, не было ли это еще и чем-то иным, таким, о чем сейчас страшно было подумать ясней?

Он завозился на земле, стараясь подавить в себе эту мысль, но мысль уже возникла в нем. И, как живая жизнь, которая, зародившись, уже не могла исчезнуть бескровно, она росла в нем и развивалась тем больней, мучительней, чем яростней он сопротивлялся. И боль,

производимая ею в душе, была сильнее боли от раны. Бровальский заскрипел зубами. Ему казалось, что он только стиснул зубы, а он — застонал. Но в темноте сараю, пропитанного запахом конской мочи, невыветрившегося конского пота и человеческой крови, стон этот никто не услышал. У каждого здесь болели свои раны. Потом из темноты кто-то нагнулся к нему, без голоса, одним хриповатым дыханием спросил:

— Прикурить не найдется?

Здоровой рукой Бровальский достал из кармана галифе никелированную немецкую зажигалку, подаренную ему кем-то из штабных, в свою очередь раздобывших ее у разведчиков, протянул. Вспыхнувший бензиновый огонек осветил снизу шевелящиеся ноздри, толстые, всасывающие воздух губы с сигаркой в них — верхняя была пересечена шрамом и раздвоена. В сумраке угадывались дюжего склада плечи и красноармейские петлицы на засалившемся от пота отложном воротнике.

Огонь погас, только светился в темноте красный уголек сигарки, роняя искры. И тот же, показавшийся Бровальскому приятным хриповатый голос, дыша мажорочным дымком, сказал:

— Хороша у тебя зажигалочка... комиссар... -

Он поиграл ею на ладони, испытывая Бровальского, как бы раздумывая: отдавать или в карман положить? При свете разгоревшейся сигарки Бровальский близко увидел ежившиеся усмешкой двойные губы, узкие от ненависти чужие глаза. Глаза сказали: «А не скрылся, комиссар. Узнал я тебя...» Бровальский нераненой рукой перехватил его руку, выворачивая, потянул к себе. Зашуршала в сене упавшая зажигалка. Какой-то момент они боролись молча, только сигарка вычерчивала огненные зигзаги в темноте. Широкая в запястье рука вырвалась без большого усилия, и уже издали голос предупредил, грозясь:

— Но-но! Полегче!.. Ты эти привычки-то бросай!..

Никогда еще Бровальский не испытывал такого нестерпимого желания бить. И внезапная ненависть разрядила душу. Именно сейчас, когда не в его силах исправить, начать заново, он не отрекался ни от чего. Только предатели в момент поражения сразу начинают понимать всё задним числом. В его жизни было много такого, что не раз еще повлечет за собой молодые, честные души, то главное, ради чего человеку стоит жить.

И всю эту тяжкую ночь среди засыпавших и просыпавшихся курить, мучимых тревогой людей, стонавших, бредивших, даже во сне не помирившихся с пленом, он не спал, терся спиной о бревенчатую стену, и жар от раны в растревоженном плече подымался в нем. Ссохшимися губами пил сквозь щель похолодавший к утру, несший привкус росы ветерок, пил его и не мог напиться.

Утром всех пленных выгнали из сарая. И в этот момент, когда они, скапливаясь в воротах, из темноты выходили на белый, бьющий в глаза свет жаркого утра, они чувствовали со сжимавшимися сердцами, как переступают невидимую грань, за которой каждый вооруженный немец становился властным в их жизни и смерти. Все, что до сих пор охраняло и защищало их — закон, порядок, привычки и умение, оружие, которое недавно еще было в их руках, — все это осталось в прошлой жизни, и не было ничего, кроме сознания своей беззащитности. Не было еще сложившегося опыта, не было человека, который бы в эту первую страшную минуту сказал им, что и это можно пережить, а были немцы с автоматами на груди, и в касках, редким оцеплением стоявшие от самых ворот, вольно расставив ноги, пропуская пленных сквозь строй. И каждый под их взглядом, глядящим поверх голов, инстинктивно жался в середину, стараясь стать незаметным.

Проходя в общей толпе, сжимаемый с боков и вместе с тем выдавливаемый из середины к краю, Бровальский, оборонявший свое раненое плечо от толчков, вглядывался в равнодушные под касками лица немцев и их протянувшийся строй. Потом пленных построили в две шеренги, и тут только Бровальский увидел, как непорочно изменились люди за одну ночь. У многих, как они спали на сене, пилотки были натянуты на уши, иные были без обмоток и концы портянок торчали вверх из зашнурованных ботинок. Он видел командиров со всеми знаками различия, особенно подчеркнuto сохранявших здесь, в плену, достоинство и выправку, но больно поразили глаз двое-трое в красноармейском обмундировании не по росту, из которого они вылезали всеми суставами. Они старались выглядеть особо жалкими, а выглядели переодетыми. Но во всем этом многообразии и непохожести отдельных людей было уже что-то общее, появившееся за эту ночь. Как за одну ночь на бритом лице проступает щетина, старящая и делаю-

щая его однообразно-серым, так в опущенных взглядах, в обостренном ожидании толпы проступило то главное, что отличает пленника от вольного человека.

Пленным красноармейцам казалось, что сейчас, когда их выгоняли из сарая, начнется самое страшное. И все их душевные силы к этому моменту напряглись. Но время шло, а они всё стояли посреди улицы на белой от солнца пыли, и солнце, подымавшееся все выше, палило сверху непокрытые затылки и мокрые, подсыхавшие раны, на которые во множестве, жужжа, липли мухи. По всем человеческим понятиям, от которых они не могли отрешиться, как не могли они сейчас не думать о себе, когда для каждого из них совершалось самое главное, по всем прежним понятиям не было никакого смысла и нужды в этом их бесконечном стоянии на жаре. И оттого, что смысл этот, казалось им, должен все же быть, они искали его, страшась и мучаясь, изнуря себя, придумывая самое худшее.

Прямо против них на деревенской площади, где еще уцелели коновязи, изгрызенные лошадьми, среди сухого помета и воронок от снарядов стояла солдатская кухня и повар-немец мешал в котле что-то густое, обдающее паром. Тут же горели два высоких костра; пламя и искры взлетали выше немцев, окруживших огонь и стоявших лицами к нему. На одном, завалив соломой, опаливали целую свинью. На другом костре несколько немцев, скинув мундиры, в рубашках и голые по пояс, жарили большие куски свинины, то всовывая их в огонь на шомполах, то выхватывая и что-то крича. Сочащиеся свежей кровью куски мяса, облитые растопленным салом, блестели; блестели потом и жиром разгоревшиеся от огня лица немцев и их голые на солнце тела, а запах жарящейся свинины и дым относил в сторону пленных. И они, голодные, стоящие под солнцем с пересохшими от жажды ртами, старались не смотреть в ту сторону. Им казалось, что все это делается не просто так, а в какой-то пока еще непонятной связи с ними. Каждому из них, единственно знавшему, что такое была его жизнь, видевшему сейчас весь мир и все происходящее сквозь нее, как сквозь увеличительное стекло, невозможно было ни отрешиться, ни понять, что немцы могут сейчас делать что-то не в связи с ними. Что все обстоит проще и хуже. Не только отдельная жизнь кого-то из них, но и жизнь всех их вместе, стоящих под солнцем, просто не интересуется их. Для немцев эти пленные были

все на одно лицо и не отличались от сотен других пленных, которых они уже видели, и видели не раз, и еще увидят. Что с ними сделают — это не их дело. После вчерашнего боя, где каждый из них мог погибнуть и не погиб, они особенно остро ощущали полноту жизни в этой разрушенной русской деревне. И интересовало их только то, что имело отношение к ним самим: свинина, которую они жарили на костре и готовились есть. Присутствие пленных только сильнее давало почувствовать эту полноту жизни, их торжество и право, древнее право победителей пользоваться жизнью.

Постепенно жара, сушь и отвесно палящее солнце делали свое дело. Раненые начали падать тут же в пыль. И вид упавших возбуждал в живых защитное действие. Сосредоточиваясь на главном, суживая в себе будущее до нескольких часов, которые надо было выстоять, люди тупели, словно наяву впадали в спячку, не подозревая даже, что сейчас вырабатывается в них первый опыт, который наименее нервно организованным и самым сильным физически поможет пережить все и плен тоже.

Бровальский по всем приказам и действиям немцев хорошо знал, что ему — комиссару еврею — жить осталось меньше других. Но хотя он не только знал это, но и нашел в себе мужество не обманываться, он в первые минуты пережил то же, что и все. И только после, поняв это, в душе усмехнулся над собой. В том высоком состоянии духа, в котором с ночи находился он, главным была не его собственная жизнь, а вот все же цеплялся за нее, как цепляется больной за руки врача, выдергивающего у него измучивший зуб.

Он стоял в общей толпе, по временам облизывая сухим языком растрескавшиеся от жара губы. Жар этот от раны он чувствовал во всем теле, особенно в костях, в глазах и голове, и ему с каждым часом все тяжелей было стоять под солнцем. И уже несколько раз бывали моменты, когда он словно засыпал вдруг, все уходило, и сразу становилось легко, начинало клонить, клонить, будто проваливался. Вздрогнув, очнувшись, он с сильно бьющимся сердцем испуганно оглядывался, боясь, что стоявшие рядом бойцы видели его слабость. Его мучило от запаха жарящегося сала, и он единственно старался не смотреть туда, куда жадно смотрели глаза многих. Там, посреди площади, был низкий деревянный сруб колодца с журавлем и висевшей в воздухе деревянной

бадьей, с вросшим в землю каменным обомшелым ко-рытом для скота. А вокруг колодца мокрая земля была размешана в грязь множеством сапог и кое-где в сле-дах блестела вода. На нее-то, на эту мокрую землю, смотрели сотни глаз пленных, стоящих на жаре. Бро-вальский усилием воли заставлял себя не смотреть туда.

Какие-то немцы в военной форме, особенно верткие, с фотоаппаратами и кинокамерами засновали в толпе пленных, кого-то отбирая и выводя. Они быстро при-ближались, и с ними вместе приближалась тревога по рядам. И вот один стал перед ним. Это был молодой не-мец, длинный, узкогрудый, с большим кожаным ящи-ком на боку и цыплячьей, вытянутой вперед шеей. Бро-вальский близко от себя увидел его лицо, которое могло быть сейчас лицом судьбы. Оно было все в коричневых, слившихся пятнами веснушках, даже оттопыренные под пилоткой уши были покрыты коричневыми пятнами. И на этом лице с рыжими глазами озабоченно моргали белые от корней ресницы. Глаза, перебежав, задержа-лись на Бровальском, и Бровальский почувствовал, как из всего того, что составляло его сущность, они избира-ют какой-то один нужный сейчас признак, по которому предстояло решить, подойдет он или не подойдет. И в бесконечную долю секунды, пока это решалось, все в нем напряглось и ждало. Немец шагнул дальше и че-рез несколько человек от Бровальского вывел из толпы красноармейца, маленького, черного, без пилотки и без ремня, необыкновенно грязного, в пропотелой и заса-лившейся на лопатках гимнастерке. Он вел его перед собой, как пойманную удачу, одной рукой уже рассте-гивая кожаный ящик на боку, другой цепко держа его за рукав. Остановив у колодца, где уже стояло несколь-ко пленных, выведенных из рядов, немец заслонил его спиной и, весь изгибаясь, нацелился на него фотоаппа-ратом и так, и так, и так. И отпустил. Он ничего не сде-лал, только сфотографировал его, а красноармеец шел обратно как пьяный. И когда подошел ближе, Броваль-ский увидел то решающее, тот самый признак, по кото-рому выбрали не его, а этого человека. Лицо красноар-мейца с явными чертами монгольской расы было непра-вильной формы. Словно в детстве, когда кости еще мяг-ки, ему надавили на левую сторону лба, и все смести-лось косо: и брови, и скулы, и широкий нос. Но на этом лице, бледном сквозь желтую от загара кожу, большие

черные, растерянно смотревшие на людей глаза сияли таким счастьем, что, уродливое, оно казалось сейчас прекрасным. Это возвращался человек, оставшийся в живых.

Осененный догадкой, Бровальский вглядывался в лица бойцов, которых выводили из строя, фотографировали и возвращали назад. Во всех в них были следы каких-либо физических недостатков. При этом они, как правило, были коренастые, крепкие, способные нести тяжелую работу. И он понял, что происходит.

Он вдруг увидел эту огромную машину, начинавшуюся фронтом с его ползущими вперед танками и идущими в атаки автоматчиками, машину, переминавшую и выбрасывающую назад все, что попадало под ее гусеницы. Она кончалась где-то очень далеко позади, эта расплзшаяся по земле машина, но то, что он видел сейчас, здесь, было ее составными частями, крупными потому только, что он видел их вблизи, а единицей измерения была его жизнь. Как первые солдаты еще в бою снимают с пленных часы, отбирают авторучки и портсигары, так эти, из роты пропаганды, в ближнем тылу, снимали с пленных дальнейшее, продолжая процесс переработки. Они не стреляли ни в кого, не мучали, не убивали, иным пленным даже давали по сигарете. Они только фотографировали особым образом и по особому отбору. Но эти их фотографии и кинокадры, составленные вместе, должны были дать машине горючее, необходимое для ее бесперебойного действия. Показанные в тылу и в окопах кадры эти должны были возбуждать не только сознание расового превосходства, но и утвердить в мысли, что совершающееся убийство оправдано и необходимо. И те, кто на фронте стрелял в вооруженного противника, рискуя при этом собственной жизнью, с кого каждодневная опасность и простые понятия солдатского долга и чести как бы полностью снимали ответственность и вину, и те, кто в тылу, в безопасности, расстреливал безоружных, руководствуясь приказами начальства и тоже понятиями долга и чести,— разные части одной машины уничтожения, не виноватые ни в чем, если бы это были пригнанные друг к другу металлические шестерни, и виновные, поскольку это были не шестерни, а люди, соединившиеся вместе и вместе делавшие одно общее бесчеловечное дело,— всем им, и тем, кто приказывал, и тем, кто приказы выполнял, эти кинокадры и фотографии должны были дать еще

одно необходимое подтверждение. Изготовленные особым образом, они должны были наглядно, осязаемо утвердить всех в представлении, что люди, которых они вместе убивают, в сущности, не люди, и к ним, к низшей расе, неприменимы те представления и нормы, которые они применяют к себе. Дерево не может чувствовать боли, как чувствует ее человек. И хотя внешнее человекоподобие смущает и вызывает ложные чувства, всех этих физических уродов с явными признаками вырождения и дегенерации, всех этих недочеловеков, как бы это ни было неприятно по причинам, не имеющим к ним никакого отношения, всех их надо уничтожать, как уничтожают крыс, вредных насекомых и сорняки, выпалывая, сжигая и тем очищая землю, чтобы на ней росло только сильное и здоровое, единственно имеющее право на жизнь.

Бровальский понял это внезапно, не столько мыслью даже, как чувством, внезапным озарением и ненавистью, поднявшейся в нем. Но пленный красноармеец, которого сфотографировали и отпустили, возвращался в строй с сигаретой в руке и счастливой, пристыженной улыбкой, мучительно комкавшей его лицо.

За деревней уже некоторое время раздавался треск мотоциклов и короткие пулеметные очереди. Как на мотодроме, он то усиливался кругообразно, то отдалялся. И вдруг в просвет между разрушенными домами вырвался мотоциклист с бегущим впереди красноармейцем. Мотоциклист гнался за ним по полю, по неровной земле, виляя передним колесом, и давал пулеметные очереди. Красноармеец кидался от них в стороны. В распоясанной гимнастерке, прилипшей от пота между лопаток, прижав локти к ребрам, он бежал горлом вперед, словно стремился вырваться из своих тяжелых, трудно отрывавшихся от земли сапог. И тут второй мотоциклист, налетев сбоку, погнал его в другую сторону.

Немцы на площади, давно кончившие опаливать свинью и обмывавшие ее у колодца, теперь стояли и смотрели. Один из них, огромный, в расстегнутом на жару мундире, с мощным животом, как обмывал свинью, так сейчас держал ее в одной руке на весу, поставив мордой на землю, мокрую и белую, с перерезанным горлом, по которому растекалась размытая водой кровь. Бровальский не видел, когда к ним подъехала

легковая машина и из нее вылез офицер. Расставив ноги в бриджах, в высокой фуражке на голове, с руками назад, он тоже стоял и смотрел.

Площадь вдруг взорвалась здоровым хохотом: это красноармеец упал и, оглядываясь на мчащегося на него мотоциклиста, поспешно и страшно медленно подымался с земли. Мотоциклистов было уже трое, вместе они гоняли его по кругу, передавая один другому и снова устремляясь на него издали и стреляя. Немцы на площади, войдя в азарт, хохотали и кричали, как на стадионе. Присутствие пленных, стоявших под охраной, придавало зрелищу особую остроту, и каждый из немцев в отдельности и все они вместе, со свиньей, которую держали за задние ноги вверх, были олицетворением солдатского немецкого духа, здоровой немецкой плоти.

Бровальский глянул на пленных. Десятки разных глаз со страшным напряжением смотрели на поле. И то, что происходило там, происходило в них самих. Но уже некоторые не смотрели туда. Отведя глаза, они стояли с замкнутым, беспокойным выражением, как бы не присутствуя при этом. Мысленно они уже отдали этого красноармейца и отделились, боясь только, как бы все связанное с ним не перенеслось на них. И вот это было самое страшное: разделение, начавшееся в людях, производимое одним из колес работавшей машины.

Красноармеец опять упал, но поднялся и теперь бежал сюда, а за ним, для большего устрашения пригибаясь к рулю, несся мотоциклист, под громкий хохот на площади. Бровальский увидел резко лицо красноармейца. Белое, выстиранное потом, с провалами глаз и щек, с черным провалом рта, захватывающего воздух, с выступавшими в расстегнутом воротнике мокрыми ключицами. Задышающийся, загнанный до той стадии, когда человек ничего уже не способен понимать, а может бежать только, пока не упадет, он бежал на них. Он был одним из них, такой же, как они, он был их частью, но только они стояли под охраной, а за ним гнались на их глазах. И он бежал сейчас к ним. Но тут другой мотоциклист, с треском вылетев из-за дома, перерезал ему путь и погнался обратно в поле.

И в тот же момент Бровальский, порвав в себе общую цепь, сковавшую всех, вышел из рядов мимо часового. Он шел через площадь, неся прижатой к телу правую раненую руку, не думая о том, что в него могут вы-

стрелить или остановить. Шел, как человек, имеющий право. Если бы он метнулся или побежал, в часовой сам собою сработал бы древний инстинкт, наиболее остро проявляющийся в собаках и в людях при виде бегущего. Но Бровальский не бежал и шел не от опасности, а к ней по прямой через площадь, сокращая расстояние. И часовой, для которого и он и все пленные только что были общей толпой, над которой он чувствовал неизмеримое превосходство вооруженного над невооруженным, шел за ним с наставленным автоматом, не решаясь сделать что-либо, словно конвоировал его.

На площади немцы тоже увидели и оборачивались, иные с интересом ожидая, что их еще повеселят. Они были все вместе и вооружены, а он один, ранен, и солдат с автоматом шел за ним, не отпуская далеко. И все же что-то в этом раненом командире, который один шел на них, было такое, что передавалось на расстоянии, как тревога.

Из всех лиц немцев, слившихся в одно, Бровальский видел сейчас только лицо офицера и в него смотрел мрачно блестящими глазами. Стал вдруг отчетливо слышен треск мотоцикла за деревней. В наступившей тишине все почувствовали: что-то должно случиться. Это чувствовали пленные, боясь и радуясь, чувствовали немцы.

— Прекратите представление! — тихо от душившей его ненависти сказал по-немецки Бровальский, настолько тихо, что никто из пленных на отдалении не расслышал. Они только видели, как он что-то сказал.

Бровальскому всегда казалось, что он живет ради людей, очень многим жертвуя для них. Он ограничивал себя во всем, что в обычном понимании называют личной жизнью. Но именно это самоограничение и четкость, постоянная внутренняя мобилизованность давно стали его личной жизнью. Он испытывал от них духовное удовлетворение такое же сильное, как и то возбуждающее на целый день физическое удовольствие, какое по утрам испытывало его тело после полуторачасовой гимнастики на снарядах и обливания ледяной водой. И может быть, впервые он не думал ни о людях, «ради которых он живет», ни о себе, ни о том, какое действие на них окажет его поступок. Он так сильно чувствовал в себе их всех, стоявших под автоматами, и того, загнанного красноармейца, все еще бегавшего по полю, их позор, и боль, и придавленную ненависть, что все, что

он делал сейчас, было его нравственной потребностью. Это была его ненависть, его позор, его боль. Он шагнул к офицеру. Среди немцев произошло какое-то движение, и краем сознания Бровальский почувствовал опасность, надвинувшуюся на него. Но на это уже не оставалось времени, он не оглянулся и не видел, что конвоир с упертым в живот, наставленным автоматом заходит сбоку. Шагнув, он увидел, как офицер высоко поднял брови, обернулся назад, словно ища кого-то, кто мог бы объяснить, чего хочет этот пленный. И Бровальский понял: немец боится позора, вооруженный боится его, безоружного, и за помощью обернулся назад. И с торжеством, с презрением и ненавистью он почувствовал в руке, как сейчас ударит его, собьет с ног. Но тут конвоир, приседая и клонясь назад, снизу вверх выпустил в его левый бок всю обойму.

С нахмуренным лицом Бровальский обернулся на него и увидел не конвоира, а увидел перед собой поле и небо. По этому полю, вставшему стеной, застыв на нем навсегда, бежал вверх красноармеец, а немец на мотоцикле преследовал его. И тут все вместе — и поле, и небо — повернулось и рухнуло.

Часа через два пленных слили с другой колонной и погнали по жаре. Конвойные, молодые немцы лет по двадцати, шли обочиной по раздавленной у края поля ржи, неся автоматы в оголенных по локоть руках. Впереди на рослом сытом коне качалась спина начальника конвоя.

Парило. Зной перед грозой стоял тягостный. Только первые ряды шагали на ветерку, а дальше поднятая ногами пыль закрывала колонну с головой и люди шли в ней вслепую, смутно видя только спины идущих впереди. По сторонам дороги валялась разбитая техника, вздутые на жаре лошади.

Гончаров шел в ряду вторым с краю. На уровне их шеренги, не отставая и не уходя вперед, шел обочиной конвойный. Расстегнув мундир до пряжки пояса на животе, красный от жары и загара, лоснящийся потом, он оглядывал пленных яростными глазами. Вид беззащитности и оружие в руке горячили его. Пленные под его взглядом опускали глаза. Впереди них уже прошла одна колонна несколько часов назад, и в кюветах лежали застреленные.

Задним рядам еще ничего не было видно, когда передние стали сбиваться, уступать дорогу: встречно идущие танки оттесняли их. Танки шли к фронту. Один за другим они стремительно возникали, серые, с раскрытыми башнями, взвихря за собой плотные клубы душной пыли. И оттуда, из пыли, покачивающейся пушкой вперед возникал следующий танк с танкистом, стоящим в башне перед открытой крышкой люка. Оглушенные ревом моторов, обдаваемые выхлопными газами и жаром, пленные шли по трясущейся земле.

Вдруг один танк свернул в толпу. Люди шарахнулись от него, сыпанули в рожь. Живой крик ужаса взметнулся над ревом моторов. Танк выполз на дорогу, одна гусеница его была мокрой, мягкая пыль, прилипая, наматывалась на нее.

Когда танки прошли, конвоиры, сами злые и вымещающая зло на пленных, ударами прикладов и выстрелами согнали их на дорогу. И всех их, после пережитого страха, остро воняющих потом, погнали дальше. Проходя мимо этого места, пленные расступались, обходили то, что осталось в пыли. Позади колонны раздавались выстрелы.

Гроза, с утра собиравшаяся над полями, разразилась сразу. Стало темно, в блеске молний хлынул ливневый дождь, в момент вымочив всех до нитки. Люди шли, подставляя дождю лица, пили его, на ходу ловя струи раскрытыми ртами, обмывали дождем запекшиеся раны и ушибы.

А часом позже уже сияло солнце и от земли подымался пар. Сверкали каплями колосья, пар подымался от мокрых гимнастеров, от брони танков, ушедших уже далеко на восток. Дождь смыл с них пыль и грязь, и стальные тела их блестели.

Все ожило и запахло, и воздух стал легкий. Над дорогой, над мокрыми полями встала радуга. И под нее вытягивалась мокрая колонна пленных.

Когда же солнце село и вполне сомкнулся багровый закат, отделенный от земли полосой тумана, из хлебов, там, где прошла колонна, осторожно, по одному стали подыматься люди. В тот момент, когда танк врезался в толпу и люди шарахнулись, дав друг друга, и живым страх смерти слепил глаза, несколько человек успели все же скрыться во ржи. Они слышали, как конвоиры, стреляя и крича, вновь сбили колонну; лежа на

земле, прижимаясь к ней бьющимися сердцами, ждали, пока колонна прошла и скрылась вдали. В лесу Гончаров собрал их, всего одиннадцать человек. На месте старой обороны они отыскиали оружие, засыпанное в окопах, валявшееся на земле, и вот оно снова было у них в руках.

Дождавшись темноты, тронулись в путь. Туда, где шел бой, где была сейчас родина, — на восток, торопя восход солнца. Им предстоял путь великих испытаний и мужества, долгий путь, он только начинался. Они шли, чтобы пройти его до конца.

ГЛАВА XX

Сквозь туман уже ощущалось тепло солнца, но по-прежнему все в нем, как в воде, теряло и вес, и цвет и, удаляясь, становилось бесплотным. Ушли в засаду танки. Четыре кормы их, превратясь в серые тени, растаяли. Даже звук моторов заглох в тумане. Взвод за взводом в мокрых касках ушла по хлебам пехота в туман. И после оттуда, куда ушла она, раздались первые звуки боя.

В девятом часу туман согрелся и начал быстро подыматься. Стало видно на ближнем холме разбитое молнией дерево. Кривое и черное, оно стояло, как над обрывом на краю света, все в клубящемся тумане. Потом за ним открылась даль: ровное поле спелой ржи. Мокрое от росы и осевшего на колосьях тумана, оно, словно вобрав в себя свет, теперь излучало его, блестело и искрилось навстречу солнцу. И по этому полю на всем его пространстве бежала пехота, преследуемая взрывами.

— Гляди, гляди! — говорил Тройников, указывая рукой. Позади отступавшей пехоты на краю поля уже подымались из хлебов башни немецких танков. Он насчитал четырнадцать штук. — Гляди, Куропатенко! Неплохо идут!

Командир полка Куропатенко, гвардейского роста, щурился, постегивая себя сложенной плеткой по голенищу. Из-под рыжих усов хищно блестели прокуренные зубы. Нога, по которой плеткой постегивал себя командир полка, дрожала мускулом. Куропатенко за козырек сердито дернул на лоб фуражку:

— Пошел!

Не отрываясь от бинокля, Тройников кивнул. Глянул уже вслед. Куропатенко, сбежав вниз, прыгнул на коня, которого в поводу держал его ординарец, и, клонясь щекой к конской гриве, поскакал напрямик через поле, под разрывами, к себе на правый фланг. За ним с немецким автоматом за спиной неловко и не в такт подпрыгивал задом на седле ординарец.

Уже в бинокль видны были лица пехотинцев. Это, смешавшись, отступал полк дивизии Нестеренко.

Две ночных попытки прорваться к окруженным были отбиты. Перед утром разведчики, ходившие к немцам, принесли оттуда младшего лейтенанта. Это был командир взвода конных разведчиков Крохалев, успевший прославиться в первые же дни войны. Смертельно раненный, он еще с километр полз. Разведчики нашли его без сознания; он умер, так и не придя в себя, ничего не сказав. Было ясно: его послали оттуда и что-то он должен был передать.

В самой глубине души, так, что в этом он никому не сознался бы, Тройников уже понимал: есть сейчас только одно правильное решение. И это решение было жестоким: окруженным оставаться в окружении и вести бой, притянув на себя немцев, а корпусу срочно уходить. Но это решение могли принять только они сами, а он бросить их не мог. Не военная целесообразность, а законы воинского товарищества вступали в силу. И по этим законам уйти отсюда они могли или все вместе, или никто. Он послал к Щербатову разведчиков, назначив место прорыва и час.

После двух неудачных попыток искать счастья в третий раз на том же участке было не только бессмысленно, — это было губельно. Это значило заранее обречь себя на разгром. Но когда после двух попыток он не воспользовался ночью и не ушел, немцы должны были понимать, что он будет снова пытаться спасти окруженных. И в этой несложной партии они легко могли расчитать все его ходы. Умным легко быть, когда ты силен. Когда у тебя авиация, танки. Но авиация и танки были у немцев, а у него из всей танковой бригады оставалось четыре латаных танка, и неизвестно даже было, что правильней: то ли в бой их бросить, то ли беречь.

Он мог бы стянуть на узком участке всю артиллерию, все силы и пойти на прорыв. И прорваться. Но на это можно было решиться один раз: если бы они уже

пробивались через фронт к своим. Истратить снаряды, то есть фактически потерять артиллерию, пробиться к окруженным ценой огромных потерь и вместе с ними остаться в окружении — такая победа в тылу у немцев была бы гибелью.

Из всех вариантов он выбрал самый худший и самый простой: наступать еще раз там же, где наступал. Он не был сейчас силен, так пусть немцы представляют его слабей и глупей, чем он есть. Разведка подтвердила: немцы к этому готовились, они подтянули танки, они ждали. И весь расчет Тройникова был не на внезапность, а на то, что немцы заранее предвидят этот бой и будут действовать уверенно, не боясь неожиданностей. Ночью, в темноте они не стали его преследовать. Сейчас они неминуемо развернут преследование, чтобы довершить разгром. Тройников поставил на флангах полки Прищемихина и Куропатенко со всей артиллерией, а в центре на широком фронте должен был продемонстрировать наступление один полк дивизии Нестеренко, чтобы потом, отступая, увлечь за собой немцев в мешок. И когда они достаточно углубятся, с тыла должны были ударить Прищемихин и Куропатенко.

И вот бой этот разворачивался. Стоя на холме, Тройников видел его в бинокль. Он видел, как по полю в высоких некошенных хлебах бежит пехота, и среди бегущих взлетают из земли взрывы, и люди падают, и из тех, кто упал, многие остаются лежать, а другие пробегают мимо. На плане стрелки и значки были условного цвета, а отступление это было ложным. Но для людей, которые бежали, смешавшись под огнем немецкой артиллерии, смерть оставалась смертью и кровь была своего единственного красного цвета. Не некие безымянные потери, а живые люди бежали по полю, и в бинокль попадали их лица, запаленные, облитые потом, хватющие воздух раскрытыми ртами. Они оборачивались на бегу назад, откуда танки стреляли им вдогон.

Туман растаял в вышине под напором солнца, и пасмурный поначалу день осветился. Поле ржи было видно теперь до края; там показались уже мотоциклисты. Ныряя в хлебах, давя их колесами, мотоциклисты входили в прорыв. Они уже достигли той черты, на которой остались лежать первые убитые в бою красноармейцы. Наши батареи через головы бегущих били по немцам заградительным огнем, кучно взлетали разрывы, но мо-

тоциклисты, как нагрянувшая саранча, скакали по неровной пахотной земле из разрыва в разрыв, мчались вперед, оставляя позади опустошение: вытоптанное, поваленное хлеба. Пыль, поднятая каждым колесом, относимая ветром назад, разрастаясь и сливаясь, сплошной косою завесой, подымавшейся к небу, закрывала даль. И из этой пыли выскакивали всё новые мотоциклисты, маленькие и верткие, а сзади уже маячили, как в дыму, тяжелые крытые машины с пехотой. Вся эта масса войск, разлившаяся на широком пространстве, устремилась в преследование, не слезая с колес. Брешь в обороне засасывала их, втягивала в себя.

Каменно сжав челюсти, Тройников смотрел не отрываясь, боясь только одного: как бы немцы не изменили своих уже обнаружившихся намерений.

— Хорошо идут! — сказал он и, обернувшись, оглядел командиров светлыми глазами. — Слаженно действуют, сволочи!

— Еще б не слаженно! — обиделся стоявший рядом подполковник-танкист. Упершись руками в бруствер траншеи, он смотрел на немецкие танки, вздрагивая от возбуждения большим телом, как от озноба. — У них все команды по радио, а у меня четыре танка осталось, и те нерадийные. Надо команду передать — высываешься из люка, машешь флажками: «Делай, как я!» Вот он меня вчера и сжег в этот самый момент.

Но тут какой-то артиллерист удачными выстрелами поджег сразу две машины с пехотой, и внимание всех переметнулось туда. Было видно, как из огня выскакивают уцелевшие немцы.

— Обнаглели окончательно.

— Воюют прямо с машин... Чтоб и сапог не запылить...

Тройникова соединили с Прищемихиным. Он говорил, а внимание и мысль были прикованы к бою.

— Прищемихин? Ну как у тебя? Спокойно? Угу...

Во фланг немцам выскакала по хлебам батарея семидесятишестимиллиметровых длинноствольных пушек — четыре конных запряжки. Командир батареи, не слезая с седла, — под ним была тяжелая артиллерийская лошадь с белым животом и белым боком — на виду у немцев смело разворачивал орудия.

— Тебе движение пехоты и танков видно?

Ударили орудия во ржи. Командир батареи, на коне поднявшись на стремянах, что-то кричал и яростно,

плетью указывал на танки. В какой-то момент он обернулся, и Тройников увидел его молодое в азарте боя лицо.

— Молодец!— сказал он в трубку, наблюдая стрельбу.— Не тебе, Прищемихин, это тут... А ты — дай, дай втянуться ему. Пусть втянется... Не горячись...

Один из танков заметался по полю, из кормы его тек черный дым. Резко меняя направление, он кидался в стороны, словно это, дымившее сзади, жгло его. Батарейку заметили, несколько танков повернули на нее. Но орудия стреляли безостановочно.

Вдруг между батареей и танками Тройников увидел ползущую во ржи медсестру. В каске на голове она ползла на четвереньках, коленями и ладонями переступая по земле, а на спине ее, ничком, с повисшими вниз волочащимися руками лежал раненый, забинтованная голова его, как неживая, перекатывалась по ее голове.

Из желтой ржи перед батареей взлетели вверх черные взрывы, танки били по ней. Медсестра остановилась. Как собака со щенком в зубах, она озиралась загнуанно, стоя на четвереньках. Хлеба стеной обступали ее, она ничего не видела в них ни перед собой, ни сзади. И встать тоже не могла: раненый лежал на ее спине.

С трубкой в руке, забыв про Прищемихина, Тройников обернулся, ища глазами, кого бы послать к ней, но увидел только запрокинутые вверх головы: доньшки фуражек и пилотки, придерживаемые руками. На высоту, зайдя с тыла, пикировал самолет. Тройников увидел его в тот момент, когда от него оторвалась и косо летела вниз бомба.

— Кажись, наша!..— пристыженно засуетился вдруг подполковник-танкист, оглядываясь на всех. И эта растерянная улыбка на грубом мужественном лице и виноватый голос — было последнее, что видел и слышал Тройников. Дальше был свист, удар и удушливая темнота.

Стоя в окопах, лежа в хлебах, пехота ждала на расстоянии одного броска от немцев. Рассвело. Туман держался, затопив лога и низины, но на поле он заметно редел. Из него проступали мокрые дымящиеся спины

стогов. Бой шел на той стороне уже около получаса. И вот ударили орудия на фланге: Прищемихин начал артподготовку. Полковые пушки отсюда жиденько поддержали его: снарядов было мало.

Стоя в траншее, Щербатов вслушивался в звуки боя. От толчков воздуха с наклоненной фуражки его осыпался песок. Солнце, вставшее до половины из тумана, светило ему под козырек, и этот утренний мягкий свет не смягчал его сурового лица, изменившегося за одну ночь.

На той стороне смолкла артиллерия. Наступила мгновенная тишина: это пехота пошла в атаку. Щербатов поднял голову и прямо перед собой увидел солнце, которого сегодня уже не увидел его сын. В этот момент он не думал об Андрее, он все время чувствовал его в себе. Сощуренными глазами он оглянулся вокруг. Ближе от него стоял Нестеренко с биноклем на груди, нахмуренный и решительный; на его красном лице отчетливой была седина на висках. Он увидел молодые лица солдат, освещенные утренним светом. Он был старше их не на годы — на целую жизнь, и он вел их в бой. Он всех их чувствовал сейчас своими сынами, вообразил их в себя. И сильный, страстный свет зажегся в его душе.

Только адъютант, стоявший рядом, услышал, как он сказал «Пошли!», и, вздрогнув радостно, сдернул с шеи автомат. Но все увидели, как командир корпуса поднял в вытянутой руке пистолет и махнул им. И люди полезли из траншеи, из окопов, спеша друг перед другом.

Они шли в пшенице по грудь, цепью, подравнивая шаг, а впереди них еще взлетали последние разрывы. Кто-то сунул в руки Щербатову винтовку, и он, спрятав пистолет, взял ее. И когда он почувствовал ее в руках — ствол с накладкой в одной и шейку приклада — в другой, у бедра, что-то прежнее, привычное, что невозможно забыть, сквозь годы вспыхнуло в нем. Слово было это не сейчас, а давно, и вот так же в пшенице шли они цепью в атаку с винтовками наперевес. И вместе с ним шли все те, кого уже не было в живых.

Он явственно ощутил их сейчас рядом, тех, с кем связан был жизнью навсегда. Они шли с ним в одном строю, нерасстрелянные, оставшиеся живыми среди живых, старые коммунисты, правдой своей, верой своей

ведя в бой молодых. И он знал сейчас непреложно — через страдания и кровь, через многие жертвы, так же неостановимо, как восходит солнце, взойдет и засияет людям выстрадавшая ими победа.

Кто-то побежал вперед, сломав строй. Но Нестеренко оглянулся свирепо и крикнул. Они встретились глазами. И ту страсть, которая сейчас горела в нем, Щербатов увидел в орлином, веселом взгляде Нестеренко. Они шли в бой. И только одного счастья лишила его судьба: идти в этот бой рядом с сыном.

ГЛАВА XXI

Очнулся Тройников под вечер в лесу. Сквозь черный движущийся жирный дым он увидел красное солнце. Оно повисло неподвижно между стволами голых сосен, и дым тек по нему, заслоняя. Впечатление красного света солнца и черного дыма и то, что сам он лежит на земле, тревожно подействовало на Тройникова. Упираясь ладонями в землю, он сел, и сразу тошнота поднялась в нем, все закружилось, поплыло перед глазами. К онемевшему лицу, к губам горячо, до выступившего пота прихлынула кровь, горячим звоном налились уши. Он сидел слабый, привалившись к дереву спиной, постепенно приходя в себя.

Солнце висело низко. Он видел в последний раз это поле, когда по нему ползли танки, мчались в хлебах мотоциклисты и под разрывами бежала пехота... Сейчас только черный дым подымался от земли. У Тройникова от слабости кружилась голова, и освещенное красным светом поле боя медленно поворачивалось перед глазами. Сквозь звон и глушь в ушах он услышал в лесу громкие приближающиеся голоса.

...— Где он? Живого видеть хотим!

Это был голос Нестеренко. Он и командир корпуса шли сюда по лесу.

— Живой, Тройников? — издали кричал Нестеренко. — Вот живого тебя видеть рад. На своих ногах. До чего ж мне сегодня лежачих видеть надоело — сказать тебе не могу!

Он еще что-то говорил, но Тройников разбирал не все. Стыдясь своей слабости, он пытался встать перед командиром корпуса.

— Сиди! — приказал Щербатов.

— Земля подо мной что-то... — словно оправдываясь, сказал Тройников. Но в груди его задрожало, затряслось непривычно, будто он всхлипнул, и Тройников с испугом почувствовал, что заикается, не может выговорить слова. — ...Земля подо мной непрочная...

— Сиди, раз качается! — стоя перед ним, шумно говорил Нестеренко. И, заметив напряженный, как у глухих, взгляд Тройникова, смотревшего не в глаза ему, а на его шевелящиеся губы, Нестеренко повысил голос: — Тут тебя, рассказывают, как того фараона египетского при раскопках, откопали. Доставали из-под земли по частям.

Красное в свете солнца старое лицо Нестеренко улыбалось ему. Но Тройников, пораженный тем, что произошло с ним, с большой осторожностью и медленно, весь сосредоточиваясь, снова повторил ту же фразу:

— Земля подо мной непрочная... Качается.

И посмотрел на них, читая по лицам.

— Теперь-то уж она утвердилась, не качается больше, — сказал Нестеренко, отведя глаза. — А весь день ее, правда, трясло.

— Значит, пробились, — сказал Тройников, сильно растягивая слова.

— Пробились. Тряханули немца неплохо. Вложили ему памяти на данном этапе, чтоб забыл не враз.

А Щербатов смотрел на него.

— Хорошо воевал, полковник, — сказал он. — Умно воевал.

Вдруг лицо командира корпуса переменялось, выражение боли отчетливо проступило в нем. Тройников посмотрел туда, куда смотрел он. Но ничего, что бы могло это вызвать, не увидел. Около них стояла медсестра, доставая бинты из санитарной сумки.

А Щербатов странно как-то смотрел на нее. Девушка была без шапки, короткие волосы с затылка падали ей на глаза. Нагнув черноволосую голову, расставив ноги в сапожках, она рылась в санитарной сумке у себя на бедре. Холщовая лямка косо перерезала ей грудь, наклоненное лицо было освещено красным светом солнца, а на верхней губе блестели капельки пота.

На миг она показалась ему той, что шла с Андреем в лунном свете, держась за его руку. Если б она была та,

она стала б ему сейчас родней дочери. Но та была светленькая, вся в кудряшках.

Гибким движением медсестра стала перед Тройниковым на колени. Какое-то время Щербатов смотрел, как она перевязывает, потом прежнее суровое выражение легло на его лицо.

Так случилось, что не его кровь, а кровь сына пролилась первой. Вместе с кровью многих сыновей. Но впереди была вся война.

Над полем боя — туман. И лес стоит как в молоке, торчат только верхушки затопленных кустов. Пахнет уже не гарью, не порохом, а туманом, непобедимым запахом снова ожившей к вечеру влажной земли. Многие из тех, кто утром в розовом свете солнца ушел сквозь туман, взвод за взводом, блестя мокрыми касками, остались лежать на поле, и вечерний туман общим покрывалом укрыл их.

Над полем, над лесом, над туманом — ночь, темное небо, яркие звезды. В их синем свете высится из молочного моря вершина холма, дочерна облизанная огнем.

Туман глушит звуки. И мягко ступают по лесу врезающиеся шипы конских подков, катятся за ними мягко по траве резиновые колеса пушек. Шаг пехоты по влажной земле увалист и тяжел. Приглушенно звякает снаряжение, глухо звучат голоса. Тень за тенью между деревьев — течет по лесу людской поток, лес втягивает его в себя. С мокрых листьев каплями стекает туман. На миг сигарка осветит присосавшиеся к ней губы и скроется в рукаве. В свежем лесном воздухе — ощутимой струей запах солдатского пота, махорки, ружейного масла и кожи.

Из белесого половодья всплыл из глубины оранжевый край месяца, и синеватая поверхность тумана задымилась в его скользющем свете. Черней стали тени, ясней лица. И тех, кто уходил, и тех, кто оставался.

Оставался Прищемихин. К нему по очереди подходили прощаться. За его спиной по опушке леса солдаты его полка рыли себе окопы. Хруст песка под лопатами, голоса их доносились оттуда из тумана. Корпус уходил, они оставались. Скроются последние повозки, мелькнет уносимый в рукаве огонек сигарки отставшего солдата,

бегом нагоняющего своих, и они останутся одни. Завтра к рассвету, кроме них, в опустевшем лесу уже никого не будет. И все, что немцы обрушили бы на корпус, обрушится на них.

Командиры по одному подходили к Прищемихину прощаться. Меньше многих из них ростом и щуплый, он сейчас вырастал в глазах людей. Они уходили, а он, чтобы они могли уйти, оставался здесь на великий подвиг самопожертвования. Они не знали, что их ждет, но что бы ни ждало, их дела были впереди, его дело уже началось.

Начальник штаба корпуса Сорокин подошел прощаться первым. Он пожал руку Прищемихина своей холодной рукой, в груди его что-то поднялось, хорошие какие-то слова, но он сказал только: «Значит, маршрут вам известен!..» — и отошел, закашлявшись, разволнованный, быть может, даже не о Прищемихине. Просто он особенно ясно чувствовал сейчас, как сам он стар и слаб.

Подошел Нестеренко: «Ну, орел?» И, взяв Прищемихина за плечи, потерся о его щеку своей колючей, в отросшей седой щетине щекой. Стоявший рядом Куропатенко смотрел на них сильно блестящими глазами. Он завидовал Прищемихину. Он знал, что из тех, кто остается с Прищемихиным, хорошо, если завтра после боя из каждых двадцати в живых будет один. И все-таки он завидовал ему.

Уже все простились, последним подошел прощаться Щербатов.

— Не знаю, увидимся ли, — сказал он, держа руку Прищемихина в своей руке. — На великое дело остаешься. Хочу, чтоб знал: достойней тебя оставить мне было некого.

И так же спокойно, как он принял приказ остаться, принял Прищемихин и эти слова. Другие заботы уже владели им сейчас. Утром ждал его бой, а летняя ночь коротка, много нужно было успеть до рассвета.

Пока было видно, уходившие все оборачивались. На опушке леса, в тумане, стоял Прищемихин, издали похожий на подростка. Таким он и остался в памяти у всех.

Уже перед утром — только-только начинало светать — Щербатов и те, кто шли с ним, услышали первые выстрелы пушек. Много километров осталось позади,

и выстрелы раздались глухо, но каждый услышал их, потому что ждал. И тысячи людей шли, оборачиваясь и вслушиваясь, а раненые приподымались с носилок и подвод. Это вступил в бой полк Прищемихина. Потом кто-то из разведчиков забрался на сосну и, стоя высоко над головами людей, издали увидел зарево. Оно разгоралось все сильнее и ярче под артиллерийскую канонаду, и скоро все увидели его. Еще не взошло солнце, и вслед им светило зарево далекого боя, и несмолкавший грохот пушек провожал их, уходящих все дальше и дальше.

1964

**Навеки-
девятнадцатилетние**

*Тем, кто не вернулся с войны.
И среди них — Диме Мансурову,
Володе Худякову — девятнадцати лет.*

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!

Ф. Тютчев

А мы прошли по этой жизни просто,
В подкованных пудовых сапогах.

С. Орлов

ГЛАВА I

Живые стояли у края вырытой траншеи, а он сидел внизу. Не уцелело на нем ничего, что при жизни отличает людей друг от друга, и невозможно было определить, кто он был: наш солдат? Немец? А зубы все были молодые, крепкие.

Что-то звякнуло под лезвием лопаты. И вынули на свет запекшуюся в песке, зеленую от окиси пряжку со звездой. Ее осторожно передавали из рук в руки, по ней определили: наш. И, должно быть, офицер.

Пошел дождь. Он кропил на спинах и на плечах солдатские гимнастерки, которые до начала съемок актеры обнашивали на себе. Бои в этой местности шли тридцать с лишним лет назад, когда многих из этих людей еще на свете не было, и все эти годы он вот так сидел в окопе, и вешние воды и дожди просачивались к нему в земную глубину, откуда высасывали их корни деревьев, корни трав, и вновь по небу плыли облака. Теперь дождь обмывал его. Капли стекали из темных глазниц, оставляя черноземные следы; по обнажившим-

ся ключицам, по мокрым ребрам стекла вода, вымывая песок и землю оттуда, где раньше дышали легкие, где сердце билось. И, обмытые дождем, налились живым блеском молодые зубы.

— Накройте плащ-палаткой,— сказал режиссер. Он прибыл сюда с киноэкспедицией снимать фильм о минувшей войне, и траншеи рыли на месте прежних давно заплывших и заросших окопов.

Взявшись за углы, рабочие растянули плащ-палатку, и дождь застучал по ней сверху, словно полил сильней. Дождь был летний, при солнце, пар подымался от земли. После такого дождя все живое идет в рост.

Ночью по всему небу ярко светили звезды. Как тридцать с лишним лет назад, сидел он и в эту ночь в размытом окопе, и августовские звезды срывались над ним и падали, оставляя по небу яркий след. А утром за его спиной взошло солнце. Оно взошло из-за городов, которых тогда не было, из-за степей, которые тогда были лесами, взошло, как всегда, согревая живущих.

ГЛАВА II

В Купянске орали паровозы на путях, и солнце над выщербленной снарядами кирпичной водокачкой светило сквозь копоть и дым. Так далеко откатился фронт от этих мест, что уже не погромывало. Только проходили на запад наши бомбардировщики, сотрясая все на земле, придавленной гулом. И беззвучно рвался пар из паровозного свистка, беззвучно катились составы по рельсам. А потом, сколько ни вслушивался Третьяков, даже грохота бомбежки не доносило оттуда.

Дни, что ехал он из училища к дому, а потом от дома через всю страну, слились, как сливаются бесконечно струящиеся навстречу стальные нити рельсов. И вот, положив на ржавую щебенку солдатскую шинель с погонами лейтенанта, он сидел на рельсе в тупичке и обедал всухомятку. Солнце светило осеннее, ветер шевелил на голове отрастающие волосы. Как скатился из-под машинки в декабре сорок первого вьющийся его чуб и вместе с другими такими же вьющимися, темными, смоляными, рыжими, льняными, мягкими, жесткими волосами был сметен веником по полу в один ком шерсти, так с тех пор и не отрос еще ни разу. Только на ма-

ленькой паспортной фотокарточке, матерью теперь хранимой, уцелел он во всей своей довоенной красе.

Лязгали сталкивающиеся железные буфера вагонов, наносило удушливый запах сгоревшего угля, шипел пар, куда-то вдруг устремлялись, бежали люди, перепрыгивая через рельсы; кажется, только он один не спешил на всей станции. Дважды сегодня отстоял он очередь на продпункте. Один раз уже подошел к окошку, аттестат просовывал, и тут оказалось, что надо еще что-то платить. А он за войну вообще разучился покупать, и денег у него с собой не было никаких. На фронте все, что тебе полагалось, выдавали так, либо оно валялось, брошенное во время наступления, во время отступления: бери, сколько унесешь. Но в эту пору солдату и своя сбруя тяжела. А потом, в долгой обороне, а еще острее — в училище, где кормили по курсантской тыловой норме, вспоминалось не раз, как они шли через разбитый молокозавод и котелками черпали сгущенное молоко, а оно нитями медовыми тянулось следом. Но шли тогда по жаре, с запекшимися, черными от пыли губами — в пересохшем горле застревало сладкое это молоко. Или вспоминались угоняемые ревущие стада, как их выдаивали прямо в пыль дорог...

Пришлось Третьякову, отойдя за водокачку, доставать из вещмешка выданное в училище вафельное полотенце с клеймом. Он развернуть его не успел, как налетело на тряпку сразу несколько человек. И все это были мужики призывного возраста, но уберегшиеся от войны, какие-то дерганые, быстрые: они из рук рвали и по сторонам оглядывались, готовые вмиг исчезнуть. Не торгуясь, он отдал безглаголиво за полцены, второй раз стал в очередь. Медленно подвигалась она к окошку, лейтенанты, капитаны, старшие лейтенанты. На одних все было новенькое, необмятое, на других, возвращавшихся из госпиталей, чье-то хлопчатобумажное БУ — бывшее в употреблении. Тот, кто первым получал его со склада, еще керосинцем пахнущее, тот, может, уже в землю зарыл, а обмундирование, выстиранное и подштопанное, где его попортила пуля или осколок, несло второй срок службы.

Вся эта длинная очередь по дороге на фронт проходила перед окошком продпункта, каждый пригибал тут голову: одни — хмуро, другие — с необъяснимой искательной улыбкой.

— Следующий! — раздавалось оттуда.

Подчиняясь неясному любопытству, Третьяков тоже заглянул в окошко, прорезанное низко. Среди мешков, вскрытых ящичков, кулей, среди всего этого могущества топтались по прогибающимся доскам две пары хромо-вых сапог. Сияли припыленные голенища, туго натяну-тые на икры, подошвы под сапогами были тонкие, ко-жаные; такими не грязь месить, по досочкам ходить.

Хваткие руки тылового солдата — золотистый волос на них был припорошен мукой — дернули из пальцев продовольственный аттестат, выставили в окошко все враз: жестяную банку рыбных консервов, сахар, хлеб, сало, полпачки легкого табаку:

— Следующий!

А следующий уже торопил, просовывал над головой свой аттестат.

Выбрав теперь место побезлюдней, Третьяков развя-зал вещмешок и, сидя перед ним на рельсе, как перед столом, обедал всухомятку и смотрел издали на станци-онную суету. Мир и покой были на душе, словно все, что перед глазами — и день этот рыжий с копотью, и паро-возы, кричащие на путях, и солнце над водокачкой, — все это даровано ему в последний раз вот так видеть.

Хрустя осыпающейся щебенкой, прошла позади него женщина, остановилась невдалеке:

— Закурить угости, лейтенант!

Сказала с вызовом, а глаза голодные, блестят. Го-лодному человеку легче попросить напиток или за-курить.

— Садись, — сказал он просто. И усмехнулся над собой в душе: как раз хотел завязать вещмешок, нароч-но не отрезал себе еще хлеба, чтобы до фронта хватило. Правильный закон на фронте: едят не досыта, а до тех пор, когда — все.

Она с готовностью села рядом с ним на ржавый рельс, натянула край юбки на худые колени, старалась не смотреть, пока он отрезал ей хлеба и сала. Все на ней было сборное: солдатская гимнастерка без подворот-ничка, гражданская юбка, заколотая на боку, ссохшиеся и растресканные, со сплюснутыми, загнутыми вверх носами немецкие сапоги на ногах. Она ела, отворачива-ясь, и он видел, как у нее вздрагивают спина и худые лопатки, когда она проглатывает кусок. Он отрезал еще хлеба и сала. Она вопросительно глянула на него. Он понял ее взгляд, покраснел: обветренные скулы его, с которых третий год не сходил загар, стали коричне-

выми. Понимающая улыбка поморщила уголки тонких ее губ. Смуглой рукой с белыми ногтями и темной на сгибах кожей она уже смело взяла хлеб в замаслившиеся пальцы.

Вылезшая из-под вагона собака, худая, с выдранный клоками шерстью на ребрах, смотрела на них издали, поскуливала, роняя слюну. Женщина нагнулась за камнем, собака с визгом метнулась в сторону, поджимая хвост. Нарастающий железный грохот прошел по составу, вагоны дрогнули, покатались, покатались по рельсам. Отовсюду через пути бежали к ним милиционеры в синих шинелях, прыгали на подножки, лезли на ходу, переваливаясь через высокий борт в железные платформы — углярки.

— Крючки,— сказала женщина.— Поехали народ чеплять.

И оценивающе оглядела его:

— Из училища?

— Ага.

— Волосы у тебя светлые отрастают. А брови темные... Первый раз туда?

Он усмехнулся:

— Последний!

— А ты не шуткуй так! Вот у меня брат был в партизанах...

И она стала рассказывать про брата, как он вначале тоже был командир, как из окружения пришел домой, как пошел в партизаны, как погиб. Рассказывала привычно, видно было, что не в первый раз, может быть, и врала: много он слушал таких рассказов.

Остановившийся поблизости паровоз заливал воду; струя толщиной в столб рушилась из железного рукава, все шипело.

— Я тоже была партизанская связная!— прокричала она. Третьяков кивнул.— Теперь только ничего не докажешь!..

Пар из тонкой трубки позади трубы бил, как палкой, по железному листу, ничего вблизи не было слышно.

— Пошли, напьемся?— прокричала она в самое ухо.

— А где?

— Вон колонка!

Он подхватил вещмешок:

— Пошли!

— А потом закурим, да?— наперед уславливалась она, попевая за ним.

Только у колонки спохватились: шинель оставил!
Она вызвалась охотно:

— Я принесу!

И побежала в своих коротких сапогах, перепрыгивая через рельсы. Принесет? Но и бежать за ней было стыдно. Пущенный издали маневровым паровозом, сам собою катился по рельсам товарный вагон, заслонил ее на время.

Она принесла. Вернулась гордая, неся на руке его шинель, пилотку гребешком посадила себе на голову. По очереди они напились из колонки, и смеялись, и брызгали друг в друга водой. Надавив рычаг, он смотрел, как она пьет, зажмуриваясь, отхватывая ртом от ледяной струи. Волосы ее сверкали водяными брызгами, а глаза на солнце оказались светло-рыжие, искристые. И с удивлением увидел он, что лет ей, наверное, столько же, сколько ему. А вначале показалась немолодой и сумрачной: голодная была очень.

Она помыла сапоги под струей: мыла и на него взглядывала. Сапоги заблестели. Ладонью отряхнула брызги с юбки. Через всю станцию она провожала его. Шли рядом, он закинул за плечо вещмешок, она несла его шинель. словно это сестра его провожала. Или была она его девушкой. Уже прощаться стали, когда оказалось, что им по пути.

Он остановил на шоссе военный грузовик, посадил ее в кузов. Став сапогом на резиновый скат, она никак не могла перекинуть ногу через высокий борт: мешала узкая юбка. Крикнула ему:

— Отвернись!

И когда застучали наверху каблучки по доскам, он одним махом впрыгнул в кузов.

Уносились назад дорога, заволакивалась известковой пылью. Третьяков развернул шинель, закинул им за спины. Накрытые ею от ветра с головами, они целовались как сумасшедшие.

— Останься!— говорила она.

Сердце у него колотилось, из груди выскакивало: Машину подбрасывало, они стучались зубами.

— На денек...

И знали, что ничего им кроме не суждено, ничего никогда больше. Потому и не могли оторваться друг от друга. Они обогнали взвод военных девчат. Ряд за рядом появлялся строй, отставая от машины, а сбоку маршировал старшина, беззвучно разевал рот, в который нес-

лась пыль. Все это увиделось и заволокло известковым облаком.

На въезде в деревню она спрыгнула, вместе с прощальным взмахом руки скрылась навсегда. Донеслось только:

— Шинель не потеряй!

А вскоре и он слез: грузовик сворачивал у развилки. Он сидел на обочине, курил, ждал попутной машины. И жалел уже, что не остался. Даже имени ее не спросил. Но что имя?

Примаршировал по пыли взвод девчат, которых они обогнали, промчавшись.

— Взво-у-уд... — отпуская от себя строй, старшина загарцевал на месте. — Стуй!

Затопали не в лад, стали. Медно-красные от солнца лица, волосы набиты пылью.

— Нали-и...-ву!

Напрягая икры ног, пятась от строя, старшина звонко вознес голос:

— Равняйся! Сми-и-ррна!

У девчат от подмышек до карманов гимнастерок — темные круги пота. На той стороне шоссе осенняя рожица порошила на ветру листвой. Кося напряженным выкаченным глазом, старшина прошелся перед строем, как на подковах:

— Р-разойдись...

И смачно произнес, за какой нуждой разойтись. Со смехом, взбрыкивая сапогами, девчата бежали через шоссе, на бегу снимали через головы карабины. Старшина, довольный собой, подошел, козырнул, сел рядом с Третьяковым на обочину, как начальство с начальством. Из-под фуражки по его коричневому виску, по неостывшей щеке тек пот, прокладывая блестящую дорожку.

— Связисток гоню! — И подмигнул веселым глазом, белок его был воспаленный от пыли и солнца. — Должность — вредней не придумаешь.

Свернули по папироске. За шоссе в роще перекликались голоса. Постепенно взвод собирался. В пилотках, в погонах, с карабинами на плечах возвращались девчата из рощицы, кто сорванный цветок нес в руке, кто — пучок осенних листьев. Построились, подровнялись. Старшина скомандовал:

— С места — песню!

Хохот ответил ему. Он только показал издали: такой, мол, у меня народ.

Сидя на обочине, ожидая попутной машины, Третьяков смотрел вслед строю военных девчат, весело топавших по пыли.

ГЛАВА III

Чем ближе к фронту, тем ощутимей повсюду следы огромного побоища. Уже прошли по полям похоронные команды, хороня убитых; уже трофейные команды собрали и свезли, что вновь годилось для боя; окрестные жители стаскивали каждый к себе, что оставила война, прогрохотавшая над ними, и теперь годилось для жизни. Ржавела в полях сгоревшая, разбитая техника, и над всем, над тишиною смерти — колючая ясность и синева осеннего неба, с которого пролились на землю дожди.

А мимо по грейдеру цокотала подковками пехота, позвякивала окованными прикладами о котелки, полы шинелей на ходу хлестали по ногам, тонковатым в обмотках. Солдаты всех ростов и возрастов, снаряженные и нагруженные, шли на смену тем, кто poleg здесь. И самые молодые, ничего еще не выдавшие, тянули шеи из необмятых воротников шинелей, со щемящим любопытством и робостью живого перед вечной тайной смерти вглядывались в поле недавнего боя. Там, куда они шли в свет заката, по временам словно растворяли паровозную топку: доносило усиливающееся гудение и вздрагивал воздух. И в себе самом, удивляясь и стыдясь, чувствовал Третьяков это беспокойство. Увидел сожженный немецкий танк у самого шоссе, остановился поглядеть. Танк был какой-то новый, громадней тех, что видел он на Северо-Западном фронте. Синяя оплавленная пробоина в броне: снаряд, должно быть, подкалиберный, как сквозь масло прошел. А броня мощная, толще прежней.

Ветер шевелил вдавленные в чернозем сырые клочья нашего серого шинельного сукна. В осколках луж, в танковом следу блестело похолодавшее небо, свежо и ясно сиял закат, покрываемый рябью. Третьяков смотрел и волновался, и мысли всякие, как впервые... Восемь месяцев не был на фронте, отвык, заново надо привыкать.

Последнюю ночь вместе со случайным попутчиком почевал он на краю большого, сожженного немцами села. Попутчик был уже не молод, рыжеват, лицо мятое, на котором брить почти нечего, кисти рук в крупных веснушках, в белом волосе.

— Старший лейтенант Таранов! — представился он и четко, словно ожегшись, отдернул ладонь от лакового козырька фуражки. По выправке — строевик. Все на нем было не с чужого плеча: суконная зеленая гимнастерка, синие диагональные галифе — цвет настольного сукна и чернил. Сапоги перешиты на манер хромовых. А на руке нес он шинель офицерского покроя из темного неворсистого сукна. Даже на руке она сохраняла фигуру: спина подложена, грудь колесом, погоны на плечах, как дощечки, разрез от низу до хлястика. В такой шинели хорошо на параде, на коне, а укрыться ею невозможно: какой стороной на себя ни натягивай, ветер гуляет и звезды видны. Вот с нею на третьем году войны добирался старший лейтенант Таранов из запасного полка на фронт.

— Сами понимаете, как все это время не терпелось участвовать, — сказал он, при этом строго глянул в глаза и с чувством пожал руку.

Таранов сам выбрал дом для ночевки и очень удачно. Хозяйка, лет сорока, украинка, статная, гладко причесанная, черноволосая и смуглая, обрадовалась офицерам: по крайней мере не набьется полная хата войск. И вскоре Таранов, поперек повязавшись полотенцем, помогал ей на кухне организовать ужин, вскрывал консервные банки, и женщина старалась рядом с ним. А за спиной ее, привлеченный запахом еды, ходил мальчонка лет трех, тянулся заглянуть на стол.

— Ты лягай спать, горе мое! — прикрикнула хозяйка и, как будто злясь на него, сунула ему со стола кусок американского колбасного фарша. А сама приниженно, испуганно глянула на Таранова.

Сбегав через дорогу к шоферам, Третьяков заправил бензином керосиновую лампу, всыпал в нее горсть соли, чтобы бензин не взорвался, а когда вернулся, за столом сидели уже трое.

— Ты гляди, лейтенант, кого хозяйка от нас скрывала! — поблескивая золотыми коронками из-под бледных, как отсыревших изнутри губ, шумно встретил его Таранов. И подмигивал, указывал глазами.

Рядом с хозяйкой сидела дочь лет семнадцати. Была она тоже крупна, хороша собой, но сидела, как монашенка, опустив черные ресницы. Когда Третьяков садился около, подняла их, глянула на него с любопытством. Глаза синие-синие. Заговорила первая:

— Мы не взорвемся?

— Что вы! — стал успокаивать Третьяков. — Проверено на фронте. Соли всыпал в бензин, ни за что не взорвется.

И споткнулся о ее взгляд. Она снисходительно улыбалась:

— Я ж така трусиха, усега боюсь...

А мать черными глазами стерегла ее и рассказывала, рассказывала, сыпала словами, как из пулемета:

— Тут немцы уходят, тут я після операции уся, уся разрезанная лежу. Ой, боже ж мий! Оксаночке четырнадцать рокив и тэ, малэ... Шо мэни робить?

— Тебя Оксаной зовут? — спросил Третьяков тихо.

— Оксана. А вас?

— Володя.

Она подала под столом свою руку, мягкую, жаркую, влажную. Сердце у него пропустило удар и заколотилось, как сорвавшись.

— Оксаночка! — позвала хозяйка, встав из-за стола. Та вздохнула, улыбнулась лейтенанту, нехотя пошла за матерью.

— Ты не теряйся, лейтенант! — шепнул Таранов. Они двое сидели за столом, ждали. За дверью слышен был приглушенный голос хозяйки: она что-то быстро говорила, ни одного слова не разобрать. — На фронт едем.

Он подмигнул, быстро налил стаканы. Выпили. По очереди прикурили от лампы.

— Может, последний день так, может, завтра убьют, а?

И громко позвал:

— Катерина Васильевна! Катя! Что ж вы нас бросили одних? Нехорошо, нехорошо. Мы ведь обидеться можем. — Голоса за дверью смолкли. Потом хозяйка вышла, одна, сияя улыбкой.

— А где же Оксаночка? — забеспокоился Таранов.

— Спать полягали. — Хозяйка близко села с ним рядом, полным плечом касалась его плеча. — От если б вы были врачи...

— А что? Какая болезнь? — спрашивал Таранов.

— Та не болезнь. Дороги гоняют строить. От если б вы были врачи, дали б освобождение дивчине.

— А мы и есть врачи!— Таранов усиленно подмигивал ему, глазами указывал на дверь, за которой была Оксана.

— То вы шуткуете!— И полной ручкой махала на него. Таранов ручку перехватил, к себе потянул.— У врачей погоны зовсим не такие.

— А какие же они у врачей?

— Манэсенки, манэсенки.— И пальцем другой руки рисовала у него на плече, на погоне.— Манэсенки, манэсенки...

— А не большесиньки?— У Таранова влажно поблескивали золотые коронки, к нижней беловатой изнутри губе присохла болячка.— Не большесиньки?

Разговор уже шел глазами. Третьяков встал, сказал, что пойдет покурить. В коридоре нащупал в темноте шинель, вещмешок. Закрывая наружную дверь, слышал приглушенный голос Таранова, женский смех.

Спиной опершись об уцелевший стояк забора, он стоял во дворе, курил. На душе было погано. Женщина, конечно, заслоняет собою дочь. Может, и при немцах вот так заслоняла, собою отвлекала от нее. А этот обрадовался: «На фронт едем...»

Беззвучно, артиллерийскими зарницами вздрагивало небо в западной стороне. Обмытый дождем узкий серп народившегося месяца, до краев налитый синевой, стоял над пожарищем, корявая тень заживо сгоревшего дерева распласталась по двору. Гарью наносило с соседнего участка: там обугленные яблони, когда-то посаженные под окнами, окружали обвалившуюся печную трубу на пепелище.

Слышно было, как через улицу во дворе колготятся шоферы у машин. Третьяков пошел туда. В доме на полу спали вповалку. Он влез по шаткой лестнице на сеновал, на ощупь сгреб охапку сена, пахнущего пылью, лег, укрылся шинелью с головой. Хотелось уже к месту — и скорей бы. Засыпая, слышал внизу голоса шоферов, медленное гудение самолета где-то высоко над крышей.

...А на другой день он встретил старшего лейтенанта Таранова в штабе артиллерийской бригады. Прошагав на восходе солнца километров шесть пешком, Третьяков явился рано, писаря только еще рассаживались за столами. После завтрака им ни за что братья не хотелось

до прихода начальства, они с деловым видом открывали и захолопывали ящики.

Полки артиллерийской бригады подивизионно, по-батареино приданные стрелковым полкам и батальонам, разбросаны были на широком фронте, а штаб стоял в хуторе, в четырех километрах от передовой. Дальние артиллерийские разрывы сотрясали тишину и лень, повисшие под низким потолком хаты. Когда ветер поворачивал оттуда, доносило частую строчку пулеметов, но слышней жужжала на стекле оса. В раскрытой наружу пыльной створке окна ползла она снизу вверх по стеклу, удерживая себя трепыхающимися крылышками, и писарь на подоконнике перегибался, сладострастно и опасно нацеливался раздавить ее.

Дымком летней кухоньки наносило со двора: там, под вишнями, в деревянном корыте стирала хозяйка. Горой лежали на траве штаны и гимнастерки, вываривался на огне полный чан портянок. Писарь Фетисов, молодой, но уже лысоватый, добровольно вызвавшись помогать, похаживал вокруг корыта, как на коготках. То сук разломит о колено, подкинет в огонь, то помешает в чану, а сам глаз не мог отвести от каменно колыхавшихся в вырезе рубашки грудей, от рук хозяйки, голых по плечи, сновавших в мыльной пене. Из окна ему подавали советы. И только старший писарь Калистратов, готовясь дело делать, прочищал наборный мундштучок, протягивал соломину сквозь него. Вытянул всю как в дегте, коричневую и мокрую от никотина, понюхал брезгливо, покачал головой.

Писарю на окне удалось наконец задавить осу. Довольный, обтер пальцы о побелку стены, достал яблоко из кармана, с треском разгрыз — белый сок вскипел на зубах.

— Так какие тебе, Семиошкин, часы разведчик припер? — спросил Калистратов. А сам прилежно клонил к плечу расчесанную чубатую голову, осторожно, чтоб не оборвать, протягивал новую соломинку через мундштук, начисто прочищал.

Семиошкин поерзал штанами по подоконнику:

— «Доксу»!

— Им везет... разведчикам. — Калистратов на свет поглядел в отверстие прочищенный мундштучок. — Впереди идут, все ихнее. Чего им?..

Третьякова писаря не замечали вовсе. Мало ли таких лейтенантов, обмундированных и снаряженных, прохо-

дит через штаб по дороге из училища на фронт. Иной и обмундирования не успевает износить, а уже двинулось в обратный путь извещение, вычеркивая его из списков, снимая со всех видов довольствия, более ненужного ему.

И еще он сам виноват был, что писаря не замечают его, и вину свою знал. Перед завтраком заскочил в штаб начальник разведки бригады — писарей из-за столов как выдернуло. Сами откуда-то явились бумаги на столах, за пишущей машинкой в углу возник писарь в очках, которого до этих пор вовсе не было, словно он под столом сидел. Ползая очками по клавишам, он печатал одним пальцем: тук... тук... — литеры надолго прилипали к ленте.

Чем-то понравился Третьяков начальнику разведки бригады: «Калистратов, скажешь, беру лейтенанта! Здесь останется, у меня, командиром взвода». И вместо того, чтобы обрадоваться, вместо благодарности Третьяков попросился в батарею. С этого момента писаря дружно перестали его замечать. Собравшись скопом, они разглядывали сейчас часы Семиошкина, лежавшие на столе. Даже писарь в очках, как видно, низший в здешней иерархии, вылез было из-за машинки тоже поглядеть, но ему сказали:

— Печатай, печатай, нечего тут...

Ножичком Калистратов вскрыл заднюю крышку часов, обнаженный, пульсировал маятник на виду у всех.

— Ие-ве-ли-сы... — по складам читал Калистратов нерусские буквы. Проглотил слюну, утвердился, чубом тряхнул. — Евельс! Это что?

— Это камни еще лучше рубиновых, — похвастался Семиошкин и сладко причмокнул яблоком. — На шестнадцати камнях!

— «Евельс»... Везет разведчикам.

Кто-то хохотнул:

— Оно у них недолго задерживается.

Третьяков вышел во двор ждать связного из полка, чтобы не плутать зря. Хозяйка, сняв чан с плиты, опрокинула его, ком вываренных портянок в мыльном кипятке вывалился в корыто, оттуда в лицо ей ударил пар. А на траве, на ворохе гимнастеров, расставя босые ноги, сидел при ней мальчонка лет двух, прижав кулаками ко рту помидор, высасывал из него сок. Вся рубашонка на животе была в помидорных зернах и в соке. «Наверное, без отца родился», — лениво соображал Третьяков. Он

рано встал сегодня, и на утреннем солнце, под отдаленное буханье орудий его клонило в сон. Головки сапог из выворотной кожи, которые он смазал солидолом, были все ржавые от пыли. Подумал было почистить их травой, даже глянул, где сорвать поросистей, но тут издали заметил связного.

С карабином за плечами, поглядывая вверх на провода, сходящиеся к штабу, солдат быстро шел увалистой походкой, тени штакетника и солнечный свет катились через него. Обождав, Третьяков следом за ним вошел в штаб. Успевший вручить донесение связнойпил воду у двери. Допил, насухо за собой стряхнул капли, вверх дном перевернул рядом с ведрами жестяную кружку. Тут же, у дверей, присевши на корточки, вытер снятой с головы пилоткой враз вспотевшее лицо, мягкие погоны на его плечах вздулись пузырями.

Старший писарь, для солидности подальше отнеся от глаз, строго читал донесение, а связной, оперев карабин о стену, пригрозив ему пальцем, чтоб стоял, сворачивал курить.

— Из триста шестнадцатого? — спросил Третьяков.

Связной слюнявил языком край газетки, доброжелательно мигнул снизу. Прикурил, сладостно затянулся, спросил, щурясь от дыма:

— Это вас, товарищ лейтенант, сопровождать?

Сожженные солнцем брови его были белы от насевшей пыли, распаренное лицо — как умытое. Мокрые, потемнели, прилипли отросшие на висках волосы. Затянувшись несколько раз подряд, окутавшись висячим махорочным облаком, связной вдруг спохватился:

— Вот ведь забыл совсем... Как отшибло память... — И, вставши, расстегивал карман гимнастерки. Вытащил оттуда серую от пыли тряпицу, развернул на ладони — в ней была серебряная медаль «За отвагу».

Писаря, сойдясь, читали сопроводительную, разглядывали медаль, как недавно разглядывали часы. Была она старого образца, с красной замазлившейся лентой на маленькой колодке. Серебро почернело, словно закоптилось в огне, а посреди — вмятина и дырка. Пуля косо прошла через мягкий металл, и номер на обороте нельзя было разобрать.

— Это какой же Сунцов? — спрашивал старший писарь Калистратов, как видно гордясь своим знанием личного состава. — Который к нам в Гулькевичихах с пополнением прибыл?

— А я не знаю,— доброжелательно улыбался связанной и сложенной пилоткой вновь утер лицо и шею. Он рад был отдыху, остывал перед тем, как вновь идти по солнцу, и выпитая вода выходила из него потом.— Приказали: снеси в штаб, отдай, мол.

— Так как же его убило?

— А как? На НП, должно. Разведчик.

— Телефонист. Вот сказано: связист.

— Разве связист? Ну, значит, по связи...— еще охотней согласился солдат.— Связь обеспечивал...

Старший писарь отчего-то нахмурился, отобрал у писарей медаль, подколол к ней сопроводительную бумагу. И когда открывал заскрипевшую крышку железного ящика, был торжествен и строг, словно некий обряд совершал. Серебряная медаль звякнула о железное дно, и снова со скрежетом и лязгом опустилась крышка.

Вскоре — вслед за связным — Третьяков шел в полк. Они свернули в проулок. Навстречу во всю ширину его — от плетня до плетня — шли с завтрака офицеры. Солнце светило сбоку, и тени головами дотягивались по пыли до плетня, а ближние и за него перевалили.

Старший по званию, майор, что-то рассказывал уверенно, а шедший с правого края офицер заглядывал вдоль строя, улыбкой участвуя в разговоре. И с удивлением Третьяков признал в нем старшего лейтенанта Таранова, его золотой клык блеснул из дряблых губ. Но видом, выправкой строевой он весь так пришегся в этой шеренге возвращавшихся с завтрака, словно всегда и был здесь.

ГЛАВА IV

Той же ночью Третьяков вел орудия к фронту. Весь их дивизион перекидывали куда-то левей. Заскочил в сумерках командир батареи капитан Повысенко, ткнул ногтем в карту:

— Вот этот ложок видишь? Высотку видишь? Поставишь орудия за обратным скатом.— Железный ноготь, обкуренный до черноты, провел черту.— Ясно? Мой НП будет на высоте плюс сто тридцать два и семь. Поставишь батарею, потянешь ко мне связь.

И опять:

— Ясно?

— Ясно,— сказал Третьяков. На карте все было ясно.

Рядом рокотал трактор, из выхлопной трубы выпаривали искры, яркие в сумерках. Зачехленные, в походном положении, орудия были уже прицеплены, но батарейцы все что-то грузили на них сверху, все что-то несли. У прицепа с батарейным имуществом суетился старшина. Повысенко поглядел туда неподвижным взглядом, подошел.

В прицепе, под брезентовым верхом, стоял в темноте на четвереньках командир огневого взвода Завгородний, мучился болями. Его хотели отправлять в медсанбат, но на фронте заболевший поневоле чувствует себя кем-то вроде симулянта. Тут либо ранит, либо убивает, а какая может быть болезнь на фронте? Сейчас ты жив, через час убило — не все равно, здорового убило или заболевшего? И Завгородний превозмогал себя. В последний момент старшина вспомнил испытанное средство: намешал полстакана керосина с солью, дал выпить: «Оно сначала пожгет, пожгет, потом отпу-устит...»

Подойдя к заднему борту, Повысенко заглянул внутрь прицепа, в темноту:

— Ну как, полегчало?

И старшина всунулся:

— Жгеть? Жгеть?

Он чувствовал себя ответственным — и за средство и за болезнь.

— Легча-ает,— через силу простонал Завгородний. И переступил коленями на шинелях: лечь он не мог.

— Средство верное,— обнадежил старшина.— Пожгеть, пожгеть и — отпу-устит...

И погладил себя по душе, до самой ременной пряжки, где и должно было отпустить.

Давило низкое небо, все серое, как одна сплошная туча. И угольными тенями под ним несло разорванные облака. Притихло перед дождем. Трактора с прицепленными орудиями стояли в посадке; правей за кукурузным полем глухо выстукивали пулеметы, взвивались над землей трассы пуль, все уже яркие.

— Значит, так.— Комбат подумал, пожевал шелушащимися, обветренными губами.— Твой взвод управления беру с собой. Случ-чего Паравян, помкомвзвода, с тобой будет. Все ясно? Действуй!

Козырнул и зашуршал плащ-палаткой, удаляясь.

Дождались темноты. Тронулись. Взрокотав, тракто-

ра потянули за собой орудия, подминая под гусеницы кустарник, давя на выезде из посадки молодые деревца. По рыхлой земле глубокий развороченный след оставался за батареей.

Двигались без света. Сверху — черное небо, под ногами и впереди светлела пыльная дорога. Спустился дождь. На тяжелые колеса пушек, на резиновые ободья валом наматывался чернозем.

Фронт все время оставался правой; по нему и ориентировался Третьяков. Невысоко взлетали там ракеты и гасли, задушенные дождем. В смутных движущихся отсветах каждый раз видел Третьяков батарейцев в мокрых плащ-палатках, идущих за пушками. И обязательно несколько человек, нахохлившись, сидели на каждой пушке, дремали, а сверху дождь сыпал.

— Паравян! А ну, сгони с пушек! Тряхнет, попадут сверху, подавит сонных.

Паравян, статный, красивый помкомвзвода, смотрел на него из-под намокших выгнутой ресниц своими черными глазами, молча не одобрял и шел выполнять.

— Хочешь, чтоб людей подавило? Сколько раз говорить!

И знал Третьяков, что говорить ему столько, сколько будут двигаться. Он тоже был бойцом, и тоже его вот так сгоняли, а он заходил с другой стороны и, как только не видел командир, опять влезал на пушку, потому что хотел спать, а спать сидя лучше, чем на ходу. Но сейчас не кто-то другой, кого в душе чертыхать можно, отвечал за него, а он сам командовал людьми и отвечал за них и потому приказывал сгонять сонных бойцов. И Паравян неохотно шел выполнять.

Никого из них, кроме все того же Паравяна, не знал он ни в лицо, ни по фамилиям. Он вел их, они шли за ним. Он и в своем-то взводе управления еще никого не успел узнать. Дело было перед самым обедом, вызвали в штаб командира отделения разведки Чабарова, который заменял убитого командира взвода, приказали сдать взвод ему, лейтенанту Третьякову. Чабаров, старый фронтовик, глянул на девятнадцатилетнего лейтенанта, присланного командовать над ним, ничего не сказал, повел к бойцам.

Весь взвод, все, кто в этот момент не находился на наблюдательном пункте, рыли за хатой щели от бомбежки: не для себя рыли, для штаба дивизиона. Над стриженными головами, над мокрыми подмышками, над

втянутыми от усилия животами взлетали вразнобой и падали кирпичи. В закаменелой от солнца земле кирпичка, вонзаясь, оставляла металлический след и вновь взлетала, блещущая, как серебряный слиток.

Освященные солнцем солдатские тела даже после целого лета были белы, только лица, шеи и кисти рук черные от загара. И все это были молодые ребята, начинавшие наливать силой: за войну подросли в строй, только двое, трое — пожилых, жилистых, с вытянутыми работой мускулами, начавшей обвисать кожей. Но особенно один из всех выделялся, мощный, как борец, от горла до ремня брюк заросший черной шерстью; когда он вскидывал кирпичку, не ребра проступали под кожей, а мышцы меж ребер.

Пройдя взглядом по этим блестящим от пота телам, увидел Третьяков у многих отметины прежних ран, затянутые глянцевою кожей, увидел себя их глазами: перед ними, тяжело работавшими, голыми по пояс, стоял он, только что выпущенный из училища, в пилотке гребешком, весь новый, как выщелкнутый из обоймы патрон. Это не зря Чабаров вот таким представил его взводу, нашел момент. И не станешь объяснять, что тоже побывал, повидал за войну.

После уж, когда подошло время за обедом идти, построил Чабаров взвод, с оружием, с котелками в руках, подал список, собственноручно накарябанный на бумаге. А сам, подбористый, коренастый, широкоскулый, с коричневым от загара лицом, в котором ясно различалась монгольская кровь, стал правофланговым, всем видом своим давая понять, что дисциплину он уважает, а его, нового командира взвода, пока что уважать обождет. И вот взвод стоял, глядел на него, а на листе бумаги были перед Третьяковым фамилии.

— Джеджелашвили! — вызвал он. Поразило, зачем два раза «дже», когда и одного было бы достаточно. И еще успел подумать, что это, наверное, тот самый, заросший по горло черной шерстью.

— Я!

Из строя выступил светлый мальчик, морковный румянец во всю щеку, глаза рыжеватые, глядит весело: Джеджелашвили. А у того, борца, фамилия оказалась Насруллаев. И кого ни вызывал он из строя, ни одна фамилия как-то не подходила к человеку. Так и осталось у него на первых порах: список сам по себе, взвод сам по себе.

Этот его взвод увел с собой командир батареи — оборудовать новый наблюдательный пункт, а он вел пушки и огневиков Завгороднего, которого везли в прицепе. И уже сам не представлял толком, куда он их ведет. К трем ноль-ноль пушки должны были стоять на огневых позициях, а они пока что и Ясневки не проехали. «Там будет хутор Ясенивка чи Яблонивка,— сказал комбат, на стертом сгибе карты пытаюсь разобрать название.— В общем, сам увидишь... От него вправо и вправо...» Но они шли и час и два часа, а никакого хутора не было видно, сколько ни вглядывался Третьяков при смутных отсветах ракет, в дожде приподымавших над передовой мокрый полог ночи. И, ужасаясь мысли, что он ведет не туда, сбился, страхась позора, он делал единственное, что мог: не подавал вида, шел тем уверенней, чем меньше уверенности было в нем самом.

Что-то зачернело наконец впереди неясно. Взошла ракета, и, присев, успел Третьяков разглядеть на фоне неба: какие-то сараи длинные, низкие, что-то еще высилось за ними. Должно быть, тополя... Ракета погасла, сплошная сомкнулась темень.

Заторопившись, обрадованный, оскользаясь сапогами по размокшему чернозему, он обогнал передний трактор, махнул трактористу рукой: за мной, мол. Все равно голоса не было слышно.

То, что он принял издали за сараи, оказалось вблизи батареей двадцатидвухмиллиметровых пушек. Увязанные, как возы, стояли сбоку дороги длиннотельные пушки с тракторами одна другой вслед. И оттуда уже шел к нему кто-то в плащ-палатке. Подошел, взял под козырек, отряхнув капли с капюшона, подал мокрую холодную руку:

— Глуши моторы!

— Зачем глушить?

— Не видишь впереди?

Ничего еще не различая, поняв только, что это не хутор, значит, не туда куда-то они вышли, Третьяков спросил:

— А Ясенивка тут должна быть, Ясенивка... До Ясенивки далеко?

Лицо человека, смутно различимое под капюшоном, показалось старым, сморщенным. Но на груди его, где плащ-палатка разошлась, воинственно блестели пряжки боевых наплечных ремней, надетых поверх шинели, то-

ненький ремешок планшетки пересекал их, и еще болтался мокрый от дождя бинокль.

— Километров пять до нее будет.

— Как пять? Было четыре, мы уже два часа идем...

— Ну, может, четыре,— человек безразлично махнул рукой.— Взводный? Вот и я сам такой Ванька — взводный. У тебя стопятидесятидвух гаубицы-пушки? То же, что мои, один черт. Пятнадцать тонн вместе с трактором! А мост впереди — плечом спихнешь.

Вместе пошли смотреть мост. От обеих батарей потянулись за ними бойцы. По мокрым, скользким бревнам настала дошли до середины. Внизу то ли овраг, то ли пересохшее русло — и не разглядишь отсюда.

— А Ясенева на той стороне?

— Что, Ясенева? Ясенева, Ясенева... У тебя этот мост есть на карте? И у меня нету.— Раскрыв планшетку, взводный ногтем щелкал по целлулоиду, под которым мутно различалась карта, рукавом шинели смахивал сыпавшийся сверху дождь.— На карте его нету, а он — вот он!

И для большей наглядности бил каблуком в бревна. Даже подпрыгнул на них. А вокруг стояли бойцы обеих батарей.

— На карте нет, значит, и на местности не должно быть. А раз он есть, на карту нанеси. Так я понимаю?

Он понимал правильно: на карту не нанесли, он воевать не обязан.

По откосу, вымочив колени о высокую траву, Третьяков сбежал под мост. Опоры из бревен. Схвачены скобами наверху. Когда вот так снизу глядел, все это сооружение показалось ненадежным.

В училище объясняли им, как рассчитать грузоподъемность моста. Майор Батюшков преподавал у них инженерное дело. Черт его рассчитает сейчас, когда не видно ничего. А в уши назойливо лез голос взводного — не отставая, тот шел за ним, в каждую опору бил кулаком:

— Вон они! Вон они! Разве ж выдержит такой груз?— И ногтем пытался уколупнуть:— Она еще и гнилая вся...

Как будто главней войны было сейчас убедить Третьякова.

Взошла ракета, не поднявшись над краем черной земли. Мутным светом налило овраг, и на нем всплыл

мост: бревенчатый настил, люди под дождем. А они двое стояли внизу в траве. Остов грузовика валялся среди камней; по кабине, смятой, как жестянка, и мокрой, сек дождь. «Чего он меня убеждает?» — разозлился Третьяков. И за свою нерешительность остро возненавидев этого человека, полез наверх.

Он подошел к первому орудью:

— Где трактористы?

Бойцы начали оглядываться, потом один из них, ближний, который оглядывался живей всех, назвал:

— Я!

Словно вдруг сам себя среди всех нашел. Но не вышел вперед, остался среди бойцов стоять: так он прочней себя чувствовал.

— Командиры орудий, трактористы, ко мне! — приказал Третьяков, тем отделяя их от батареи.

Один за другим подошли и стали перед ним шесть человек. Трактористов сразу отличить можно: эти все закопченные.

— Значит, так, людей всех — от орудий. Командиры орудий, пойдете впереди. Каждый — впереди своего орудия. Трактористам: орудия поведете на первой скорости. Пройдет одно, тогда другое вести. Ясно?

Молчание. Один из двух командиров орудий был Паравян, который «случ-чего с тобой будет».

— Ясно я говорю?

Не сразу недружно ответили: «Ясно...» А позади стояла и молчала батарея. Они были вместе, а он, поставленный над ними, никому и ничем не известный, был один. И не столько даже мосту они не доверяли — выдержит, не выдержит, — как ему они не верили. И другая батарея ждала, уступала им дорогу идти первыми.

— Твой трактор? — Третьяков пальцем указал на тракториста, который поначалу больше всех оглядывался. И на трактор указал.

— Этот? — Тракторист тянул время. На тракторе до малинового свечения раскалилась у основания выхлопная труба, капли дождя испарялись на лету. — Мой.

— Фамилия?

— А что фамилие, товарищ лейтенант? Семакин мое фамилие.

— Ты, Семакин, поведешь первое орудие.

— Я, товарищ лейтенант, поведу! — звонко заговорил Семакин и рукой махнул отчаянно: мол, ему себя не

жаль. — Я поведу. Я приказания всегда выполняю! — При этом он отрицательно тряс головой. — Только трактор чем будем вытаскивать? Ему под мостом лежать. И орудие тож самое...

Он говорил, подпираемый сочувственным молчанием батарейцев. Все они вместе и по отдельности каждый отвечали и за страну, и за войну, и за все, что есть на свете и после них будет. Но за то, чтобы привести батарею к сроку, отвечал он один. А раз было кому, они не отвечали.

— Я под мостом буду стоять, если ты испугался, боишься вести. Надо мной поведешь орудие!

И, скомандовав: трактористам — по местам, всем бойцам — от орудий! — повел батарею к мосту.

Когда гусеницы трактора легли на первые бревна и они, зашевелившись, дрогнув, вдавились, Третьяков сбегал вниз. При командире батареи они не стали бы жаться, друг на друга оглядываться, а на него можно и свой груз переложить.

— Давай! — махнув рукой, крикнул он снизу, хоть там, рядом с трактором, слышать его не могли. И как в свою судьбу вошел под мост.

Все прогибалось над головой, над поднятым вверх лицом, с бревна на бревно передавая катившуюся тяжесть. Показалось, опоры оседают. И тут пушка въехала на мост. Застонал, зашатался мост. «Рухнет!» — даже дыхание перехватило. Бревна терлись друг о друга, сверху сыпалась труха. Мигая запорошенными глазами, не видя ничего, он протирал их шершавыми пальцами, пытался разглядеть ослепленно, что над ним, но все мерцало. И сквозь выхлопы мотора слышен был треск дерева.

Не разглядев, он почувствовал, как вся эта огромная тяжесть съехала с моста на земную твердь, и мост вздохнул над ним. Только теперь и ощутил он, какая сила давила сверху: по своим напрягшимся мускулам ощутил, будто он сам спиной подпирал мост.

Третьяков вылез из оврага: не стоять же ему все время под мостом, не цирк все-таки. Приказав на всякий случай отцепить прицеп, везти его на длинном тропе, он, не ожидая, перешел мост. Он шел мимо орудия, мимо стоявших около него батарейцев, он был прав, он делал то, что должен делать, но отчего-то смотреть на них ему сейчас было неприятно и уже стыдновато становилось за себя. Под мост полез, чего-то кричал... Про-

ще было сесть рядом с трактористом и спокойно вести батарею: и шуму меньше, и толку больше.

К середине ночи, на хуторе, достучавшись в хату, подняли старика показывать дорогу. В одном белье, ничего на себя не надев, сидел он на тракторе: надеялся, наверное, так жальче будет его, отпустят скорей. Ему дали на плечи ватный бушлат, пропахший соляркой, и он, запахнувшись рукавами, грел ногу об ногу.

— Ось, ось... по тэй стежечке... — Голая цыплячья шея его с клоками белого пуха высывалась из воротника.

— «Осесь, осесь», — передразнивал тракторист, весь мокрый, в мокрой, натянутой на голову пилотке. — Где ты меня ведешь? Тут бабы до ветра ходят. Ты веди, где пушка пройдет!

Старик покорно мигал слезящимися глазами, и опять вытянутая из бушлата трясущаяся рука его указывала вперед, на дождь. Он вывел батарею в посадку, и его отпустили.

Заглушили моторы. И близко, резко вдруг застучал пулемет. Из черноты земли засверкали трассы пуль, возникая и исчезая. Передовая была где-то недалеко. И он с тяжелыми пушками заперся сюда.

Подошли трактористы:

— Горючего нет, товарищ лейтенант.

— Как нет?

— Пожгли.

— Всю ночь ездим-ездим...

Слабый хлопок выстрела. Прочертив искрящийся дымный след, взвилась ракета. Вспыхнула, раскрылся свет над ними, и посадка, пушки, люди — все поднялось к свету, как на голой ладони.

— Как же нет горючего? — спрашивал Третьяков, чувствуя полнейшую свою беспомощность и отчаяние. — Как нет, когда должно быть?

Они стояли перед ним, глядели в землю и молчали. И могли так стоять бесконечно, это он видел. Свет погас. Не зная, что теперь делать, что еще говорить, — а кричать, ругаться вовсе было бесполезно, — Третьяков отошел. Показалось, что из прицепа Завгородний позвал его, стон какой-то послышался, но он сделал вид, что не слышит. Утешений ему не надо, да и что он, больной, оттуда мог сделать?

Какие-то лошади бродили в посадке. Одна, светлой масти, прижмурив глаза, обгрызала кору с дерева. От

мокрого крупа ее подымался пар. Третьяков только сейчас увидел, что дождь кончился. И от земли, из травы исходит туман.

Он услышал голоса, подошел ближе. Тяжело дыша, приглушенно ругаясь, расчет закатывал пушку в свежерытый окоп. Придерживая за ствол, налегая на станины, на резиновые колеса, полуголые, мокрые от дождя, батарейцы скатили орудие. Сдержанно-возбужденные стояли вокруг него. Это были позиции дивизионных пушек. Он разыскал командира взвода. Стариковатый с виду, в пехотинских обмотках и ботинках, на каждый из которых налипло по пуду чернозема, тот поначалу недоверчиво слушал Третьякова. Наконец понял, в чем дело. Сличили карты. И вдруг, словно местность повернулась перед глазами, все стало понятно. С полкилометра отсюда был тот скат высоты, за которым следовало поставить батарею.

Торопясь, пока не рассвело, он отыскал позиции батареи, все там облазил, сообразил, какой дорогой поведет сюда орудия, и вернулся в посадку. Бойцы спали, только Паравян, завернувшись в плащ-палатку, ходил у орудий. Скомандовали подъем. Озябшие в сырых бушлатах, не согретые и во сне, подходили трактористы, зевали с дрожью. Он объяснил, как поведет орудия, и горючее нашлось.

— Там в канистрах было немного...

И отводили глаза. Он так расстроился, когда сказали, что горючее кончилось, что даже по бакам не проверил. А теперь не только в канистрах, но еще и бочка солярки обнаружилась. Ну, что же, трактористы тоже были правы: ездить всю ночь неведомо куда, и, правда, все горючее пожжешь.

Перед рассветом, когда сгустилась сырая тьма, Третьяков, оставив огневику рыть орудийные окопы, привел связь на НП. Чабаров в свежерытом ровике устанавливал стереотрубу.

— Где комбат?

— Спит вон наверху комбат.

Взлетела ракета на передовой, и Третьяков увидел: укрывшись с головой плащ-палаткой, выставив мокрые сапоги наружу, спал комбат за бруствером.

— Товарищ капитан! Товарищ капитан!..

Повысенко сел на землю, жмурясь от света ракеты, глянул мутными глазами, не соображая в первый момент. Зевнул до слез, вздрогнул, потряс головой:

— Ага... Привел связь?

Уже в темноте долго глядел на светящиеся стрелки циферблата.

— Где ж ты столько ездил? Тебя как по фамилии, Четвериков?

— Третьяков.

— Ага, Третьяков, верно. Тебя за смертью посылать.

Встал во весь рост, потянулся, зевнул с подвывом, просыпаясь окончательно.

— Орудийные окопы вырыли?

— Роят.

У Третьякова все еще стоял в ушах рев тракторов, а ноги как будто шли по вязкому чернозему. Только голова после всей этой бессонной ночи была легкая, ясная, и огромный в своей плащ-палатке комбат то близко был виден, то отдалялся в красноватый свет пожара.

ГЛАВА V

Несколько дней на этом участке велись вялые бои. Неубранное поле пшеницы между немецкими и нашими окопами все больше осыпалось от разрывов, черные воронки пятнили его. Ночами по хлебам уползала разведка: к немцам — наша, к нам — немецкая. И подымалась вдруг всполошная стрельба, начинали скакать ракеты, светящиеся пулеметные трассы секли по полю, осадисто и звонко ударяли минометы. И кого-то волокли по траншее, в общий счет безмянных жертв войны, а он чертил по земле каблуками сапог, пожелтелыми пальцами уроненной руки.

В жаркий полдень вспыхнуло от снаряда хлебное поле. Вихревой смерч взметнулся, огонь погнало ветром, перебросило через окопы, и по всей передовой и на высоте, где с разведчиком и телефонистом сидел Третьяков на наблюдательном пункте, сменив командира батареи, остались выжженная до корней трав земля, прах и пепел. Жирный чад горелого зерна пропитал все насквозь: и воздух, и еду, и одежду.

Когда, обойдя свой круг над многими полями сражений, в дым и пыль садились в тылу у немцев отяжелелое солнце и под пеплом облаков остывал багровый закат, в небе уже высоко стоял месяц. Он наливался светом, холодно блистал над черной землей.

При зеленом его свете, глядя на свои руки, в которые въелась гарь, черной каймой окружала обломанные ногти, вспоминал иногда Третьяков, какие они отмытые были у него на болоте под Старой Руссой — кожа сморщенная, отмякшая, как после стирки. А станет переобуваться, чтоб хоть в голенище сапога подсушить край портянки, нога из нее как неживая, как из воды нога утопленника.

Сколько сидели они тогда посреди болота на крохотном островке между нашим и немецким передним краем, огня не разводили ни разу, и все на них было сырое. А весна затяжная стояла в том, сорок втором году, холодная. На майские праздники повалил вдруг снег, крупными хлопьями при солнце понеслась косая метель, зарябило над хмурой водой, весь их островок стал белым. Потом еще зеленой заблестела вытаявшая из-под снега трава.

И не забыть, как среди ночи подскочил он от свистящего шепота: «Немцы!» Вышний ветер растянул облака, с вечера обложившие небо, вода смутно блистала. Весь сотрясаемый ознобной дрожью, зубом на зуб не попадая спросонья, больше всего в свои семнадцать лет боясь, что еще за труса сочтут, Третьяков вглядывался из-за бруствера и ничего не мог разглядеть. Только от напряжения, от холода слезы текли из глаз. Вдруг от кустов неслышно откачнулась волна. Еще одна. И пошли по воде, укачивая на себе лунный свет. Тень за тенью, без всплеска, из куста в куст — четверо. Только волна возникала и отделялась.

Там, в кустах, всех четверых положили из карабинов. И по молодой своей глупости полез он поглядеть на немцев: какие они? Что-то в самом себе хотел выяснить. Полез и едва не погиб: один из разведчиков оказался живой еще. На себе Третьяков притащил его и, когда перевязывал, уже слабевшего, покрывавшегося смертной испариной, с удивлением не находил в себе ни злости к нему, ни ненависти, хоть немец этот только что в него стрелял.

Он до сих пор так и не выяснил для себя многого, но война шла третий год и, что непонятно, стало привычно и просто. По своим законам текло время на войне: что было давно, иногда приблизится ясно, словно это вчерашнее, а самое долгое, самое нескончаемое — что происходит сейчас. Казалось, он уже полжизни сидит на этой выгоревшей высотке, втянувшись в привычное

фронтное состояние, когда спал — не спал, в любой час и спать готов, и подхватиться по тревоге. И многое он знал уже про своих бойцов, сидевших с ним вместе. Младший, Обухов, рыжеватый и чернобровый, весь по смуглому лицу осыпанный коричневыми пятнами веснушек, в свои неполные восемнадцать лет воевал охотно. Все он посмеивался над связистом Суяровым, который больше чем вдвое был старше его:

— Ты расскажи, расскажи лейтенанту, за что тебе срок впаяли?

И сам же начинал рассказывать, светя синеватыми белками глаз:

— Ему водку на нюх подносить нельзя. Он весь проспиртованный: грамм выпьет, за себя не отвечает. Сколько ты лет получил до войны?

Суяров пригнетенно отмалчивался. Было что-то надежное в нем, в его улыбке, временами искательной, обнажавшей черные от табака зубы. Но чаще он только мигал, когда разговор шел про него, и сосредоточенно сосал мокрую иссосанную сигарку, до синевы напиваясь табачным дымом. И почему-то неприятно было смотреть, как у него сам по себе вздрагивает, копошится обрубок безымянного пальца.

Когда уже обжились и на слух начали различать, откуда какая стреляет немецкая батарея, пришел приказ смотать связь, срочно возвращаться на огневые позиции. Сорвали плащ-палатку, заменявшую вход, наспех переверосили сено на нарах, оглянулся Третьяков напоследок, и так вдруг жаль стало кидать эту тесненькую их землянку, словно с ней что-то от души отрывал. На фронте всегда так: место, где с тобой ничего не случилось, кажется уже особенно надежным.

Под высокой луной, светившей ярко, они ползали по обгорелой земле, сматывая провод. Немец постреливал беспокойно, одну за другой швырял ракеты. Когда весь ты на виду на голой земле распят, стрельба кажется ближе, и каждая ракета над тобой зависает. Вспомнишь тут, как в окопе хорошо было сидеть, как безопасно.

За обратным скатом высоты, в низине пошли в полный рост. Здесь, в сыром логу, трава была высокая, вся в росе, и Третьяков мыл об нее руки, умылся на ходу, отчего-то даже рассмеявшись. Он так свыкся с запахом гари, что перестал его замечать, а тут, на свежем воздухе, почувствовал, как весь он прокопчен насквозь.

Нагруженные катушками провода, лопаты, стереотрубку, все имущество и оружие неся на себе, они догнали батарею на марше. В сплошной пыли, поднятой ногами и колесами, двигались массы пехоты, перемещаясь вдоль фронта. Когда по траншеям, по окопам, по ямкам сидят поредевшие роты, кажется — и нет никого, и вроде бы воевать некому. Но когда вот так вывалит войско на дорогу — и конец его и начало, — все теряется в пыли, многолюдна Россия. Ведь третий год идет война, вновь по тем самым местам, где в сорок первом году столько осталось зарытых и незарытых.

Голубой луч прожектора беззвучно стриг в вышине, падал отсвет, в нем гуще клубилась пыль над людьми, колыхалась в пыли горбатая от ноши пехота. И возникло на миг: высокий, на голову выше всех пехотинцев, в белой на свету пилотке, прижал к груди плоский котелок, хлебает из него на ходу; блеснуло смазкой вороненое длинное противотанковое ружье на плече у бронбойщика, скуластое его лицо, узкие щелочки глаз. Луч сместился, и в темноте, задушив все запахи керосиновой воню, промчались танки, облепленные по броне пехотинцами. Когда опять упал на грейдер отсвет прожектора, среди пехоты, втекавшей в рубчатый след танков, увидели впереди свою батарею: медленно двигались тяжелые зачехленные орудия. Перегрузив на них лишнюю ношу с плеч, пошли налегке.

Рассвет встретили в лесу. Где-то позади еще тянулись пушки, а его взвод управления, за ночь уйдя вперед, спал на земле. Прохладно грело осеннее солнце, опавшая листва была мокрой от ледяной росы. Сняв сапоги, расстелив на солнце портянки, Третьяков задремывал, сидя, босые ступни его пригревало в затишке. Густо-синее небо над головой, желтые, шелестящие на ветру вершины деревьев плывут, плывут навстречу белым облакам... Он засыпал, просыпался... Пахло в лесу осенью, костром, вокруг костра спал его взвод. Над огнем, горевшим без дыма, — закопченное ведро. Боец помешивает в нем, пробует с ложки над паром. За неделю, что он в полку, Третьяков еще не всех запомнил в своем взводе, но этого бойца узнал. Плоское лицо масляно блестит от близкого жара, глаза сожмурены... Кытин! Фамилия сама выскочила: Кытин.

Огонь лизал сальное, дымящееся ведро. Попробовав с ложки еще раз, Кытин засомневался, подумал, досо-

лил и помешал. Гуще повалил из ведра мясной пар, захотелось есть.

— Ты чего варишь, Кытин?

Тот обернулся:

— Проснулись, товарищ лейтенант?

— Варишь, говорю, кого?

— Да бегало тут о четырех ногах... С рожками.

— А как оно разговаривало?

У Кытина глаза сошлись в щелочки:

— Бе-еэ,— проблеял он.— Давайте портянки к огню, товарищ лейтенант, теплыми наденете.

— Они на солнце просохли.

Размяв портянки в черных от копоти пальцах, Третьяков обулся, встал. По всему лесу, поваленная усталостью, спала пехота. Еще подтягивались отставшие, брели как во сне; увидев своих, сразу же валились на землю. И от одного бойца к другому бегала медсестра с сумкой на боку, смахивала слезы со щек.

— Один градусник был, и тот украли,— пожаловалась она Третьякову, незнакомому лейтенанту, больше и пожаловаться было некому. Немолодая, лет тридцати, завивка шестимесячная набита пылью. Кому нужен ее градусник воровать? Разбился или потерялся, а она ищет. И плачет оттого, что сил нет, весь этот пеший почной марш проделала со всеми. Солдаты спят, а она еще ходит от одного к другому, будит сонных, заставляет разуваться, чем-то смазывает потертые ноги, чем-то присыпает: мозоль хоть и не пуля, а с ног валит. Вот кого Третьякову всегда жаль на войне: женщин. Особенно таких, некрасивых, надорванных. Этим и на войне тяжелей.

Он отыскал в лесу воронку снаряда, налитую водой. Вокруг нее лежали молодые деревца; какие-то из них, может быть, еще и оживут. Снял пилотку, шинель, стал на колени. Клок белого облака скользил по зеркалу воды, и в нем он увидел себя: кто-то, как цыган, черный, глядел оттуда. Щеки от пыли, набившейся в отросшую щетину, темные: запавшие глаза обвело черным, скулы обтянуты, они шелушащиеся какие-то, шершавые. За одну неделю сам на себя стал непохож. Он отогнал к краю упавшие на воду сухие листья и водяного жука, скакавшего невесомо на тонких паучьих ногах. Вода, как на торфянике, коричневая, но когда зачерпнул в ладонь, прозрачна оказалась она, чиста и холодна. Давно он так не умывался, даже гимнастерку стянул

с плеч. Потом, вытерши подолом рубашки и шею и лицо, надел пилотку на мокрые расчесанные волосы и, когда застегивал на горле стоячий воротник, чувствовал себя чистым, освеженным. Только пыль из легких никак не мог откашлять, — столько он ее наглотался ночью.

Все это время над лесом подвывало с шуршанием в вышине: наша тяжелая артиллерия была с закрытых позиций, слала снаряды, и от взрывов осыпалась листва с деревьев. Выйдя на опушку леса, он спрыгнул в песчаную, обрушенную во многих местах траншею и чуть на ноги не наступил пехотинцу, лежавшему на дне. Во всем снаряжении, подпоясанный, лежал тот, будто спал. Но бескровным было желтое его нерусское лицо, неплотнo прижмуренный глаз тускло блестел. И вся осыпана землей остриженная под машинку черная, круглая голова: уже убитого, хоронил его другой снаряд.

Третьяков отошел за изгиб траншеи. Тут тоже много зияло свежих воронок — и впереди, и позади, и прямые попадания, — огонь был силен. Этот грохот и слышали они на подходе.

Опершись локтями о песчаный бруствер, он рассматривал поле впереди. Оно стекало в низину, там перестукивались пулеметы, блестела, как стекло, мокрая крыша коровника, часовыми стояли пирамидальные тополя, заслонив собою синеватую вершину кургана. И ярко, нарядно желтел обращенный к солнцу клин подсолнечника.

Он смотрел в бинокль, соображал, как в сумерках, когда сядет солнце за курганом, потянет он отсюда связь в пехоту, если будет приказано туда идти, где лучше проложить провод, чтобы снарядом не перебило его. А когда уходил, наткнулся еще на одного убитого пехотинца. Он сидел, весь сползший на дно. Шинель на груди в свежих сгустках крови, а лица вообще нет. На песчаном бруствере траншеи кроваво-серые комки мозга будто вздрагивали еще. Много видел Третьяков за войну смертей и убитых, но тут не стал смотреть. Это было то, чего не должен видеть человек. А даль впереди, за стволами сосен, вся золотая, манила, как непрожитая жизнь.

Взвод его завтракал на траве, когда он вернулся. Стоял таз, головами к нему лежали бойцы, зачерпывали по очереди, и всех их вместе гладил ветер по стриженным головам. Помкомвзвода Чабаров, скрестив ноги по-ту-

репки, почетно сидел у таза. Завидев лейтенанта, стукнул ложкой, бойцы зашевелились, кто лежал, начал садиться.

— Ешьте, ешьте,— сказал Третьяков. Но Чабаров строго глянул вокруг себя, и Кытин вытащил специально отставленный в горячую золу котелок, подал лейтенанту. Они были все вместе, свои, а он пока еще не свой. Постелив шинель под бок, Третьяков лег и тоже начал есть. Наварист был суп из молодого козленка, и мясо — сладкое, сочное.

— А что, товарищ лейтенант,— спросил Кытин, ласковыми глазами хозяйки, всех накормившей, глядя на него,— на нашем фронте и воевать можно?

И все заговорили о том, что лето не зима, летом вообще воевать можно, не то, что в мороз или в талом снегу весной. Были они повеселевшие от еды. Огневики еще где-то тянутся со своими пушками или роют сейчас орудийные окопы, а они уже и поспать успели, и поели — вот это и есть взвод управления: разведчики, связисты, радисты. Он всю войну служил во взводе управления и любил его за то, что здесь свободней. Чем ближе к опасности, тем человек свободней душой.

Он смотрел на них, живых, веселых вблизи смерти. Макая мясо в крупную соль, насыпанную в крышку котелка, рассказывал, к их удовольствию, про Северо-Западный фронт, мокрый и голодный. Закурил после еды, сказал Чабарову назначить с ним в ночь двух человек — разведчика и связиста,— и тот назначил Кытина и вновь Суярова, который знает — за что. И все это делалось, и солнце подымалось выше над лесом, а своим чередом в сознании проходило иное. Он все видел осыпанную снарядами песчаную траншею. Неужели только великие люди не исчезают вовсе? Неужели только им суждено и посмертно оставаться среди живущих? А от обычных, от таких, как они все, что сидят сейчас в этом лесу,— до них здесь так же сидели на траве,— неужели от них от всех ничего не останется? Жил, зарыли, и как будто не было тебя, как будто не жил под солнцем, под этим вечным синим небом, где сейчас властно гудит самолет, взобравшись на недосыгаемую высоту. Неужели и мысль невывказанная и боль — все исчезает бесследно? Или все же что-то остается, витает незримо, и придет час — отзовется в чьей-то душе? И кто разделит великих и невеликих, когда они еще пожить не успели? Может быть, самые великие — Пушкин будущий, Тол-

стой — остались в эти годы на полях войны безымянно и никогда ничего уже не скажут людям. Неужели и этой пустоты не ощутит жизнь?

ГЛАВА VI

За полчаса до начала артподготовки Третьяков прыгнул в свой окоп. Дремал Кытин, подняв воротник шинели, затылком опершись о земляную стену; он открыл глаза и опять закрыл. Суяров на корточках жадно насасывался махорочным дымом, сплевывал меж колен жидкую слюну. Узнав лейтенанта, из вежливости поколыхал рукою табачное облако над головой у себя.

— Водки выпьете, товарищ лейтенант? — спросил Кытин. В рассветном сумраке плоское лицо его со смеженными глазами было точно монгольским. А сам он из-под Тамбова, из деревни. Вот куда предки его дошли убивать других его предков. А в нем обе эти крови помирились и не воюют друг с другом.

— Откуда у тебя водка?

— Тут старшина пехотный... — Кытин зевнул, как щенок, показав все небо. Глаза влажные, похоже, правда, спал. — Они, в пехоте, потери на другой день сообщают. Сначала водку получают, потом потери сообщат. Завтра, знаете, сколько у них будет водки!..

Третьяков глянул на часы:

— Уже сегодня, не завтра. Давай, сто грамм выпью.

Он выпил из крышки, и показалась водка некрепкой, словно воду пил. Чуть только потеплело в груди. Стоял, носком сапога отбивал глину со стенки окопа. Вот они, последние эти необратимые минуты. В темноте завтрак разнесли пехоте, и каждый хоть и не говорил об этом, а думал, доскребывая котелок: может, в последний раз... С этой мыслью и ложку вытертую прятал за обмотку: может, больше и не пригодится. Оттого, что мысль эта в тебе, все не таким кажется, как всегда. И солнце дольше не встает, и тишина — до дрожи. Неужели немцы не чувствуют? Или затаились, ждут? И уже не остановать, не изменить ничего нельзя. Это в первые месяцы на фронте он стыдился себя, думал, он один так. Все так в эти минуты, каждый одолевает их с самим собой наедине: другой жизни ведь не будет.

Вот в эти минуты, когда как будто ничего не происходит, только ждешь, а оно движется необратимо к по-

следней своей черте, ко взрыву, и уже ни ты, никто не может этого остановить, в такие минуты и ощутим неслышный ход истории. Чувствуешь вдруг ясно, как вся эта махина, составившаяся из тысяч и тысяч усилий разных людей, двинулась, движется не чьей-то уже волей, а сама, получив свой ход, и потому неостановимо.

Все в нем было напряжено сейчас, а Суяров, на дне окопа кресалом высекавший огонь, смутился, увидев снизу, какое до безразличия спокойное лицо у лейтенанта: опершись спиной о бруствер, он рассеянно отбивал глину носком сапога, словно чтоб только не заснуть.

Ночь эту, остаток ее, Третьяков просидел в землянке у командира роты, которого ему предстояло поддерживать огнем. Не спали. В бязевой нательной рубашке, утираясь грязноватым, захватанным полотенцем, командир роты пил чай и рассказывал, как лежал он в госпитале, аж в Сызрани, какая хорошая женщина была там начмед.

Под низким накатом замлянки глаза его посвечивали покорно и мягко. Он слизывал пот с верхней бритой губы, шея была вся мокрая, пот вновь и вновь копился в отсыревших складках, а повыше ключицы, где глянцевою кожей стянуло след страшной раны, заметно бился пульс, такой незащищенный, и временами что-то напухало.

Третьяков слушал его, сам говорил, но вдруг странно становилось, словно все это происходит не с ним: вот они сидят под землей, пьют чай, ждут часа. И на той стороне, у немцев, тоже, может быть, не спят, ждут. А потом как волной подхватит, и выскочат из окопов, побегут убивать друг друга... Странно все это покажется людям когда-нибудь.

Он выпил одну за другой три кружки чая, пахнувшего от котелка комбижиром, и случайно в разговоре выяснилось, что этот полк и есть тот самый стрелковый полк, в котором служил отчим. Но только теперь номер его другой, потому что в сорок втором году в окружении осталось знамя, и полк был расформирован и переименован. У матери хранилось письмо однополчанина; тот своими глазами видел, как убило отчима, когда прорывались из окружения, и написал ей. А все-таки надежда оставалась: ведь столько самых невероятных случаев было за войну. И, обманывая судьбу, боясь оборвать последнюю надежду, Третьяков спросил осторожно:

— Дядька у меня был в вашем полку. Командир саперного взвода, младший лейтенант Безайц... Под Харьковом... Не знал случайно?

Само так получилось, что сказал «дядька», словно бы это еще не про отчима, если скажет «убит».

— Безайц... Фамилия, понимаешь, такая... Ты вот кого спроси: Посохин, начальник штаба батальона, адъютант старший. Безайц... Должен помнить. А я под Харьковом не был, я только после госпиталя в этом полку.

В мае сорок второго года, когда началось наше наступление под Харьковом, так закончившееся потом, он послал отчиму из-под Старой Руссы восторженное мальчишеское письмо, писал, что завидует ему, что и они, мол, у себя тут тоже скоро... А уже замкнулось кольцо окружения под Харьковом.

У матери так жалко дрогнуло лицо, когда она попросила его на вокзале: «Ты ведь там будешь, на Юго-Западном фронте... В тех самых местах... Может быть, хоть что-то удастся узнать про Игора Леонидовича...»

Она всегда в его присутствии называла отчима по имени-отчеству и даже теперь постеснялась назвать иначе.

Впервые в нем что-то шевельнулось к отчиму, когда началась война и Безайца призвали. Втроем, с матерью и Лялькой, пошли они на сборный пункт, помещавшийся на проспекте, в Лялькиной школе. И он увидел, как все переменялось. Отчим ждал их, сидел прямо на тротуаре, спиной опершись о кирпичный столб школьных ворот. Инженер-конструктор, которого многие знали здесь, он в своем городе, словно в чужом, где его не знают и не запомнит никто, сидел прямо на асфальте, оперев руки об острые колени. Увидел их, идущих к нему, встал, равнодушно отряхнул штаны сзади и обнял мать. Высокий, худой, в хлопчатобумажной гимнастерке, в пилотке на голове, он прижал мать лицом к пуговицам у себя на груди и поверх ее головы, которой касался бритым подбородком, смотрел перед собой и гладил мать по волосам. И такой был у него взгляд, словно там, куда он глядел, видел уже все, что ее ожидает.

Поразило тогда, какие тонкие у него ноги в черных обмотках. И вот на этих тонких ногах, в огромных солдатских ботинках ушел он на войну. Все годы, что жили вместе, как квартиранта, не замечал он отчима, а тут не за мать даже, за него впервые защемило сердце.

Мать в этот раз, когда после училища увидал ее, такая была постаревшая, вся плоская-плоская стала. И жилы на шее. А Лялька за два года переменялась — не узнать. Война, едят неизвестно что — и расцвела. Когда уходил на фронт, посмотреть было не на что: колени и две косяльки на худой спине. А тут она шла с ним по улице — офицеры оборачивались вслед.

Третьяков глянул на часы и поспешно схватился за кисет. Но понял: свернуть уже не успеет.

— Дай докурить!

Он взял у Суярова сигарку, глубоко, как воздуху вдохнул, затянулся на все дыхание несколько раз и выпрямился в окопе. Когда глянул назад, солнце еще не всходило, но на лице почувствовал его свет. И свет этот дрогнул, толкнуло воздух, грохнуло и засверкало. Стал ощутим воздух над головой: в нем с шелестом проносились снаряды — и ниже и выше, в несколько этажей.

Они стояли в окопе все трое, глядели в сторону немцев. Из поля подсолнухов впереди плеснулась земля, обвальный грохот сотряс все, и с этой минуты грохотало и тряслось безостановочно, а над передовой стеною подымались вверх пыль и дым. И, оглушая, звонче всех садила батарея дивизионных пушек, стоявшая позади их окопа.

Вдруг ширкнуло над головами низко. Пригнулись раньше, чем успели сообразить.

— Связь проверь! — крикнул Третьяков, сознавая радостно: жив!

Опять визгнуло. Били по батарее. Откуда — не разглядеть: все впереди в дыму. И в дым с ревом пронеслись наши штурмовики, засновали в нем черными тенями: перед их крыльями сверкало. Казалось, там, впереди, они стремительно снижаются к полю. Мелькнули над крышами фермы — из крыш взлетело к ним несколько взрывов.

Еще грохотало и рушилось, а все почувствовали, как над передовой словно сомкнулась тишина. Вот миг, вот она, сила земного притяжения, когда пехота подымается в атаку, отрывает себя от земли.

— Ррра-а-а! — допахнуло стонущий крик. И сразу треск автоматов, длинные пулеметные очереди.

Выплеснутые из окопов наружу, согнутые, будто перехваченные болью, бежали по полю пехотинцы, скрываясь в пыли разрывов, в дыму.

Когда они трое, волоча за собой по полю телефонный кабель, прыгнули в траншею, пехота уже мелькала впереди в подсолнухах. Поразило, как всякий раз в немецкой траншее: била, била наша артиллерия, а убитых немцев почти нет. Что они, уволокли их с собой? Только рядом с опрокинутым пулеметом лежал мертвый пулеметчик.

В следующий момент все они трое повалились на дно траншеи. Лежали, прикрыв головы руками, чем попало. Суяров навалил катушку на голову, отползал в сторону. Переждав налет, Третьяков приподнялся. Немецкий пулеметчик, тепло одетый, в каске, в очках, все так же лежал навзничь в траншее, как кукла увязанная. Слепо блестели запыленные стекла очков, целые, нетреснутые даже; белый нос покойника торчал из них.

Сел Кытин, отплеываясь, — в рот, в нос набилась земля. Удушливо пахло взрывчаткой. Низко волокся дым. По одному выскочили из траншеи. Уцелевшие подсолнухи на поле, ярко-желтые в дыму, все шляпками повернуты им навстречу: там, позади, всходило солнце над полем боя.

Лежа на спине, Третьяков пригнул тяжелую шляпку подсолнуха. Набитая вызревшими семечками, как патронами, она выгнулась вся. Смахнул ладонью засохший цвет, отломил край.

— Пошли!

Кинул горсть семечек в рот и бежал по полю, выплевывая мягкую, неотвердевшую шелуху.

Он издали заметил этот окопчик: между подсолнухами и посадкой. В сухой траве впереди него ползла пехота. Чего они там ползают? Бой уже к деревне подкатился, а они тут ползают. Но окопчик был хорош, из него все поле открывалось. Третьяков махнул ребятам:

— По одному — за мной!

И побежал, вжимая голову в плечи. Несколько пуль визгнуло над затылком. Спрыгнул в окоп. И тут же пулеметная очередь поверху. Выглянул. В траве, вихляясь, полз Кытин. Прикладом автомата заслонил голову, катушка провода на спине, как башня танка.

Один за другим они ввалились в окоп. По щекам — черноземные потоки пота. Сразу же начали подключаться.

Только теперь Третьяков понял, почему пехота елозит в траве: пулемет положил ее на этом поле и держит.

Подымется голова, пулемет шлет из посадки длинную очередь, и шевеление затихает.

— Лебеда, Лебеда, Лебеда! — вызывал батарею Суяров испуганным голосом, а слышалось: «Беда, беда, беда...» Не надо было в этот окоп соваться. Поле видит, а толку что? Даже пулемет уничтожить не может. У тяжелых пушек, стоящих за два километра отсюда, рассеивание снарядов такое на этой дальности, что раньше он по своей пехоте угодит.

— Лебеда?! Слышь меня? Это я, Акация! Товарищ лейтенант! — Суяров снизу подавал трубку, смигивал мокрыми веками, плечом размазывал грязь по щеке. Рад был, что связь цела, не лезть ему под пули.

В трубке — сипловатый голос Повысенко. И тут же командир дивизиона отобрал трубку: сидит на батареечном НП. Слышно было, как он спрашивает Повысенко: «Кто у тебя там? Новенький? Как его?..»

А он тоже комдива в глаза еще не видел, только голос его слышал.

— Третьяков! Где находишься? Докладывай обстановку! И не врать мне, понял? Не ври!

— Я тут на поле, товарищ Третий. Левей посадки. Пехота тут залегла...

Впереди окопа от пехотинца к пехотинцу ползал в это время командир взвода в зеленой пилотке, хлопал каждого по заду малой пехотной лопаткой.

— По-пластунски — вперед!

А пока к другому отполз — «По-пластунски — вперед!» — этот уже замер. Зеленая пилотка его гребешком высилась из травы. «Пилотку бы снял...» — мелькнуло у Третьякова, а сам докладывал командиру дивизиона обстановку. На дне окопа отдышавшийся Кытин грыз семечки, шелуха звеньями висела с нижней губы.

Визг мины. Пригнулись дружно. Несколько мин разорвалось наверху. Сжавшись, Третьяков и клапан трубки прижал, забыл отпустить.

— Что там у вас? — кричал командир дивизиона, которому слышно было в трубку, как здесь грохочет. — Где ты находишься?

— На поле, я же говорю.

— На каком на поле? На каком на поле?

— Тут пулемет держит...

— Ты воевать думаешь? На черта тебе пулемет?

— Он пехоте не дает...

— Я тебя спрашиваю: ты думаешь воевать?

Визгнуло коротко. Откуда-то недалеко бьет: визг — разрыв! Визг — разрыв! А выстрела не слышно. Но батарея — недалеко. Высунулся и еле успел присесть: так низко пронеслось, казалось, голову собьет. Выглянул. По звуку — из-за деревни откуда-то.

На поле от свежей воронки расползались в стороны пехотинцы. Один остался неподвижно лежать ничком. Ее если не уничтожить, эту батарею, она тут всю пехоту переколотит. Пулемет они сами уничтожат, а минометная батарея... И не выскочишь отсюда. Вот если б на крышу коровника забраться...

Одним ухом он ловил полет мины, в другом раздавался накаленный голос командира дивизиона. А Третьякову орать не на кого, дальше — одна пехота.

— Крыши коровников видите, товарищ Третий?

На миг дыхание пресеклось: показалось, вот она летит, твоя... Рвануло так, что окоп встряхнулся.

— Крыши коровников видите? — кричал Третьяков, оглушенный. Пошевелился, отряхивая с себя землю. — Там буду находиться.

Донеслось неясно, сквозь глушь:

— Там наши? Немцы? Кто там?

А черт их знает, кто там. Пехота наша мелькала. Если на крышу залезть, оттуда все должно быть видно.

— Буду там, доложу!

— Ты гляди...

А что глядеть — не разобрал: уши забило звоном. Тряхнул головой, еще сильнее зазвенело. Крикнул Сувярову отключаться. Тут сидеть нечего. Зачем только сюда сунулся, всех за собой потащил... Они сидят, а пехота на поле под огнем лежит. Досидятся, что их тоже здесь ухлопает зря. Но до чего вдруг спасительным оказался этот окоп, когда надо теперь вылезать из него!

— Кытин! Давай первым.

Первому особенно неохота лезть. Но первого и пулеметчик не ждет, он после изготовится, других ждать будет.

— Бери катушку, аппарат — пулей в подсолнухи!

Кытин смахнул с губ шелуху, обтер ладони о колени, посерьезнел. Закинул автомат за спину, смерил прищуренным глазом расстояние.

— Я пошел.

Лег животом на бруствер, перекинул ноги, вскочил и побежал, метя лапами шинели по траве. Они смотрели. Не добежав, кинул вперед себя тяжелую катушку,

нырнул за ней следом головой в подсолнухи. Когда ударил пулемет, только шляпки раскачивались, указывая след.

— Суяров! Давай ты.

Тот сосредоточенно куском напильника по кремню высекал огонь. Торопился. Прикурил. Несколько раз подряд жадно затянулся. Цигарка вздрагивала в пальцах, а он сосал ее, сосал.

— Ждать, пока ты накуришься?

— Щас, товарищ лейтенант, щас...

Руки копошатся у рта, дергается обрубок безымянного пальца.

— Долго ты?

— Сейчас, товарищ лейтенант...

Лицо опавшее, все мокрое от пота, как облитое. Он стал вдруг отползать, сидя, заслоняться локтем.

Вии-уу! — потянулось к ним из-за поля. — Бах! Бах! Бах!

— Ты пойдешь, нет? Пойдешь?

И сапогами подымал его с земли, а тот ложился на спину.

— Пойдешь? Пойдешь?

Суяров охал изумленно, внутри у него охало. Опять разорвалось наверху. А они тут возились в дыму, в окопе. Не владея собой, Третьяков схватил его за отвороты шинели, поднял с земли, притянул:

— Жить хочешь?

И тряс, встряхивал его. Близко перед глазами — облитые потом веки, вздрагивающий, мерцающий взгляд.

— Больше всех хочешь жить?

И чувствовал дрожь в себе и сладостное нетерпение: бить. Пхнул от себя, Суяров глухо ударился спиной о стенку окопа, выронил из носа кровь, яркую, как сок недозрелой вишни. Распахнутыми глазами глядел с земли, а сам опять валился на спину, поднимал над лицом копошащиеся пальцы.

— Живи, сволочь!

Третьяков схватил его автомат, схватил катушку, большую восьмисотметровую немецкую катушку красного телефонного провода, выкинул наверх.

Кто-то стонущий свалился в окоп. Зеленая пилотка. Испуганный, мутящийся взгляд. Руками в крови, в земле зажимает живот сбоку. Увидел это, когда уже разгибался бежать. На миг спасительная мысль: остаться, перевязать... Но уже бежал, в руке гремела

катушка, провод сматывался на землю. И тут возник из-за поля вой мины. Ни выстрела, ни толчка — только этот отдельный, самый из всех слышный вой. И, пригибаясь все ниже по мере того, как возвышался вой, Третьяков с разматывающейся катушкой в руке бежал под него, как в укрытие, ноги сами несли быстрее, быстрее. И быстрее, быстрее, неотвратимей понеслось сверху. Снижался железный визг, в него одного нацеленный. Упал на землю. Всем своим распятым на земле телом, спиной между лопатками чувствовал его, ждал. И когда сделалось нестерпимо, когда дыхание перехватило, визг оборвался. Смертная зависла тишина. Зажмурился... Рвануло сзади. Вскочил живей прежнего. Отбегая, глянул назад. Дым разрыва стоял над окопом. Добежал до подсолнухов, упал. Глянул еще раз. Из самого окопа исходил дым разрыва. Там были Суяров и командир взвода в зеленой пилотке.

ГЛАВА VII

Прижимаясь к бревенчатой стене коровника, Третьяков ощупью дошел до угла, выглянул. Свистнуло у виска. Переждал, собрался. Вжав голову в плечи, перебежал пустое пространство. Упал. Жирная от навоза, перемешанная парными копытами засохшая земля. Вскочил, скидывая доску, запиравшую ворота, увидел, как под жердями загона проползает Кытин, весь вывалянный в соломе и навозе. Потянул ворота на себя, внутрь шарахнулись овцы.

Вбежал Кытин, разматывая за собой провод.

— Аппарат подключай, быстро!

И полез наверх. Мешала шинель. Торопясь, обрывая крючки, скинул ее на землю. Грохнуло за стеной, из пробоины в крыше солнечный столб косо уперся в солому. Третьяков опять влез на загородку, подпрыгнул, схватясь руками за балку, подтянулся, сел верхом. Слой птичьего помета, бархатный слой пыли лежал на ней. Вставши на балке во весь рост, прикладом автомата вышиб над собой шифер, полез наружу. По рубчатой крыше, придерживаясь рукой, взбежал на резиновых подошвах, лег за коньком на горячий шифер. Вот откуда распахнулось все!

Внизу он видел бой в деревне. На огородах, за домами накапливалась пехота, по одному перебежали улицу.

Пыльная улица, как смертная черта, по ней непрерывно мели пулеметы. Уже несколько человек распласталось в пыли. И все равно то один, то другой пехотинец отрывался от дома, бежал стремглав, вжимая голову, падал на той стороне.

За деревней, за садами, так близко, что лица различались в бинокль, увидел Третьяков минометную батарею в логу. Дюжий немец в каске, стоявший меж двух задранных вверх минометных стволов, с обеих рук поочередно опустил в них мины, пыхнуло раз за разом, и в траве приподнялся телефонист. Стоя на коленях, он ждал с трубкой. Что-то закричал, взмахнул рукой: немецкий наблюдатель, лежавший где-то с биноклем, передал ему команду.

Третьяков ударил в крышу прикладом автомата, пробил шифер рядом с собой:

— Кытин!

С яркого солнца глаза не различали, что там внизу: тьма, косые пыльные полосы света из пробоин в крыше.

— Связь есть, Кытин?

— Есть!

Кытин возился в соломе, что-то делал с телефонным аппаратом. В углу коровника сбились овцы.

— Батарею вызывай!

С вечера еще, когда садилось солнце, заметил Третьяков невысокий курган. Срезанный понизу туманом, он парил над полем, а на освещенной его вершине, показалось, копошатся немцы. Он дал по кургану один снаряд и приказал записать установки: репер номер один. От него он сейчас выведет снаряды на цель.

Командир дивизиона некоторое время путал его вопросами: проверял, не отсиживается ли он где-либо. Потребовал ракетой указать свое местонахождение, но ни ракеты, ни ракетницы у Третьякова не было.

На минометной батарее немец в каске тем временем поочередно опускал мины в стволы минометов. Ему подавали их снизу, а он — левой-правой, левой-правой — хвостами вниз опускал их и поспешно зажимал уши. Из стволов пыхало, и, пока мины летели в воздухе, он успевал другие покидать в стволы и что-то весело кричал и зажимал уши под каской. И дальше, за кустами, невидимые отсюда, били из оврага минометы. Там вздрагивали верхушки кустов, от них отскакивали летучие дымки, подхватываемые ветром, и каска то появлялась там, то исчезала. Минометная батарея вела губительный

беглый огонь, мины рвались на том самом поле между посадкой и подсолнухами, где лежала наша распластанная пехота.

Наконец разрешили открыть огонь. Третьяков передал команду. Бахнуло позади, будто не орудие выстрелило, а тяжким чем-то садануло в землю. Рызрыва своего он ждал не дыша. Из всего боя, из всей войны только и было сейчас для него то место на земле, где должен был взлететь разрыв снаряда. Немцы-минометчики попадали вдруг на землю. Потом начали подыматься. Но разрыва он так и не увидел.

Третьяков убавил прицел, взял левей. Пока ждал от Кытина «Выстрел!», увидел случайно, как от угла дома оторвался пехотинец, бежал через улицу, быстро мелькая подошвами окованных ботинок. Под ноги резанула пулеметная струя, как черту по пыли провела. Пехотинец упал.

— Выстрел! — раздалось снизу. Ловя ухом полет снаряда, он мысленно направлял его в цель, а сам уже стоял на крыше на коленях и не замечал этого.

Немцы еще дружной попадали на землю, но разрыва опять не было. Машинально глянул на то место, где упал пехотинец. Пусто. Никого. Но как-то не связалось в сознании: увидел и забыл.

В третий раз он передал команду, и снова все то же повторилось. Облитый потом — три снаряда выпустил и не только в вилку не взял цель, разрыва своего не нашел, — он резко убавил прицел. Пока ждал, увидел сверху, как из-под сарая, из-за телеги у стены, высунулась голова, плечи немца. Скрылся, опять выглянул. Третьяков лег за коньком крыши, потянул через голову автомат. Ремнем скинуло пилотку, успел только глянуть вслед, как она скользнула вниз по шиферу.

Немец уже вылез весь. Никем не видимый, он выбрался к своим. Сгибаясь, сильно припадая на левую ногу, побежал. Единственно боясь упустить, Третьяков повел следом ствол автомата. Он уже нажимал спусковой крючок, когда немец, словно ощутив, обернулся, показал лицо. Тревога и боязливая радость были на нем: спасся, жив! И тут же лицо дрогнуло непоправимо. Немец начал распрямляться, распрямляться, мучительно-сладко потянулся спиной, куда вошла очередь, выгнул грудь; поднятые, судорогой сводимые руки завело за плечи. И рухнул, роняя автомат.

В тот же самый момент увидел Третьяков свой разрыв. Среди других разрывов на поле, позади батареи, из кустов встал дым. Овраг там, низина — вот почему он не видел своих разрывов: в овраге рвались. Он изменил прицел.

— Выстрел! — прокричал снизу Кытин.

С биноклем у глаз Третьяков ждал. Солнце отвесно пекло затылок, мокрую спину между лопаток.

В логу немцы вдруг кинулись от минометов. Падали на бегу, распластывались кто где. Долгий, бесконечный миг ожидания длился. Отчетливо видел сейчас Третьяков в бинокль брошенную огневую позицию: ящики с минами, задранные вверх стволы минометов, блеск солнца на пыльных стволах — пусто, время остановилось. Один минометчик не выдержал, вскочил с земли... И тут рвануло из низины.

— Батарее три снаряда — беглый огонь! — кричал Третьяков. И пока там рвалось и взлетало, под ним дрожала крыша, на которой он лежал.

А когда опала выкинутая взрывами земля, когда дым потащило ветром, на огневой позиции, открывшейся вновь, ничего не было. Только перепаханная земля, воронки.

Потом заметил: что-то живое шевелится на той стороне оврага. Вгляделся. Одолевая гребень, выползал из оврага минометчик, через силу волочил себя по земле, как передавленный.

ГЛАВА VIII

В пыли и дыму, заслонивших солнце, сражение шло не первый час. Уже танки, застрявшие перед противотанковым рвом, перебрались через него, и один горел посреди поля. Был слух, что левой прошла панцирная пехота: в стальных касках, со стальными пластинами на позвоночнике, со стальным панцирем на груди, они будто бы раньше танков первыми форсировали противотанковый ров. За всю войну такой нашей пехоты Третьяков не видел, но говорили, что она прошла левой.

У противотанкового рва, расковыренного снарядами, стояла подбитая тридцатьчетверка, а по полю остались лежать пехотинцы. В своих выгоревших гимнастерках, со скатками через плечо, кто в пилотке, кто стриженной головой в жесткой, посохшей траве, сливались они

с этим рыжим полем. И уже ничей голос — ни взводного, ни ротного, ни командующего, окажись он тут, — не способен был поднять их. Никому не подвластные отныне, лежали они в траве перед противотанковым рвом, будто все еще ползли. И внизу, скатившись туда от разрыва, чуть не наступил Третьяков на полузасыпанного глиной бойца. Чей-то зеленый телефонный провод пролег через него поперек.

Когда вылезли изо рва и бежали с Кытиным по полю, разматывая за собой провод, пули высвистывали так близко, что Третьяков на бегу дергал головой, будто отмахивался от них. Внезапный артналет положил обоих. В какой-то миг, оторвав лицо от земли, увидел впереди угольно-серую, снеговую в жаркий день тучу. Клубящейся грозовой стеной стояла она, а перед ней высоко метались голуби, ослепительно белые. И вдруг увидел, как одного срезало пулей, впервые в жизни Третьяков увидел это. Голубя подкинуло выше стаи, закружась, он падал вниз, оставляя в воздухе перья из раскрывшегося крыла. И — холодом по сердцу: «Убьет меня сегодня!..» Подумал и сам испугался, что так подумал. В следующий момент, вскочив, он бежал по полю с автоматом в опущенной руке. Согнутые, бегущие впереди пехотинцы в своих гимнастерках казались белыми перед черной стеной тучи, как на негативе.

Нырнув головой в дым разрыва, падая, Третьяков поймал на лету снижающийся вой мины. И стон чей-то близко, захлебывающийся, жалобный: «Ой! О-оо! Ой-е-ей!..» Стремительней вой мины. Больней стон. И еще два голоса лаются поспешно: «Дай, говорю... Отдай!» «Вот она тебе щас даст... Щас отдаст...» Показалось, один голос — Кытина. Грохнуло. Стон оборвался. Когда Третьяков вскочил, Кытин и пехотинец в пыли разрыва тянули друг у друга из рук катушку немецкого телефонного провода, топтались на месте. Пехотинец был здоровей, рослый, в распахнутой шинели. Кытин, успевая перехватываться, ударял его по рукам сверху. И еще ногой доставал. При этом кричал отчаянно:

— Товарищ лейтенант! Лейтенант!

Железный скрежет снаряда. Оба присели, катушку ни один не выпускал из рук.

— Товарищ лейтенант!..

— А ну, брось! — набежав, закричал Третьяков. Пехотинец неохотно отпуская руки.

— Моя катушка. Я ее нашел на поле...

Взрывной волной качнуло всех троих. Вытряхивая землю из-за шиворот, Третьяков видел, как Кытин на короточках уже подсоединяет конец добытого провода:

— Нашел — еще найди. Их вон сколько...

А сам прятал довольную улыбку.

Они спрыгнули в траншею, когда над ней еще стояли пыль и дым. Усевшись на катушку с проводом, словно и тут охраняя ее, Кытин подключал аппарат. Третьяков лег локтями на бруствер, оглядывал поле в бинокль. Стекла окуляров запотевали, пот щипал растрескавшиеся губы, тек по груди под гимнастеркой.

Впереди спешно окапывалась пехота. Среди переползавших по земле, распластанных на ней пехотинцев столбом взлетали разрывы, дымы шатало над полем, и безостановочно, не давая пехоте подняться, секли пулеметы. И над головой, за толщей воздуха — дrr!.. дrr!.. — глухо раздавались пулеметные очереди, то снижаясь, то отдаляясь, завывали моторы — клубком перекатывался воздушный бой.

По траншее все время перебегали люди. Один раз, прижавшись к стенке, мельком увидел Третьяков, как протасили под мышки кого-то. Задравшаяся гимнастерка, впалый желтый живот... Знакомой показалась стриженная голова с залысинами, чья-то рука надевала на нее пилотку.

Прибежал исчезнувший было Кытин.

— Товарищ лейтенант, там такие туннели под землей! Метров десять глубины, ага!

А сам уже что-то жевал.

— Хлеба хотите? Он там все побросал. Идите гляньте. Над головой метров десять глины, ни один снаряд не возьмет.

За поворотом траншеи в боковой щели друг на друге лежали убитые немцы. Верхний раскинул ступни в продранных носках, мундир разорван у горла, вместо лица — запекшаяся черная корка земли и крови, а над ней ветром шевелило волнистые светлые волосы. Несколькими раз переступал Третьяков через убитых немцев, пока спускался вниз, в темноту после яркого солнца, хватаясь за стены руками.

Тут все звуки глуше, от взрывов — они, как удары, отдавались под землей — подскакивали огни свечей и сыпалось с мощного глиняного свода. На полу, в желтом сумраке, белели бинты раненых. Среди них увидел он командира роты. Голый по пояс, коричневый в этом

свете, сидел он на земле, а санитар, стоя на коленях, обматывал ему грудь бинтами. Узнав Третьякова, командир роты поднял бессильно клонившуюся залысую голову:

— Вот... опять стукнуло... На один бой меня не хватило...

Туннель, как дымом, наполнялся пылью, удары отдавались непрерывно, и уже казалось, что-то происходит наверху. Стоя над командиром роты, Третьяков спрашивал:

— Старшой, ты говорил, начальник штаба у вас был под Харьковом. Здесь он, а? Не видал? Про дядьку хотел узнать...

И взглядом торопил, помогал вспомнить. Но командир роты, подняв голову, смотрел на свод потолка, откуда на лицо ему сыпалась глина. Среди раненых возникла тревога. Они щупали вокруг себя оружие, некоторые куда-то ползли.

Наверху все грохотало. Пока пробирался туда, повсюду в проходах толклось множество набежавшего откуда-то народа. И в траншее — толкотня, крики, испуганные лица. Визгнуло коротко. Разрыв. Разрыв. Танки! Еще и голову не высунув из траншеи, понял: они. Бьют прямой наводкой: выстрел — разрыв. Опять визгнуло коротко, всех пригнуло в траншее. Осыпанный сверху, Третьяков выглянул из-за бруствера: танки. Низкие, длинноствольные, они появились из-за бугра, на котором вращались крылья мельницы. Два танка... Еще за ними — один, два, три... У переднего пушка сверкнула огнем. Дало так, что звоном уши заложило.

— Кытин!

Валялся засыпанный землей аппарат. Катушки с проводом нет. И Кытина нигде нет. Третьяков схватил трубку. Нет связи. Неужели убежал?

На поле лежала неokoпавшаяся пехота. Танки шли, и перед ними, как ветром, снимало с земли людей. Они вскакивали по одному, бежали, пригибаясь, словно на четвереньках, разрывы сметали бегущих.

— Я те побегаю! Я те побегаю! — яростно кричал в трубку командир батальона и тряс матерчатым козырьком фуражки над глазами, а сам весь под землей стоял, в проходе в туннель.

Лейтенант-артиллерист беспомощно суетился с картой у телефона, белый-белый. Оправдывался в трубку, огня не открывал.

— Какие у тебя пушки?— крикнул Третьяков.
— Гаубицы... Стодвадцатидвух...
— Где батарея?
— Вот. Вот,— показывал лейтенант на карте, смотрел с надеждой.

Третьяков прикинул расстояние:

— Открывай огонь!

И стал передавать команду.

Какой-то парень, чубатый, в сержантских погонах, неизвестно почему толкавшийся здесь, восхищенно смотрел на Третьякова.

— Вот молодец, лейтенант!

И тут Третьяков услышал в трубке задыхающийся голос Кытина:

— Акация, Акация!..

— Кытин?

— Я! Тут порыв на поле...

И сейчас же голос командира дивизиона:

— Что там у вас происходит? Третьяков! Что делается там у вас?

— Немец контратакует танками! Надо заградительный огонь...

— Танки, танки... Сколько видишь танков? Сам сколько видишь?

— Пять видел... Сейчас...

Он хотел сказать «посчитаю», его ударило, сбило с ног. Комья земли рушились сверху, били по согнутой спине, по голове, когда он, стоя на коленях над аппаратом, сдерживал тошноту. Тягучая слюна текла изо рта, он рукавом вытирал ее. Подумал: «Вот оно...» И поразился: не страшно.

На дне траншеи ничком лежал чубатый сержант, выкинув перед собой руку. Пальцы на ней шевелились. А там, где только что комбат кричал и тряс козырьком, дымилась рыхлая воронка.

Поднявшись на слабых ногах, не понимая, ранен он, не ранен,— но крови на нем нигде не было,— Третьяков увидел поле, разрывы, бегущих, падающих на землю людей. Медленно, словно это голова кружилась, вращались на бугре пробитые полотнища — крылья ветряной мельницы, то заслоня нижним краем, то открывая идущие танки. И чувствуя неотвратимость надвигающегося и остановившееся время, сквозь звон и глушь в ушах, как чужой, слыша свой голос, он передавал команду дивизиону. Вскинул бинокль к глазам. Резче,

ближе все стало, притянутое увеличительными стеклами. Взблескивая гусеницами, надвигался вырвавшийся вперед танк, и крыло мельницы с оторванным полотнищем, опускаясь сверху, отделяло его от остальных.

Вскинулся разрыв. Что-то дернуло телефонный аппарат, поволокло с бруствера. Подхватив его, прижимая коленом к стенке окопа, Третьяков прокричал новую команду. Сильней дернуло аппарат. Обернулся. Над бруствером — черное, белозубое улыбающееся лицо.

— Насруллаев!

Еще шире, радостней улыбка, зубов сто выставил напоказ, и все белые, крепкие. Насруллаев, его связист, лежит на земле. Приполз. И две катушки телефонного провода на нем. И провод в руке, за который он дергает.

— Вниз прыгай! Быстро!

Улыбается, как будто не понимает русского языка.

— Вниз, кому говорю! Кытин где?

Потянулся сдернуть Насруллаева в окоп, но ударило под локоть, болью прожгло руку. Он подхватил левую руку другой рукой, в которой была телефонная трубка, не понимая, кто его ударил, чувствуя только, что не может вдохнуть. И раньше, чем он увидел свою кровь, увидел страх и боль на лице Насруллаева, смотревшего на него. Потом закапало из рукава шинели. Сразу ослабев, чувствуя, как обморочно немеет лицо, губы, он сел на дно траншеи, зачем-то здоровой рукой нашаривая рядом с собой автомат.

ГЛАВА IX

Горела деревня, вдали за нею горела станция Янцево. Там все рвалось, из огня, как искры из костра, взлетали в черное небо трассы пуль. Все это возникало то позади, то сбоку, то спереди откуда-то. Машина бездорожно ползла по полю во тьме, в сумеречных отсветах пламени, проваливалась в воронки, раненые катились друг на друга, стонали, копошились в кузове, пока полуторка, завывая слабым мотором, выбиралась на ровное. И опять кружили по полю, то отдаляясь, то будто вновь приближаясь к бою. Один раз, как видение, возникло: догорающая мельница распадалась на глазах, рушились огненные куски; словно раскаленный проводочный каркас, светился остов.

От толчков и тряски у Третьякова пошла кровь горлом, он вытирал рот рукавом. Вытрет, посмотрит — черный мокрый след на сукне. Из всех ран только одну и почувствовал он в первый миг, когда ударило под локоть по самому больному, по нерву, вышибло автомат из руки. А потом еще четыре дырки насчитал на нем санитар. Дышать не давал осколок, вошедший меж ребер. Из-за него и шла кровь ртом. Весь сжимаясь в ожидании боли, он приготавливался к новому толчку, когда опять машина провалится и отдастся во всех ранах.

— Ой, о-ой! — всхлипывал рядом с ним младший лейтенант. — Ой, боже мой, что же это? Ой, хоть бы скорей бы уж...

Один раз, когда особенно резко трянуло, Третьяков от собственной боли закричал на него:

— Имей совесть в конце-то концов! Тебе что, хуже всех?

И тот замолчал. И опять кружили по полю, кружению этому не было конца, мотор то завывал с надрывом, то глох, свет ракет опускался в кузов до самого дощатого пола, и вновь смыкалась темнота. А время измерялось толчками и болью.

Стали. Раздались голоса в темноте, шаги. Заскрежетало железо. Откинулся борт. По одному начали снимать, сводить раненых. Когда снимали младшего лейтенанта, он не стонал. И голоса замолкли. Его отнесли в сторону, положили на землю в темноте.

Незнакомый старшина помог Третьякову слезть, суетился, подставлял под него плечо:

— На меня, на меня обопрись. Сильней наваливайся, ничего.

Присохшая к ране штанина оторвалась, горячее потекло по ноге. Значит, еще одна дырка. Ее не чувствовал до сих пор. Быстро подошел кто-то решительный, маленький, в ремнях. Третьякова остановили перед ним

— Вот ты какой, лейтенант... Сейчас мы тебя отправим, медицина подлечит, опять вернешься в полк. Будем ждать.

Сверху Третьяков увидел на нем погоны капитана, понял: командир дивизиона. Из боя по голосу не таким он представлялся маленьким.

— Я на тебя кричал сегодня. — Капитан нахмурился строго. — Все мы в бою нервные. Ты не обижайся, чельзя.

— Я не обижаюсь.

Все плыло перед глазами, деревья над головой качались, а может, это он качался. И трудно было дышать.

— Нельзя обижаться, вот именно: нельзя.

Опять старшина повел его, а он просил, плохо слыша свой голос:

— Меня туда... Туда отведи...

Осколок меж ребер не давал вдохнуть.

— Туда... старшина...

И тянул к кустам. А тот, не понимая от старательности, только сильнее подпирал плечом, взваливал его на себя:

— Шас мы придем, недалеко тут, шас...

— Старшина...

— Ничего!

Наконец догадался, засуетился, сам начал снимать с него ремень, распустил ремешок на брюках.

— Отойди, — просил Третьяков.

— Чего там!

— Отойди... прошу... — Вдохнуть глубоко не мог, голос от этого был совсем жалобный. — Да отойди же.

Рукой держась за деревце, он качался с ним вместе, слабый, хоть плачь. Но и это готов был перенести, только б не стыд. А старшина, дыша махоркой и водочкой, повторял: «Чего там!» — и не обидно, охотно, просто обходился с ним.

— А мне доведись? — говорил он, за таким делом окончательно перейдя на «ты». — Неужли не помог бы? Тут друг дружке помогать надо как-либо.

И не отходил, поддерживал его все это время. После сам застегнул на нем штаны — у Третьякова уже и сил не осталось сопротивляться, оправил гимнастерку, поглядел на командирский ремень у себя в руках, на пряжку со звездой, застеснялся:

— Ремень у тебя хороший... Они, в госпитале, знаешь как? Что на ком прибыло, то им и найдено. Лежал, знаю.

Вздохнул, помялся: очень ему не хотелось расставаться с ремнем.

— А если который без памяти, так и концов потом не найдет и спросить не знай где.

— Бери, — сказал Третьяков, будто рукой махнул. Не ремня ему сейчас было жалко. Чего-то совсем другого по-человечески было жаль. Да и это уже становилось безразлично. А тот радостно засуетился, запоясывал его своим ремнем, говоря невнятно:

— Мой тоже годный еще. А что потрепался, так его солидольчиком смазать...

Заправил, обдернул — болью каждый раз отдавалось в ранах, — заверил с легкостью:

— Тебе там новый дадут!

Опять Третьякова куда-то вели, везли, трясли. Потом он сидел на земле. Сквозь лес прозрачное светилось зарево: красное зарево, черные деревья на нем. И всюду под деревьями лежали, сидели, шевелились на земле раненые. Погромыхивало. Из палатки невдалеке выводили перевязанных, свежие бинты на них резко белели. И пока санитары, ступая меж людьми, выбирали, кого следующего взять, раненые с земли смотрели на них, стопы становились жалобней. Вынесли человека на носилках. Брезентовый полог проехал по нему от сапог до головы в бинтах.

Третьяков слышал все сквозь звон в ушах. По временам звон начинал отдаляться, проваливался... Вздрогнув, он просыпался. Сердце колотилось с переборами. Он знал: спать нельзя. Это как на морозе: заснешь — не проснешься. И крепился, чтоб не заснуть. А в нем слабело все, сердце уже не билось, дрожало. Он чувствовал, как жизнь уходит из него. Один раз услышал над собой голоса:

— Не спи, лейтенант!

Черная тень заслонила зарево, нагнулась ниже:

— Э-э, ну-ка давай. Давай, давай, вставай... Пособи, Никишин. Вот так. Во! Идти можешь?..

Жесткий брезент, ободрав по лицу, скинул с головы пилотку. Санитар поднял, сунул ему в карман шинели. Внутри, под белым провисшим пологом, свет керосиновых ламп ослепил.

Пока раздевали его, все возникало отдельно. В углу — голый по пояс человек, поддерживая одну руку свою другой рукой, смотрел сверху, как сестра вытягивает пинцетом у него из локтя, из черной дыры, пропи- таный коричневый бинт.

Над столом нагнулись врачи в масках. Там, под руками у них, — остриженная круглая голова, вместо виска и скулы — масляные сгустки крови, сплошная рана. Никелированными щипцами врачи копошатся в ней, вынимают что-то, звякает металл в тазу под столом. Глаза человека, блестящие сильно, черные, нерусские в разрезе, смотрят перед собой отдельно от боли,

отдельно ото всего, а желтая нога, вылезшая из-под простыни, дрожит мелкой дрожью.

Третьяков тоже дрожал, раздетый догола. Теплым был стол, когда его туда положили. Хирург у отодвинутого полога курил из чужой руки. Свои руки в перчатках держал поднятыми на уровень плеч. Завязанный по глаза нагнулся сверху, маска притягивалась дыханием, обозначая рот, нос, притягивалась и отпадала. Чем-то тупым повели по телу. Звякнул металл в тазу. Опять будто тупым скальпелем провели, тело само сжималось от ожидания боли. Еще несколько раз звякало в тазу. И — резанула боль.

— Ноги прижмите! — сказал хирург.

Раскаленное вошло внутрь до самого сердца, задохнулся.

— Кричи, не терпи! Кричи!

Женский голос то пропадал, то рядом дышал, над ухом. Кто-то промокал ему бинтом лоб, лицо. Один раз близко возникли глаза хирурга, глянули зрачки в зрачки. Что-то сказал. И просторней вдруг стало сердцу.

Когда уже перевязывали, женщина подала в ватке кровавый сгусток.

— Осколок на память возьмешь?

— Зачем он мне?

И этот звякнул о таз.

Слабого, дрожащего отвели Третьякова в палатку. И под шинелью, под одеялом он продрожал полночи. Закроет глаза и опять видит: бегут согнутые пехотинцы в сухой траве, впереди стеной — черная туча, гимнастерки на пехотинцах и трава — белые. А то вдруг видел, как дрожит на операционном столе желтая нога, каменно напрягшаяся от боли, со сжатыми в щепоть пальцами. И не раз в эту ночь видел он Суярова, зажмуривался и все равно видел, как бил его там, под обстрелом, на гиблом этом поле, а тот повалился на спину, мигает, заслоняясь руками. Ведь это последнее, что было у того в жизни: как били его. На черта он взял себе это на душу!.. И еще палец на руке, безмянный, — отрубленный, как у мамы...

Пехота бежала среди взлетающих разрывов, и туча дыбилась стеной за противотанковым рвом. Что-то закрубилось в ней, как пыль закрутило смерчем. Покачиваясь, оно приближалось. И вдруг со сладкой болью в груди все в нем раскрылось навстречу:

«Мама!»

Печальная-печальная стояла она на той стороне, смотрела безмолвно. Он чувствовал ее, как дыхание на щеках.

«Мама!»

И, задыхаясь от любви к ней, радуясь, что впервые за взрослую жизнь он может сказать ей это и ничего между ними не стоит, он устремлялся к ней, а его тянули за плечо, не пускали, оттягивали назад. Он дернулся с болью и проснулся. В сером рассвете чья-то забинтованная голова, как белый шар, качалась над ним.

— Чего тебе? — спросил Третьяков и отвернулся: щеки его были мокры от слез.

— Кричал ты. Может, нужно что?

— Ничего мне не нужно.

Он жалел, что его разбудили. Долго лежал так. Светало. В палатке началась суэта. Санитары срочно поили раненых горячим чаем, подбинтовывали, проверяли повязки. Несколько раз, взволнованный, заходил врач. Что-то готовилось. Наверное, отправка в тыл.

Снаружи, за пологом, когда его открывали, все было в росе. И они лежали вровень с росой. Холодное солнце поднялось и стояло над лесом. Раненые прислушивались к недалекому гроыханию боя, шевелились беспокойно на соломе, застеленной плащ-палатками.

Рядом с Третьяковым, спеленатый бинтами, сидел командир батареи противотанковых пушек. Обеих рук у него не было выше локтей. Третьяков чувствовал парной, железистый запах его крови, пропитавшей бинты в тех местах, где кончались обрубки рук. Поддерживал комбата под спину боец его батареи, тоже раненный в этом бою, поил чаем из кружки, кому-то рассказывал за его спиной, как пошли на них немецкие танки, как все получилось.

— Главное, он ведь портной был до войны, — громко говорил боец, словно бы без рук комбат теперь уже и не слышит, и кружкой не попадал ему в губы. А тот сидел, ждал покорно. — Как ему без рук? Без рук он и на хлеб себе не заработает, — все так же при нем, как без него, говорил боец.

Что-то кавказское или еврейское было в лице комбата: белый нос с горбинкой, глаза навывкате, рыжеватые пониклые усы на бескровном лице. Отчима оно напомнило Третьякову, только тот усов не носил.

Резко раздернули вход в палатку и, заслоня солнце, вместе с длинными тенями, двинувшимися впереди них

по земле, толпой вступили в палатку несколько офицеров. Первым — полковник в орденах. Из-за голов испуганно выглядывал врач.

— Здорово, орлы! А кто первым из вас в бою вскопчил в немецкую траншею? — Молчание было некоторое время. Полковник ждал. Шелестом прошло по раненым: «Командир дивизии!..» У входа в палатку поднялся с соломы легкораненый боец, молодой, бравый — хоть под знамя ставь.

— Я, товарищ полковник!

Командир дивизии оглядел его.

— Молодец! Герой!

И только повернул назад тугую шею, а уже адъютант из ящичка, который перед собой держал, подавал большую серебряную медаль «За отвагу». Она покачивалась на колодке. Командир дивизии собственноручно приколот ее солдату на грудь.

— Заслужил! Носи!

Еще один поднялся, не такой бравый на вид. Под гимнастеркой, натянутой вверх, прижата к животу согнутая в локте рука. И сам он весь над ней согнулся.

— Я тоже, товарищ полковник...

И ему прикрепили медаль на гимнастерку. Больше никто встать не решился. Только слабый чей-то голос спросил из угла:

— Станцию самую взяли, товарищ полковник? Как ее, станцию эту?..

— Взяли, взяли, орлы! Выздоровливайте. Медицина у нас хорошая, всех, кто способен, вернет в строй!..

И так же стремительно вышел. За ним толпой — остальные. Последним догонял врач, оглядывался на раненых строго.

ГЛАВА X

Нескончаемо скользила земля под насыпью, сизая пряжа паровозного дыма повисала на телеграфных проводах, кружили, кружили, исчезая, возникая вновь, осенние перелески. И засыпал он под скрип вагона, под стуканье, толчки колес внизу и просыпался — все так же расстилает ветром по жнивью паровозный дым, поворачиваются поля, и под осенним пронзительно-синим небом маячит лес вдаль, ярко-желтый, когда упадет на него солнце.

Где-то на севере снег, наверное, уже выпал: холодом наносило в дверь вагона. А здесь, сколько едут, все так же прощально греет солнце эту осеннюю землю, по которой дважды прокатилась война и в ту и в эту сторону.

Проснулся он — санлетучка стоит в поле. Тишина. Дверь вагона откатили, в проеме, свесив босые ноги на ветерок, сидит на полу боец в галифе, в бязевой рубашке с оторванным левым рукавом. Руку разбинтовал, нагнул над ней стриженую голову, выбирает из раны червей тоненькой щепочкой. Другой боец стоит внизу, смотрит внимательно, сматывает бинт. Еще один подошел, прохрустев костылями по осыпающейся щебенке:

— На что ты их выбираешь? Они полезные, рану очищают.

— Ага... Знаешь, как под повязкой щекотят!

Тонко засвистел паровоз в голове состава. В открытую дверь полезли раненые, совали внутрь по полу костыли, кто-то прыгал снаружи, схватясь руками. Его втянули в вагон.

И опять скользит земля под насыпью, садится дым на провода. Тишина в полях.

С верхних нар Третьяков смотрел, смотрел на эту осеннюю красоту мира, которую мог бы уже не увидеть. Ненадолго хватило его в этот раз, на один бой и то не до конца. А на душе спокойно. Сколько же это надо народу, если война длится третий год и одному человеку в ней так мало отмеряно?.. Перед училищем он все же год пробыл на фронте, и ранило его тогда по глупости: не ранило, ушибло. Конечно, тот Северо-Западный фронт, где все велись бои местного значения, не равнять с этим. Но и там убивало, много там осталось в болотах, в тех сырых, заболоченных лесах.

Паровоз потянул на подъем, дым снаружи стал угольно-черный. Живой колышущейся тенью занавесило солнце в вагоне. Сквозь тяжкое, как из туннеля, пыхтение паровоза доносился с нижних нар чей-то веселый голос. Временами его забивал перестук колес, скрип вагонного дерева. А то вдруг голос слышней становился:

— ...Они рубашки поскидали, вшей на них!.. Расстелили на столе, сидят друг перед другом, каждый на своей ногтем давит: «Айн рус капут! Цвай рус капут!..» Обхохочешься с печи глядеть. И сами смеются.

Рассказывал тот парень, который недавно щепочкой вынимал червей из раны, Третьяков по голосу узнал.

Одолев подъем, паровоз тяжело выдохнул из себя долгий гудок, опять стал слышен голос под ногами:

— ...Бой... Да никакого боя не было! Наши с вечера отошли, склад запалили, бабы всю ночь растаскивали, кому что досталось. Утром они входят. Я как раз на крыльце сидел, лепешку молоком запивал. Гляжу — едут на велосипедах. Жара, едут в одних трусах. Сапоги только и автоматы на голых шеях висят — во война! Я уж большой был, испугался, убежал в хату. Пацаны после рассказывали, они бегали глядеть: эти выезжают на плотину за деревней, а по оврагу два красноармейца идут, песни орут: оба пьяным-пьяны. И еще в карманах по бутылке. Эти сразу автоматы наставили: «Рус, хенде хох!» Они и подняли руки.

Под покачивание и скрип дерева голос то громче слышался, то выпадал, и в какой-то момент Третьяков, слабый от потери крови, провалился в сон.

Он увидел себя под мостом: лежал в траве, затаясь за огромным камнем, а по мосту ехали немцы на мотоциклах.

Он слышал треск и выхлопы мотоциклов, видел, как шевелятся над ним бревна настила.

Стихло... Выглянул из-за камня. Впереди — сухое русло оврага, кусты. И вдруг почувствовал — не увидел, лопатками, спиной почувствовал на себе взгляд. Обернулся — немец. Стоит наверху, смотрит на него. Без шапки, мундир на потной груди расстегнут, из пыльного голенища торчит запасной магазин автомата. Не слезая с велосипеда, только повалив его себе на ногу, немец наверху оврага следил, как он вылезает на свет из-под моста. Враз обессиленный жутким сознанием несправедливости случившегося, он, не разогнувшись, снизу вверх смотрел на немца, а мысль металась загнанно: только что все было по-другому, и уже не изменишь, не исправишь ничего. Немец снимал с потной шеи автомат, помаргивал белыми ресницами. И, чувствуя, как отнялись ноги под наставленным дулом, он дернулся, крикнул и от своего крика проснулся.

Лежал, оглушаемый толчками крови в ушах, еще не веря себе, что жив. Почему во сне всегда так страшно бывает? Ни разу в бою не было ему так страшно, как приснится потом. И всегда во сне ты бессилен перед надвигающимся.

Несколько дней спустя из окна санитарного поезда, из простынь, под мягкое покачивание рессор, увидел он

из тепла мелькнувший за стеклом, прибитый заморозком, еще не опавший сад. И ясно вспомнилось — даже запах почувствовал холодных осенних яблок, — как они всем классом ездили в подсобное хозяйство. На мокрой от росы желтой листве стояли старые корявые деревья, яблоки на них были ледяные, из кучи листьев подымался горьковатый дымок костра, ветром разносило его по саду.

А когда среди дня из серых туч повалил снег с дождем и стало темно, они собрались в сторожке при огне, озябшими красными руками выхватывали горячие картофелины из чугуна, стоявшего на столе, макали в соль. И молоко, налитое в кружки...

Все это так давно было, словно в другой жизни.

ГЛАВА XI

Здесь уже легла ранняя уральская зима. И таким белым был по утрам свет снега на потолке палаты, а солнце искрилось в мокрых стеклах, с которых обтаивал лед. Однажды раненные взломали заклеенное окно, сгрудились в нем, хлопали в ладоши, кричали сверху, били костылями по жести подоконника:

— Дорожную давай!

Внизу, во дворе, у пригретой солнцем кирпичной стены бывшей школы, а теперь — госпиталя, школьный струнный оркестр на прощание выступал перед теми, кто вновь отправлялся на фронт.

— Дорожную давай! — кричали из окна.

Третьяков еще не ходил, но и на другом конце палаты хорошо было ему слышно, как в несколько мандолин и балалаек дернули во дворе понравившийся мотив. И молодой, радостный голос звучно раздавался на морозе:

Не скучай, не горюй,
Посылай поцелуй у порога...

Слепой капитан Ройзман шел на свет к окну, хватаясь за спинки кроватей, опрокидывая табуретки по дороге.

Широка и светла
Перед нами легла путь-дорога-а...

Три раза подряд исполняли внизу все ту же песню. Никакую другую раненые не хотели слушать: понравилась эта, вновь и вновь требовали ее. И опять ударяли по струнам и, радуясь своей молодости, звучности, силе, высоко взлетал над всеми голосами чистый девчоночий голос:

Не скучай, не горюй...

Набежали в палату сестры, захлопнули окно, распи- хали раненых по кроватям:

— С ума посходили! На дворе мороз, воспаления легких захотелось?

В тот же день прихромал на протезе одноногий са- нитар. Когда-то и он отлежал здесь свой срок, выписал- ся, а ехать некуда: дом его и вся их местность под не- мцами; так в госпитале и прижился. Он гвоздями на- крепко забил окно, чтоб уж не раскрыли до весны: теп- ло тут берегли. Но до самого вечера все летал по палате этот мотив: один забудет, другой мурлыкает, ходит, сам себе улыбается. А в углу, поджав ноги, как мусульма- нин, сидел на своей койке Гоша, младший лейтенант, тряс колодой карт, звал сыграть с ним в очко.

По годам почти такой же, как эти школьники, успел он в своей жизни только доехать до фронта. Здесь эше- лон попал под бомбежку, контуженного, увезли Гошу в госпиталь. Но он опять сбежал на фронт и попал уже не под бомбежку, а под артналет. В себя пришел он в госпитале. Врачи говорили, что это прежняя его кон- тузия отдалась. А может быть, контузило вновь. Сам Гоша ничего толком ни разу не рассказал: начинал вол- новаться, заикался так, что слова промывать не мог, только сотрясался весь, как всхлипывал.

Каждый день с утра он уже сидел посреди кровати с колодой карт: ждал, кто сыграет с ним в очко. И вся вдаль угадывалась его судьба. Видел Третьяков таких ребят на базарах, у пивных, когда случалось в училище получить увольнительную: сидели безногие на земле, играли в «колечко», «веревочку», что-то меняли из-за пазухи, жили одним днем. Или, зажав в синих култыш- ках рук вскрытую пачку папирос, тряслись на морозе, торговали поштучно. Оттого-то врачи не спешили вы- писывать Гошу.

А видно было по всему, что парень он геройский и рвался на фронт подвиг совершить, но не выпало ему ни совершить ничего, ни погибнуть с честью.

По пятницам мимо госпиталя гнали в баню курсантов пехотного училища. Из бани возвращались с песней. Над колышущимся строем, над паром от серошинельных спин, от мокрых веников, дрожал не набравший мужества ломкий на морозе голос запевалы:

Там, где пехота не пройдет,
Где бронепоезд не промчится,
Угрюмый танк не проползет...

Хруп, хруп — сапоги по снегу. Ожидающая тишина. Один над всеми в середине строя — голос запевалы, страшно за него: вот-вот не хватит дыхания, обронит песню. А он на последнем взлете и себя не щадит:

Там пролетит сталь-на-я пти-ца-а...

Как отрубив, заглушая шаг, лихо рывкали курсантские голоса кем-то присочиненный припев:

Прощай, Маруся, дорогая,
Я не забуду твои ласки.
И, может быть, в последний раз
Смотрю я в голубые глазки.

И снова на морозе звон-хруст кованых сапог, пар из ртов, пар над ушанками. А снежная улица пуста, широка, запертые ворота обмело снежком, белые дровяные дымы стоят над печными трубами, и некому в окна глядеть, как они идут и поют: война, кто не на фронте, работает для фронта по двенадцать часов. Разве что присунется к стеклу старушечье лицо в платочке, слепо смотрят вслед выцветшие глаза.

Мороз поджимает, курсанты идут быстро. Не шинелька греет сейчас, а песня и шаг: хруп-хруп, хруст-хруст. За строем, как воробьята, — ребятишки, забегают с боков поглядеть, им бы тоже — в ногу! в ногу! Да раненые в окнах госпиталя улыбаются, словно в прошлое на самих себя глядя.

Через полмесяца, когда окреп, сделали Третьякову еще одну операцию: вынули из руки мелкие осколки, сшили нерв и завернули его в целлофан. «Как конфетку тебе его завернули», — сказал хирург.

Операцию делали под местным наркозом, а на ночь, когда самая боль должна была начаться, оставили сестре для него ампулу морфия. Почти до утра проходил он по коридору, но укола делать себе не дал. В их офицер-

ской палате лежал старший лейтенант, тоже артиллерист, кости рук у него были перебиты разрывными пулями. Пока его трясли в санлетучке, везли в санитарном поезде, кололи ему морфий, чтобы спал и давал спать другим. И теперь он выпрашивал морфий у сестер, выменивал, врал, клянчил униженно. Насмотревшись, Третьяков решил лучше терпеть, чем вот в такого превратиться, хоть сестры и смеялись над ним, говорили что от одного укола морфинистом не становятся.

Под утро, пожалев, налили ему полстакана спирту, он выпил, лег, навалил подушку на голову и спал оглушенный. Снилось ему, будто слышит он голос, тот самый голос, что пел во дворе «Не скучай, не горюй...». И хорошо ему было слушать, как она говорит над ним, и боялся проснуться. А проснулся и не знал, спит он или не спит: голос был слышен, не исчез. Он осторожно сдвинул подушку. Белый свет снега в палате, белые ветви качаются за окном, и такая во всем ясность, как бывает после бессонной ночи. А через две койки спиной к нему сидит девочка в белом халате, косы до табуретки. Валенки на ней солдатские, серые, подшитые толсто. Косы шевельнулись на спине, она повернула голову — на миг увидел ее взволнованно блестящий глаз.

На койке, около которой она сидела, — капитан с орденом Красного Знамени. Единственный в их палате, он держал орден не под подушкой, а носил его привинченным к нательной рубашке под халатом, так и ходил с ним. Был он уже не молод и ранен тяжело: осколок мины остался у него в мозгу. От врачей знали, что может он и жизнь прожить с этим осколком, но может в любой момент внезапно умереть. У него бывали такие приступы головной боли, что он ложился пластом и лежал, весь белый.

В палате постукивали костяшки домино, забивали «козла» на обеденном столе. Шаркал туфлями по полу, натыкался на койки слепой капитан Ройзман. Девочка говорила тихо, Третьяков не все разбирал:

— Простить себе не могу... не понимала совершенно... И страшно нервничает. «Ты что забыла?» Тут только поняла, ведь у него всего полчаса осталось... Курил одну папиросу за другой... сказать хотел... Прибегаю, все наши давно на перроне...

Третьякову показалось на слух, что она повернулась в его сторону.

— Он спит,— сказал капитан.— Ему вечером делали операцию.

И обидно вдруг стало, что она даже не спросила ничего, что он для нее только помеха в разговоре.

Кровать резко толкнуло: это Ройзман наткнулся боком. Опять зашаркали шаги, отдаваясь. Она заговорила тише:

— А потом, когда раздались свисток и гудок, мать бросилась целовать его. Как она его целовала! В шею, в затылок, в голову... Я только тогда почувствовала, только тогда поняла, что это такое. Мне было приятно, что он пришел, а у меня волосы распушены по плечам. А он умирать ехал.

Третьякову хотелось увидеть ее лицо, но видел косы на халате, большие серые валенки под табуретом. Вдруг вспомнил, где он эти валенки видел однажды. Их санитарный поезд стоял у перрона, лежачих выносили на носилках, ходячих под руку вел санитар. И вот, когда сводили его со ступенек, из-под вагона вылезли двое: девочка, вся замотанная платком — мороз был сильный,— и парнишка в черной кожаной ушанке. Они оглядывались, не видит ли их кто,— оба радостные, удачливые, и полное ведро чадящего непрогорелого угля было при них: на путях собирали. И он заметил валенки солдатские на ней, точно такие, огромные. Может быть, это она и была?

— Ребята,— позвал Ройзман. Подняв руку — серый фланелевый рукав халата опал вниз,— он ощупывал край окна.— Это окно, да?

Перестали стучать костяшками домино. Темный против света, Ройзман трогал стекло, трогал раму. Глаза его, ничуть нигде не поврежденные, ясные и незрячие, растерянно оглядывали палату, глядели мимо всех.

— Свет отличаю. Вот... Вот он...

И дрожащей рукой ловил свет в стекле.

ГЛАВА XII

Из коридора вблизи перевязочной, где холодом веяло от стекол, были видны вдаль железнодорожные пути, вокзал, белые от мороза окна. Когда-то в простоте душевной он думал, глядя на вокзальные окна, огромные, как ворота, что через них и вышел ночью погулять тот паровоз из детского стишка: «Дверь толкнул стальнойю

грудью, вышел, а кругом безлюдье, даже стрелочник заснул, пододвинув к печке стул...»

Было ему тогда года четыре, и отец еще был с ними. Отец сказал ему не спать, стеречь вещи, а сам вместе с матерью ушел куда-то. И он сидел на чемодане среди спавших вповалку людей, и представлялось ему, как задремал стрелочник в углу, у печки, как паровоз толкнул окно стальной грудью...

Вернулся отец, взял вещи, взял его за руку, и они пришли в большой зал. Все здесь сверкало при электрическом свете, множество людей весело разговаривали за накрытыми столами, папиросный дым подымался к потолку, и среди этого шума и праздника сидела мама, одна за накрытым белой скатертью столом, ждала их. Все было невиданное, не такое, как дома. Впервые они обедали среди ночи, и обед подавала не мама, а пришел человек с полотенцем на руке, отец говорил ему, он все записывал и был очень доволен. Поразило, как быстро здесь готовят. Мама, бывало, полдня стоит у примуса, а этот человек ушел и сразу все приготовил и принес.

Потом они ехали на телеге, и близко над лицом качались звезды. И мир был беспределен. Что — космос, иные миры!.. Беспределен только один мир: детство. И жили в этом мире бессмертные люди: он, мама, отец. А Ляльки тогда еще не было на свете.

Когда вот так метет и мороз, он всякий раз об отце думает. Последнюю посылку мать отправляла отцу перед самой войной, а последнее письмо от отца, от т у д а, было еще раньше.

То, что у матери есть муж, когда отец — т а м, что вообще кто-то, кроме отца, может быть ее мужем, этого он не мог ей простить. И не мог видеть, как она заботится о Безайце, как временами смотрит на него. Бессознательно он отыскивал в ее муже все самое неприятное и никогда никак не называл его: «Вас к телефону... Вам там письмо...» Но чаще действовал через Ляльку: «Его там спрашивают, скажи ему...»

Лялька, маленькая дурочка, она и к Безайцу привязалась, она и отца помнила. Однажды он видел, как она крошками печенья кормила фотографию отца: сидит на полу за кроватью, шепчет что-то и крошки эти подносит к фотографии, к губам.

Из них троих он один оставил себе фамилию отца: Третьяков. И все отцовские фотографии, даже те, на которых мать рядом с отцом, выкрал у нее. Все они те-

перь — и Лялькины письма к нему в училище, и материны письма, — все это вместе с полевой сумкой осталось на огневой позиции батареи в фургоне старшины. Он еще подумал, когда его увозили: «Но я же вернусь в полк...» Как будто на войне можно загадывать вперед.

По коридору от окна к окну переходил хромой санитар. Постоит, примерится, вынет гвоздик из-под усов, потихоньку постукивая, вобьет в подоконник сбоку. Опять посмотрит, постоит и — подвесит на гвоздь бутылку. Потом, уминая негнушимися пальцами, долго прокладывает по подоконнику фитиль из стиранного бинта, чтобы вода, натаившая со стекол, текла не на пол, а по фитилю сбегала в бутылку. Он свое отвоевал, ему этой тихой работы в тепле теперь до конца войны хватает.

Когда-то мама вот так зимой подвешивала бутылки к подоконникам. Утрами стекла высоко обмерзали, бывало, он нагреет в ладонях большой медный пятак, впадает в лед. Нагреет еще раз, притиснет: орел-решка, орел-решка. И тают на солнце его ледяные пятки, стекают со стекол. Исчезнувший мир. Все довоенное сейчас как исчезнувший мир.

Недавно лежал он в палате и вспомнилось: осень, он сидит в классе у окна, смотрит со второго этажа на улицу. Там узкоколейка к маслозаводу, а рядом с насыпью — огромная куча подсолнуховых семечек. На ней лежат парни и девочки в стеганых ватниках, греются, подставив лица холодному солнцу. А машинист паровика в окне будки, как в раме, смотрит на них, проезжая мимо. Потянул за веревку, белый пар рванулся из свистка. И словно разбуженные, стали перекатываться друг по другу парни и девочки, обхватываясь ватными рукавами и смеясь... Все это было в исчезнувшем мире. Может быть, никого из них сейчас нет в живых: ни парней тех, ни машиниста, который проезжал мимо и смотрел.

Из дверей вокзала на снежный перрон повалил вдруг народ, все закутанные, обвязанные до глаз. Мороз сильный, все серо: и воздух и снег серый. Только намерзший на стекла лед просвечивал красинкой. Не знать времени, не догадаться, восходит солнце или садится: растекшееся, оно светило из-за серой мглы, не слепило, светило без лучей.

Весь в пару на двинулся к перрону поезд. Обыкновенные крыши вагонов, натеки льда с крыш, белые слепые

окна. И словно это он нанес с собой ветер, помело с крыши вокзала, закружило. В снежном вихре, в пару метались люди от дверей к дверям, бежали вдоль состава. Каждый раз вот так бегают с вещами, с детишками, а везде все закрыто, ни в один вагон не пускают.

Санитар, стоявший рядом, тоже смотрел. Осторожно выплюнул гвозди в горсть.

— Вот бы Гитлера сюда этого! Сам-то он в тепле сидит. А народу такие мучения принимать... Да с детишками...

И зябко ежился, будто и его тут мороз пронял. Глупым показался Третьякову этот разговор. Срывая на санитаре зло, потому что ему тоже было жаль метавшихся по морозу баб, которых гнали от поезда, сказал:

— Что ж, по-твоему, захотел какой-то Гитлер — и война началась? Захотел — кончилась?

И сам от своего командирского голоса распрямился под халатом.

Санитар враз поскучнел, безликим сделался.

— Не я ж захотел, — бормотал он себе под нос, переходя к другому окну. — Или мне моя нога лишней оказалась?

Третьяков посмотрел ему вслед, на один его сапог и на деревяшку. Что ему объяснишь? Не приставишь оторванную ногу и не объяснишь. А самое главное, что он и себе не все уже мог объяснить. В школе, со слов учителей, он знал и успешно отвечал на отметку, почему и как возникают войны. И неизбежность их при определенных условиях тоже была объяснима и проста. Но в том, что он повидал за эти годы, не было легких объяснений. Ведь сколько раз бывало уже — кончались войны, и те самые народы, которые только что истребляли друг друга с такой яростью, как будто вместе им нет жизни на земле, эти самые народы жили потом мирно и ненависти никакой не чувствовали друг к другу. Так что же, способа нет иного прийти к этому, как только убив миллионы людей? Какая надобность не для кого-то, а для самой жизни в том, чтобы люди, батальонами, полками, ротами погруженные в эшелоны, спешили, мчались, терпя в дороге голод и многие лишения, шли скорым пешим маршем, а потом эти же люди валялись по всему полю, порезанные пулеметами, разметанные взрывами, и даже ни убрать их нельзя, ни похоронить?

Мы отражаем нашествие. Не мы начали войну, немцы на нашу землю пришли — убивать нас и уничтожать. Но они зачем шли? Жили-жили, и вдруг для них новая жизнь стала невозможна, как только уничтожив нас? Если б еще только по приказу, но ведь упорно воюют. Фашисты убедили? Какое же это убеждение? В чем?

Трава родится и с неизбежностью отмирает, и на удобренной ею земле гуще растет трава. Но ведь не для того живет человек на свете, чтобы удобрить собою землю. И какая надобность жизни в том, чтобы столько искалеченных людей мучилось по госпиталям?

Конечно, не один кто-то движет историю своей волей. Просто людям так легче представить непонятное: либо независимо от них совершается, либо кто-то один направляет, кому ведомо то, что им, простым смертным, недоступно. А происходит все не так и не так. И бывает, что даже всех совместных человеческих усилий мало, чтобы двинулась история по этому, а не по другому пути.

Еще до войны прочел он поразившую его вещь: оказывается, нашествие Чингисхана предвляло целый ряд особо благоприятных лет. Шли в срок дожди, небывало росли травы, плодились несметные табуны, и все вместе это тоже дало силу нашествию. Быть может, разразись над этим краем многолетняя засуха, а не сойдись все так благоприятно, и не обрушилось бы страшное бедствие на народы в других краях. И история многих народов пошла бы по-другому.

На фронте воюет солдат, и ни на что другое не остается сил. Сворачиваешь папироску и не знаешь, суждено ли тебе ее докурить: ты так хорошо расположился душой, а он прилетит — и накурится... Но здесь, в госпитале, одна и та же мысль не давала покоя: неужели когда-нибудь окажется, что этой войны могло не быть? Что в силах людей было предотвратить это? И миллионы остались бы живы... Двигать историю по ее пути — тут нужны усилия всех, и многое должно сойтись. Но, чтобы скатить колесо истории с его колеи, может быть, не так много и надо, может быть, достаточно камешек подложить?

Когда уж оно скатилось и пошло с хрустом по людям, по костям, тут выбора не оставлено, тут только одно: остановить, не дать ему и дальше катиться по жизням людей. Но неужели могло этого не быть? Сани-

тар сказал, что думал, а в нем все расшевелилось заново. Только ни к чему это сейчас. Не время и ни к чему. Сейчас война идет, война с фашистами, и нужно воевать. Это единственное, что ни на кого другого не переложить. А все равно думать себе не запретишь, хоть и ни к чему это.

Люди по размерам события судят о его причинах: огромное событие, значит, и причины такие, что не могло этого события не быть. А может, все проще? Сделать доброе дело для всех людей, тут многое нужно. А напакостить в истории способна даже самая поганая кошка.

Каждый из своего окна — и санитар и он, — смотрели, как тронулся поезд, оставив народ у края платформы. Качало из стороны в сторону хвостовой вагон с площадкой и дверью, от которой будто оторвана часть поезда. Устремившийся следом снежный вихрь заметал все.

А все равно, сколько бы в этом клубке ни сплелось нитей, у каждого человека там свое место, своя правота и своя вина. И можно распутать этот клубок, можно. Всей жизни для этого не жаль. И уже сейчас хотелось с кем-нибудь поговорить. Только с кем? Такой разговор не с каждым начнешь. Он как-то заговорил со Старых, тот глянул на него с таким усилением мысли, как будто не только смысла слов, но и языка, на котором к нему обращались, не понимал:

— Чего-о?

Весь исковыренный, четырежды раненный, он сейчас для себя, кроме войны, все как отрезал, чтобы душу не бередить зря.

Вот Атраковский — другое дело. Но тот все молчит. И видел Третьяков, молчит не оттого, что сказать нечего, а оттого, что не каждому и не все, что знает, может сказать.

Дня два после того, как у кровати капитана Атраковского сидела девочка с косами, оставались на полу следы ее валенок. Потом, широко возя мокрой тряпкой, санитарка вымыла масляный пол, и он заблестел. Третьяков и сейчас видит, как она уходила в своих подшитых валенках, в белом халате, стянутом в талии пояском, как обернулась в дверях. Случайно и он попал в поле зрения ее серых глаз, но никак в них не отразился.

С неясным для себя любопытством приглядывался он к капитану Атраковскому. Тот давно уже лежал

здесь, и школьники, приходившие в госпиталь читать вслух книги, писать письма за тех, кто сам не мог по ранению, знали его. Но как она рассказывала ему про себя! Может быть, потому, что он уже старый?

В палате, как всегда после ужина, играли в шахматы, чтобы время убить. Медленно тянется оно в госпитале, каждый вынужденно переживает здесь часть жизни: кто — перед новой отправкой на фронт, а кто — перед тем, что для него настает отныне. Но и к этому неведомому стремятся: не временного хочется уже, а определенности, хоть, может быть, здесь, в госпитале, заканчиваются для кого-то из них и навсегда остаются позади лучшие, славные годы его жизни.

Играли в шахматы командир роты Старых и слепой капитан Ройзман. Счет партий у них перевалил уже за сотню, но Старых все не терял надежды отыграться. Они сидели за столом друг против друга, а ходячие столпились вокруг. Тут же и Атраковский стоял, придерживая халат рукой. Осторожно прошелся по палате, будто боясь колыхнуть в себе боль, и опять остановился, смотрит вместе со всеми, но чем-то отдельный ото всех. Знал Третьяков по рассказам, что в сорок первом году попал Атраковский в плен, бежал, долго проходил проверку. И в сорок втором году повезло ему попасть в окружение, выходить оттуда. Раз уж после всего этого награжден орденом Красного Знамени, что-то немалое совершил этот человек, таким людям давались награды нелегко. А жизнь в нем еле-еле держалась, каждый день могла оборваться.

Когда уже лежали по кроватям, заговорили о ранениях — кто, как, при каких обстоятельствах был ранен, и Третьяков вспомнил вдруг:

— А я знал, что меня в тот день ранит.

Он действительно подумал тогда, что его либо ранит, либо убьет, увидев случайно, как в воздухе пулей сбило голубя на лету. На него это почему-то подействовало как примета. Но потом забылось в бою, и вот сейчас только вспомнил.

— Как же это ты заранее знал? — спросил Старых, не очень веря.

— Знал.

Но о примете рассказывать не стал, побоялся, что засмеют.

— Нет, я не знал, — сказал Ройзман и вслед своим мыслям покивал головой.

Третьяков представил как-то, что вот бы ему досталось, как Ройзману, сутки с лишним слепому лежать в деревне, занятой немцами, слышать немецкую речь вокруг себя и ждать каждую минуту, что сейчас тебя обнаружат. Даже не видеть, спрятан ты или весь на виду... Не дай бог так попасть.

— Нет, я не знал,— повторил опять Ройзман.

И вдруг заспорили, может ли это быть, чтобы человек всю войну воевал в пехоте и ни разу не ранен?

— Значит, не в пехоте!— зло рубил Старых, как будто от него от самого что-то отнимали.

— Здорово живешь... Да вот я!— И Китенев, начальник разведки стрелкового полка, стал посреди палаты, всего себя представляя на обозрение. Он уже выздоравливал, дело шло к выписке, и на кровати его, помещавшейся между кроватями Третьякова и Атраковского, иной раз до утра ночевала шинель, уложенная под одеялом как спящий человек.— С первого дня в пехоте, а ранен впервые. И то случайно.

— Значит, не в пехоте!

— В пехоте!

— Значит, не с первого дня!

— А ты возьми мое личное дело.

— Знаю...— отмахнулся Старых.— Мое личное дело все на мне. Все мое прохождение на моей шкуре записано, вон она — вся в дырах,— и он ткнул пальцем в спину себе, в плечи,— этот раз, если б каску на голову не надел...

Замычал что-то, пытался сказать Гоша, младший лейтенант. Сидя посреди кровати под одной из двух ламп, свисавших с потолка, от которых все тени были вниз, он заикался так, что подсигивал на сетке. Все мучительно ждали, опустив глаза. Про себя каждый мысленно помогал ему, от этого и сам вроде бы начинал заикаться.

— Да обожди ты!— крикнул Старых, махнув на него рукой.— Немец — это я поверю: с начала войны и не ранен. Немец в каске ест, в каске спать ложится. Он ее как надел по приказу, так с головы не сымает. А наш рус Иван...— и с полнейшей безнадежностью махнул рукой. Но в том и гордость была «рус Иваном», который хоть вроде бы и делает себе хуже, зато уж воюет, не мудря.— Я, например, до этого госпиталя раненных в голову вообще не видел. Где, мол, они, в голову ранен-

ные? А они все на поле остались, там и лежат. Вон она как мне обчертила.

Старых сел, свесив гипсовую ногу, и обвел пальцем вокруг своей наклоненной головы, лысой смолоду. Он в самом деле был ранен чудно: пуля, закрутившись под каской, словно скальп с него снимала, прорезала след вокруг всей головы. Ровный шрам вылег на лбу.

— Мне, главное, то обидно, через подлюгу мог бы уже в земле сгнить. Нам на пополнение этих пригнали... Ну, этих... Из освобожденных местностей. Зовет меня мой связной: «Глядите, товарищ старший лейтенант, опять этот руку из окопа выставил...» Он всю войну с бабой на печке спасался, освободили его, так он и тут воевать не желает. И ведь на что хитер: знает, самострелы — в левую, так он правую руку выставил над окопом, ждет, пока немец ему... Нет, обожди, я тебе щас не в руку, я тебе щас черепок твой поганый расколю! Взял винтовку, приложился уже... И вот как под локоть толкнуло! «Дай, говорю, каску». Всю войну, поверишь, ни разу не надевал, а тут вот как что-то сказало мне. Взял у связного с головы, только высунулся и прямо мне — в лоб! — Старых крепко ткнул себе в лоб пальцем. — Снайпер, не иначе. А был бы я без каски...

— Это он тебе в лысину целил, чтоб не отсвечивала, — смеялся Китенев. — Он тебя за командующего принял.

— А я тоже однажды из-за снайпера чуть под членовредительство не попал, — сказал Третьяков. И пока не перебили, начал быстро рассказывать, как на Северо-Западном фронте послали его с донесением с батарейного НП и по дороге снайпер чуть не положил его.

— У нас там оборона давно стояла, снайпера и с нашей и с ихней стороны действовали. Иду, день ясный, солнце, снег отсвечивает... Фьют — пуля. Лег. Только шевельнулся — фьют!

— Такой и снайпер! — Старых махнул на него рукой, словно Третьякову теперь вообще следовало помолчать.

— Так ведь не на передовой.

— Два раза стрелял, а он жив. Снайпер...

Но Третьякова поддержали:

— Снайпера тоже когда-то учатся.

— Вот он на мне и учился. И место такое: везде снег глубокий, а тут ветрами обдуло. И сосна позади меня. Как раз в створе получаюсь, ему легко целиться. Час

прошел — лежу. Чувствую: пропадаю. Мороз не такой большой, но потный был, пока по снегу шел. И — в сапогах.

Старых слушал презрительно, как ненастоящее. В нем самом нетерпение: рассказать.

— Дождался, пока солнце на эту сторону перешло, в глаза ему засветило, вскочил, побежал. В дивизион являюсь, губы заledenели, слова не выговаривают.

— Снайпер... Таких снайперов...

Но Китенев заступился:

— Дай человеку рассказать!

— Снайпер... Х-ха!

— А в дивизионе, конечно, своего связного гонять не стали, пакет мне в руки, шагом марш в штаб полка. Штаб полка в деревне Кипино стоял. Ночь уже. Днем просто по проводам, а ночью где штаб?

Ощупывая рукой спинки кровати, подошел Ройзман, сел:

— Вы в какой армии были?

— В тридцать четвертой.

— Ну да, вы с этой стороны действовали: Дворец, Лычково...

Неловко становилось Третьякову всякий раз, когда капитан Ройзман смотрел на него вот так своими ясными, будто зрячими глазами и — не узнавал: ведь Ройзман у них в училище преподавал артиллерию, к доске вызывал его не однажды. А теперь даже по голосу не узнает. Но сказать ему почему-то Третьяков не решился.

— Тридцать четвертая, — Ройзман покивал, — генерал Берзарин. Все правильно...

И словно тем удостоверил наперед, слушали уже Третьякова, не прерывая.

— Там как раз в Кипино десант готовился: аэросани вдоль всей улицы стоят, моторы работают. И десантники все в белых маскхалатах. Я еще позавидовал этим ребятам... Из них потом, между прочим, почти никто не вернулся, говорили, будто немец знал, что десант готовится. Не знаю. А тогда они стояли на снегу, иду мимо, вихрь в спину толкает. И у одних аэросаней позади дрожит лучик света. Там — пропеллер, а мне почему-то подумалось, что вокруг пропеллера должно быть еще ограждение. Так ясно представилось: никелированное. Просто увидал. Я до этих пор ни разу аэросани вблизи не видел. Потом-то я догадался: дверь дома неплотно

была прикрыта, свет проникал, пропеллер вращается, перерубает его концом. А мне это ограждение представилось, иду смело. Ка-ак рубанет мне по локтю! Аж дыхание перехватило. Присел — и молчком, молчком от него, на коротчках. Между прочим, все мне по этому локтю попадает.

— Что ж он, пропеллер, и руку тебе не отрубил?

Старых со своей догадкой в глазах обернулся ко всем.

— Так мне самым кончиком попало.

— Ин-те-рес-но!..

— И потом на мне была шинель, под шинелью — телогрейка, под ней — гимнастерка. Да еще фланелевая теплая рубашка, а под рубашкой — еще рубашка.

— Вот вшам раздолье, — сказал Китенев.

— Мы их на Северо-Западном фронте вообще не считали. Даже не били по одной. Есть возможность, скинешь нательную рубашку, — какое-то время жить можно. — Третьяков повернулся к Старых. — А так бы он, конечно, руку мне отрубил! Я пришел в штаб, под локоть ее несую, пакет отдал, а рассказать стыдно, не поверят еще...

— И я бы не поверил! — гордо припечатал Старых. — Какое-то ограждение, черт-те чего...

Сразу в несколько голосов заспорили:

— Что же он, сам ее подсунул?

— По миллиметрам рассчитал?

— А я не обязан знать. Х-ха — никелированное!..

— Ну, человеку привиделось!

— У нас тоже одному привиделось: через березу сам себе в руку пальнул. Дурак-дурак, а догадался: через березу! Чтoб по ожогу самострела не обнаружили...

— Правда всегда... Правда всегда... — не видя спорящих, пытался воткнуться в разговор слепой Ройзман, и получилось у него, как у зайки. Все же пробился, удалось...

— Ничто так не похоже на ложь, как сама правда, — сказал он, будто из книги прочел.

— Ты, Старых, заладил, как сорока!

— Интересно, как он ее под пропеллер подсовывал?

— Пропеллер есть пропеллер, хоть спереди, хоть сзади его приставь! Какие могут быть ограждения? Х-ха!..

— Ты знаешь, на кого похож? — сказал Третьяков. — На нашего ПНШ-1. От тоже не поверил.

— Был бы я на ПНШ похож, мне бы шкуру столько раз не продырявили! — задергался вдруг, закричал Старых. — А я небось в штабах не сидел, как некоторые! Вы вот лежите здесь... — Он подхватил под мышку костыль, допрыгал до середины палаты со своей тяжелой гипсовой ногой. И тут под лампой, свет которой был до того тускл, что матовый плафон только желтел изнутри, закрутился на месте, пристукивая костылем, тень свою топтал ногой. — Вы тут лежите? И полеживаете! А пехота в окнах сидит, — указывал он на окно, хоть оно и выходило на восточную сторону. — Кого позже всех в палату привезли? А-а-а... То-то! А кого первого выпишут? Вы еще лежать будете, чухаться, а на Старыхе, как на собаке, все заживет!..

И, подпираясь костылем под плечо, взлетавшее вверх, попрыгал на одной ноге в коридор, грохнул за собой дверью.

— Чего он дергается, как судорога?

— Он самый здесь нервный...

— Один он воевал, другие не воевали?

— Вот заметьте, ребята. — Китенев понизил голос, но говорил серьезно. — Это он уверенность потерял. Хуже нет, когда уверенность потеряешь. Ранит — ранит, ранит — ранит, вон уж в голову стукнуло — и жив. Когда-то же должно убить?.. Бойтся возвращаться на фронт, чувствует, оттого и злой. — Глянул на часы, соображая, пора ему или еще не пора. Спросил: — Так чем там у тебя с рукой кончилось? Орден получил?

— Чуть было не дали, чтобы помнил всю жизнь... Положили меня на печку, к утру локоть в тепле во как раздуло, в рукаве гимнастерки не помещается. Вся рука тонкая, а он, как мяч, надулся. Врач в полку — хороший был мужик — поглядел: «Будем в госпиталь отправлять». А мне из полка уходить неохота. И стыдно, как будто я сам себе придумал. «Ничего, поедешь». Но только потом вижу, стало все вокруг меня как-то не так. Все меня обходят, в глаза не глядят. «Разрешите, говорю, я тогда к себе на батарею пойду». Старший писарь тоже строгий стал: «Никуда не пойдешь, сиди здесь...» Сижу, как под арестом. И в санчасть не берут, и ничего со мной не делают, и из штаба не отпускают. И уж все равно становится, так рука болит. Оказалось, ПНШ-1 майор Бряев... Он давно на этой должности без продвижения, в майорах засиделся... Вот он пошел

к начальнику особого отдела и представил свои соображения: хорошо обдуманное членовредительство.

Третьяков вдруг почувствовал, что Атраковский слушает его. Он все так же безучастно сидел в позе человека, привыкшего ждать подолгу, голову опустил, руки со вздувшимися венами зажаты в коленях, но сейчас он слушал.

— Начальник особого отдела в полку не положен, — авторитетно заявил Китенев. — Положен оперуполномоченный. Старший лейтенант или капитан.

— У нас был артиллерийский полк армейского подчинения.

— Значения не имеет. Мог быть в крайнем случае старший оперуполномоченный. Капитан. А начальник особого отдела не положен в полку, — доводил до точности Китенев. И с такой же точностью выкладывал на своей кровати шинель, которая под одеялом должна была изображать спящего человека. — Называть начальником особого отдела могли. Но — не положен.

— Ну, значит, не положен. Факт тот, что сорок второй год. Зима. Время, сами помните, какое: после приказа... Между прочим, начальника этого особого отдела Котовского я видел один раз. Тоже послали меня с донесением, самый молодой был, гоняли меня. Сунулся в землянку — там он сидит. Вот такой лоб с залысынами, над каждой бровью как желваки надулись. Глянул на меня из-подо лба... — Третьяков засмеялся. — К нему, оказывается, должны были мародера ввести, а тут я свою голову сунул...

Атраковский странным взглядом внимательно посмотрел на него, а все засмеялись, и Третьяков вместе со всеми — еще раз. Всю эту историю он рассказывал весело, как вообще рассказывают про фронт задним числом, что бы там ни случилось...

— С этим мародером вот что вышло... У нас там никак не могли взять станцию Лычково. Один раз уже ворвались, на путях за составами стрельба шла. Опять выбили пехоту. И вот курсантов пригнали, фронтовые курсы младших лейтенантов. Все в дубленых полушубках, валенках. А мороз — больше сорока. Раненые, кого вытащить не удалось, потом позамерзали на снегу. Так этот ночью лазал часы обирать с убитых. Между прочим, разведчик нашего полка. Из второго дивизиона, — и Третьяков, когда говорил сейчас, ясно увидел заново, как вели того мародера в широкой, без пояса, и, должно

быть, без хлястика шинели, его желтое в белый зимний день лицо, резко вырезанные ноздри плоского носа, антрацитно поблескивающий пригнетенный взгляд. И как сам он весь внутренне отстранился от этого человека. — Ка-ак глянул на меня Котовский из-подо лба!.. Вот ему майор Бряев стукнул про мое членовредительство. А он не поверил. Я ведь в этот полк... Мне, в общем, лет не хватало, я сам пошел. Он знал это и не поверил. Приказал оставить в санчасти и лечить, а то, мол, пошлют в госпиталь, там тоже кто-нибудь такой бдительный найдется... Я-то ничего не знал, только опять вижу, все переменялось вокруг меня, переводят в санчасть. После уж писаря рассказали.

Китенев тем временем осторожно укрыл шинель одеялом, получилось, будто спит человек, укрытый с головой. Полюбовался на свою работу.

— Ребята, в случае чего — «он спит». Будить не давайте: «У него сон ужасно плохой. Разбудите — до утра спать не будет»...

Выходя из палаты, столкнулся со Старых. Тот прихромал к столу, сел:

— Капитан, давай в шахматы сгоняем.

— Расставляй, — сказал Ройзман.

Все ходячие опять потянулись к столу — смотреть. Старых расставлял на доске, Ройзман все так же сидел на кровати, готовясь играть на память, издали. Открытые глаза его блестели.

Несколько дней спустя, вечером в коридоре увидел Третьяков стоявшего у окна Атраковского. Подошел, стал рядом. Хотелось ему расспросить про ту девушку: кто она? придет ли еще?

— Метет как! — сказал он. За окном ничего не было видно, только у самого стекла снег летел снизу вверх. А дальше все как в дыму: ни вокзала, ни фонарей. И холодом дышало от окна.

— Метет, — сказал Атраковский.

Рядом в операционной шла операция. Там ярко горел свет, на матовом стекле возникали силуэты.

— Пехоте сейчас в окопах... Хуже нет — воевать зимой. И весной тоже. — Третьяков засмеялся. — Нам еще повезло.

За окном в сплошной метели что-то смутно мерещилось или раскачивалось, как тень. И оба они в своих госпитальных халатах отражались в стекле изнутри.

— Вы даже не понимаете, как вам повезло, — сказал Атраковский. — Всей меры везения. Это защитное свойство молодости: не все понимать. Одно слово стоило сказать, одно только слово... Даже не сказать, молча согласиться, и вся ваша жизнь... — Он говорил, не меняя выражения лица, одними губами. Со стороны никто бы не определил, что он говорит. — Смерть в бою покажется прекрасной по сравнению с бесчестьем.

У Третьякова вдруг сжало в душе, как от испуга: спросить его про отца! Атраковский мог знать, чего не знают другие. Но не спросил, побледнел только. Отец его ни в чем не виноват, он знает, и все равно, когда касалось отца, он и на себе чувствовал позорное пятно и пустоту, вокруг себя возникавшую.

Из операционной выскочила сестра в белой марлевой косынке — стук, стук, стук каблуками, — пробежала по коридору. За окном мело, как в целом мире.

ГЛАВА XIII

В тот вечер, когда они стояли у окна в коридоре, а за окном мело и теплым казался желтый электрический свет в матовых стеклах операционной и выскочившая оттуда сестра пробежала по коридору в белом халате, — в тот вечер ампутировали ногу артисту местного театра. Они еще стояли, когда его вывезли оттуда, и прошел по коридору хирург, сдержанно-возбужденный, профессиональным взглядом глянул на них, а потом в марле вынесли отрезанную ногу: она была согнута в колене и без стопы.

Артист этот с бригадой артистов ездил на фронт выступать перед бойцами и командирами и был ранен при бомбежке. Никто из офицеров, лежавших с Третьяковым в палате, ни разу за всю войну не видел артистов на фронте. Они приезжали и выступали, но где-то там, на аэродромах, во фронтовом тылу, который для этих офицеров, тем более для бойцов, был почти такой же далью, как тыловой госпиталь. Артисты всюду потом говорили, что побывали на передовой, сами в это верили; возвращаясь, в подаренных белых дубленых полушубках расхаживали фронтовиками перед своими товарищами, которые оставались здесь и не побывали, а фронтовикам все это смешно было слушать. И потому, наверное, про то, как артисту отрезали ногу, рассказывалось в госпитале

больше со смехом, словно и в самом деле было что-то смешное в том, что человек потерял ногу. Гоша, младший лейтенант, если разобраться, тоже всего-то успел доехать до фронта, ни разу по немцу не выстрелил, но все понимали и жалели его, навсегда загубленного войной. В общем счете войны, когда самолеты и на фронте бомбят, и за фронт летают, должны быть и такие, кто даже и до фронта не доехал. Все это понятно — и общий счет и неизбежность таких потерь, — понятно, пока речь про кого-то и эта потеря не ты сам. Гоше, наверное, легче было бы, если б хоть знал, что не напрасно, хоть что-то успел совершить.

Недели через три, под самый Новый год, пришли в госпиталь местные артисты с концертом, и перед сценой, на каталке, как на столе, на виду у всех почетно лежал их товарищ, потерявший ногу на фронте.

Концерт уже начался, когда с шумом ввалились в коридор школьники, которые тоже должны были выступать. Третьяков, сидевший у двери, услышал и понял, что все время ждал этого. Он дождался конца номера и вышел в коридор. Толпой в белых халатах они стояли, говорили все разом:

- Но зимой-то ведь собаки не кусаются!
- Даже не лаяла, вот что интересно.
- А почему именно Сашу?
- Нет, почему именно ее?
- Слушайте, она, может быть, бешеная?
- Саша, не кусайся!
- Смешно вам... А мне вот не смешно. Вон как чулок вырван. И почему-то больно ужасно.

И тоже смеялась, чтоб не расплакаться. Она стояла одним валенком на полу, над другой ее ногой нагнулась медсестра, а все обступили их. Саша... Надышавшаяся морозом, щеки разгорелись. В этом свежем снеговом воздухе, который они внесли с собой, Третьяков особенно почувствовал запах госпиталя, к которому притерпелся и не замечал: запах лекарств, госпитальной еды, плохо проветриваемого помещения, где постоянно дышит столько больных людей. Он от себя ощутил этот запах, от своего байкового стираного-перестираного халата.

Почувствовав чужой взгляд, девочка подняла мохнатые ресницы, такие густые, что серые глаза ее показались черными, взглянула с той радостью жизни, которая была в ней. И тут же словно тень прошла по ее ли-

цу, в глазах что-то затворилось, не впуская чужой взгляд в эту ее жизнь.

Потом, по оставшемуся впечатлению, она взглянула еще раз, уже с интересом, но он этого не видел. Он вернулся в палату. Здесь были только лежащие и несколько пустых кроватей. А за обеденным столом под электрической лампочкой на ощупь брился капитан Ройзман.

— Это вы, Третьяков?— спросил он, узнав по шагам.— Вы не поправите мне виски?

— Давайте попробую.

Ощупывающими движениями Ройзман нашел на столе помазок, намылил щеку. Третьяков окунул бритву в стаканчик с теплой мыльной водой, хотел нагнуться, но рана в боку не дала. Хотел присесть, не дала рана в ноге. А Ройзман ждал, подставляя щеку.

— Я согнуться не могу, вы встаньте,— сказал Третьяков.

— Сейчас, сейчас.

На двоих было у них три здоровых руки и два зрячих глаза. Ройзман придерживал пальцами кожу у виска, Третьяков с опасной бритвой в руке осторожно дышал у его костистого лица:

— Держите... Сейчас... Брею.

Отстранился, поглядел:

— Еще вот здесь чуть-чуть.

Потом стал подбривать левый висок, и Ройзман другой рукой через голову натягивал кожу. Прямо перед лицом были его осмысленно глядящие глаза. Они следовали за ним, казалось, они видят. И только зрачки не сходились к переносью, когда Третьяков приближал лицо.

— Вы меня не узнаете, товарищ капитан?— спросил он, вытирая бритву о халат на колене.

— Что-то мне показалось по голосу...— не сразу и неуверенно сказал Ройзман. И стоял к нему лицом.

— Помните, в училище вошли вы на занятия, дежурный курсант подал команду, а вы услышали его петушиное «сми-ирно», подозвали к себе командира взвода: «Товарищ лейтенант, чтобы этот курсант больше никогда при мне команды не подавал...»

— Да, да, да,— радостно вспоминал Ройзман.— Это были вы?

— Я.

— Постойте, это было, значит...

— А я вам точно скажу. Наступление под Сталинградом началось девятнадцатого ноября. Соединились фронты двадцать третьего. Мы были на вокзале в Москве и слышали сводку. Мы как раз с фронта ехали в училище, и тут сводку передают. Потом в Куйбышеве мы трое суток пили. С нами старшина был из Куйбышева, мы у него трое суток пробыли, пиво ведрами носили. Мы бы еще гуляли, да у нас продукты кончились. Так вот, это был конец ноября. А в декабре, в самом начале, я и подавал перед вами команду. Вы у нас артиллерию преподавали.

— Да, да, да...

— А в конце января или в феврале вы от нас убыли.

— Третьего февраля.

— Ну, я же помню. Убыли на фронт. Только у вас еще тогда после ранения одна нога в колене не сгибалась. Правая, по-моему? Вы еще с палочкой ходили.

— Да, да, да,— кивал Ройзман и улыбался. Потом спросил:— Вы, наверное, на меня обиделись в тот раз?

— Тогда обиделся,— честно сказал Третьяков.— А теперь вот даже вспомнить как-то приятно.

— Ну что же, команды научились подавать?

— Так ведь нас часами гоняли по плацу попарно. Идешь друг другу навстречу: «Смирно! Напра-ву! На-ли-иву! Кругом марш!..» И отбиваешь строевым шагом. Теперь это на всю жизнь.

— Мне что-то по голосу показалось вначале...

И опять Ройзман кивал, тихо улыбался, думал о своем. И Третьяков о своем думал. «Есть во мне что-то противное,— думал он и видел опять, как девочка, взглянув на него, сразу нахмурилась.— Что-то отталкивает от меня людей, я знаю...»

Но, выкурив в коридоре папироску, опять пошел в зал. Места все были заняты. Он стоял у дверей и смотрел, как артист на сцене изображает Гитлера. С приклеенными усиками, с косой челкой на лбу, он припрыгивал, как обезьяна, выкрикивал что-то бесноватое. В зале смеялись, стучали костылями в пол, кричали: «Давай еще!» — никак не хотели отпускать артиста, словно это и правда живой Гитлер отдан им на потеху. И отчего-то Третьякову было сейчас стыдно за них и стыдно за себя. До Гитлера еще — фронт и тыл, и не одну дивизию вышлет он оттуда к фронту, и пехотную и танковую. И многих из тех, что смеются сейчас самозабвенно, может быть, и на свете не будет к тому

времени. Он сам толком не знал, почему ему стыдно, но в этой простодушной потехе, в недостижимости Гитлера было что-то такое, что унижало его, Третьякова, в собственных глазах. А может быть, просто у него настроение сейчас такое.

Когда на сцену вышла эта девочка в валенках, в белом халате, а двое мальчишек с мандолиной и балалайкой вышли за ней, как почетная стража, сели на краешки табуреток, она кивнула, мальчишки, согласно трянув губами, ударили по струнам, и она запела, Третьяков, словно испугавшись чего-то, поспешно опустил глаза. И стоял так, волнуясь все больше, чувствуя мурашки по щекам. Песнь рассказывала про то, что и ему виделось не однажды:

Ты ждешь, Лизавета, от друга привета
И не спишь до рассвета, все грустишь обо мне,
Одержим победу, к тебе я приеду
На горячем боевом коне...

Неважно, что не так виделось и не такая война шла: не на горячих боевых конях, а проще и страшней, все равно песня волновала и грустно становилось. Кроме матери и сестренки, некому его ни встречать, ни грустить о нем. И отчего-то совсем расстроили хвастливые слова песни: «Улыбнись, повстречая, был я храбрым в бою...» Да, такая девочка может спросить: был ты храбрым в бою? Стоя у дверей, глядя в пол, он дослушал песню до конца.

Потом лежал в палате, думал. И ворочался, и все никак улечься не мог, и уже не знал, душа это ноет или раны разболелись, которые растревожил. И вспомнился ему лейтенант Афанасьев, который на Северо-Западном в их полку позорно застрелился из-за любви. Двое суток никто ничего не знал о нем, и пошел даже слух, что он перебежал к немцам. Нашли его в километре от огневых позиций. В бязевых кальсонах с завязками на щиколотках, в суконной гимнастерке, лежал он в талой снеговой воде в лесу. Кисть правой руки, в которой зажат был пистолет, вся исцарапана, висок обожжен выстрелом.

Его и жалели и ругали. На фронте, где столько убивает каждый день, застрелиться самому... Не хочешь жить, вон — немцы, иди убивай. А эта, из-за которой он застрелился, жила с командиром дивизиона: у комдива была своя отдельная землянка. Ходила она в ватных брюках, шлепала сапогами по воде, голос от табака сип-

лый. И вот из-за нее смелый красивый парень сам себя жизни лишил. Но теперь подумалось: а может, он совсем не такой видел ее, какой видели ее все? И совсем другое про нее знал?

ГЛАВА XIV

Через несколько дней они сидели с Сашей на подоконнике в коридоре, и Саша рассказывала ему о его ровеснике, которого тоже звали Володей и который погиб два месяца назад.

— Мне его товарищ написал, он видел, как Володин танк загорелся. Они сюда вместе приезжали после училища, Володя и Игорь, и условились: если что случится, написать. И он мне написал. Все успели выскочить из танка, и Володя тоже выскочил, когда загорелся танк. Но он лег и начал отстреливаться, чтобы все могли убежать. Может быть, если бы он тоже побежал сразу... Но он был командир танка.

— Это не угадаешь, — сказал Третьяков. Для нее сказал. А про себя подумал: еще хорошо, если все так было, как написали ей. Хуже, если сгорел в танке. — Тут невозможно угадать. Вот у меня боец ни за что не хотел вылезать из окопа. Что-то случилось с ним, это бывает. Страх нашел, не мог вылезти, и только. Те, кто вылез, живы, а он погиб. Прямое попадание в окоп. Это вообще-то редкость: прямое попадание. А вот такая судьба.

— Ему как раз девятнадцать исполнилось. — Она посмотрела на Третьякова, сравнивая. — Вам уже двадцать лет?

Он кивнул. Ему еще не было двадцати, но было приятно в ее глазах выглядеть старше.

— А ему исполнилось девятнадцать. Он, когда получил извещение, что отец убит, он скрыл от матери, он только Женьке сказал, младшему брату. Они оба очень любили мать. Она большая, красивая женщина. Такое русское, русское лицо. Но и что-то цыганское, может быть. А сыновья на нее похожи. Оба с карими глазами, волосы у обоих густые и вились.

Она посмотрела на его волосы; он стоял перед ней, и она снизу вверх посмотрела. Нет, у него и не черные, неизвестно какие отрастают из-под стрижки. Лялька, глупенькая, преданная его сестренка, для которой все

в нем хорошо, приложит, бывало, к его волосам кончик своей косы: «Мам, почему у меня волосы не такие, как у Володьки? Почему он у нас красивый, а я некрасивая?»

Глаза у Саши взволнованно блестели, как в тот раз, когда она рассказывала Атраковскому:

— ...Мать так просила его: «Пойми, мне ничего не стоит. Ты по закону имеешь право, ты можешь не идти». Но он прямо как железный. Она действительно все могла. Буханка хлеба на базаре — восемьсот рублей. Бутылка водки — восемьсот рублей. А она начальник ораса. Она все могла. Но он скрыл от медкомиссии, что у него астма, что у него бывают приступы. И матери запретил. Он сказал ей: «Если меня забракуют, знай, ты мне врагом станешь на всю жизнь». Она теперь не может себе простить.

По коридору прошла медсестра Тамара Горб, несла горячий стерилизатор в полотенцах, посмотрела на них на обоих. Саша спрыгнула с подоконника, стояла в своих подшитых валенках, пока Тамара проходила. Была она ему до плеча, как раз бы доставала раньше головою до погона. Две пепельные ее косы, каждая толщиной в руку, — ниже пояса. Стриженная Тамара, проходя, посмотрела на эти косы.

Из кармана, из помятой пачки «Бокс», Третьяков достал папироску. Ему не столько хотелось курить, как он стыдился несвежего госпитального запаха, который все время чувствовал от своего халата.

— Давайте я пойду поищу огня, — просто предложила Саша и хотела взять у него папироску — идти прикуривать: она уже привыкла тут ухаживать за ранеными.

— Сейчас выйдет кто-нибудь, — сказал он.

Действительно, появился в конце коридора согнутый пополам раненый. Незапахнутый его халат отвисал до полу. Он ткнулся головой к черному стеклу, и сейчас же в оконном проеме потянулся от его затылка вверх сизоватый дымок. Третьяков прикурил у него. Когда возвращался, дверь палаты спинальников, в которую прошла Тамара, была приоткрыта. На крайней койке раненый разглядывал себя в маленьком зеркальце. Он лежал навзничь, водил над собой зеркальцем в руке, брал в щепоть не отросшие на стриженной голове волосы, разглядывал, пытался причесывать их. Этот раненый, парнишка-минометчик, был еще моложе Гоши. Осколок за-

дел ему позвоночник, и весь он от пояса вниз был парализован.

Папироса догорела раньше, чем он успел вернуться, Саша помогла ему прикурить от нее другую.

— Вот и Володя Худяков на перроне тоже вот так одну за другой курил, — сказала она. — Бросит и закуривает, бросит и закуривает. Мне мать простить не может, что он такой расстроенный уехал. Он в дверях стоял, когда поезд тронулся, и мне в этот момент страшно за него стало. Я прямо почувствовала, что с ним что-то случится, такое у него было лицо.

— Это сейчас кажется, — сказал Третьяков, а у самого радостно отозвалось: «Мне мать простить не может, что он такой расстроенный уехал». — Ничего никому не известно заранее.

— Нет, предчувствия бывают.

— Бывают, только сбывается одно из тысячи. И хорошо, что никому ничего про себя не известно заранее. Если б знали, воевать не смогли. А так каждый надеется.

Он видел, она хочет верить, а все равно будет винить себя: живые всегда виноваты перед теми, кого нет.

Он стоял у окна и смотрел, как они все собрались под фонарем во дворе бывшей своей школы, как шли гурьбой через двор. На Саше была тесная шубка, из которой она выросла. Третьяков ждал, что она обернется, посмотрит на окна. Кто-то отставший догонял их, и они все весело побежали от него. Еще раз остановились, пережидая маневровый паровоз. Саша так и не обернулась. Он стоял, смотрел, как они идут через освещенные пути, перепрыгивают рельсы.

— Володя! — позвала его Тамара Горб. Тамаре за тридцать, и она выдумала себе совершенно безумную любовь к Китеневу и сейчас будет жаловаться на него. Он подошел, осторожно вытягивая раненую ногу, сел за ее столик.

— Ну!

Тамара смотрела на него, а выпуклые, черные, маленькие глаза ее уже набухали слезами, увеличивались. Слезы пролились сразу из обоих глаз, просто перелились через край.

— Зачем же ж так нехорошо поступать? — говорила Тамара, промокая марлевым тампоном слезы на столе. — Зачем же ж он с живым человеком так поступает? Я ж ничего не требую, но ты скажи! Пришла да-

вать лекарство, вместо него шинель под одеялкой... Ну? И я ж ему ту шинель, тот бушлат ему доставала. Для того я доставала? Мороз вон двадцать четыре на градуснике, в чем он пошел?

У Тамары лицо, как у цыганской богоматери, если только своя богоматерь есть у цыган. Желтый угловатый лоб обтянут глянцевой кожей, и некрасива Тамара безнадежно, потому и выдумала себе эту безумную любовь. Но когда вот так плачет, глаза ее со слезами удивительно хороши. Завтра она увидит Китенева, улыбнется он мимолетно, и все забудет Тамара, все простит.

— ...Она ж теперь сама ко мне пришла. То ходила выше всех, никого не замечала, а то сама пришла: «Тамарочка, как ты была права, как я в нем жестоко ошиблась!..»

И в горьком сознании своей правоты, хоть в этом была для Тамары своя сладость, мокрым марлевым тампоном Тамара вытирает последние слезы на столе, на щеках они уже сами высохли. И глаза опять ясные, как летний вечер после дождя.

— Ты ж, Володичка, ничего ему не рассказывай, ладно?

И бежит на легких ногах делать уколы.

Такое, видно, его назначение здесь: ему рассказывают и тем облегчают себе душу, а он слушает. Рассказывают, будто он уже прожил свою жизнь, или как попутчику в поезде, перед которым не стыдно: сойдет на остановке и унесет с собой.

Он вернулся в палату. Здесь, как всегда вечером, играли в шахматы. Похаживал из угла в угол капитан Атраковский, осторожно покашливал в горсть. Рука у него большая, ширококостная, когда-то она сильной была, эта его рука. Атраковский глянул на него с интересом, но ничего не спросил, опять стал удаляться.

Свет в палате тусклый, читать вечером почти невозможно. Да и не читается в госпитале почему-то, настоящим каким-то всё выглядит в книгах. А вот Атраковский читает. Все подряд читает: газеты, книги. Прошлый раз увидел у него Шекспира: «Король Лир». Даже руки затряслись, когда брал книгу, вдруг домом повеяло. У отца в книжном шкафу стояли рядом за стеклом Шекспир и Шиллер. Тяжелые темно-зеленые тома, кожаные корешки, картинки под папиросной бумагой. Он их еще в школе прочел, а картинки рассматривал, когда и читать не умел. Начал сейчас читать —

ничего не понимает. Слова все понятны, но из-за чего трагедия, не может понять. Неужели так отупел за войну? Или раньше чего-то главного не понимал? А ведь сколько веков прошло, люди все переживают за этого короля, как он, безумный, ходил по степи. И он мальчишкой переживал.

Попалась на глаза ремарка: «За сценой шум битвы. Проходят с барабанами Лир, Корделия и их войско...» — и тут как споткнулся. Шум битвы. Ведь это убитые лежат там, за сценой истории. И побили друг друга неизвестно за что: король не так поделил наследство между своими дочерьми, а эти убиты. Но переживают не за них, как будто они и не люди, а за короля...

В углу палаты отдельно ото всех сидят Гоша и Старых. Гоша, как всегда, поджал ноги по-турецки, сидит посреди кровати. Старых с соседней койки наклонился к нему, поскребывает свою коричневую лысину, что-то тихо говорит. Гоша в палате — старожил, и койка его у окна считается самая лучшая. Долго он перекочевывал к ней, пока не освободилась. А выписываться ему из госпиталя некуда, никто его не ждет: Гоша — детдомовец, родителей своих даже не помнит. На войну уходил — радовался, контузило — из госпиталя на фронт убежал. А в тыл, в жизнь возвращаться боится. Так и осталось для него мигом несбывшимся, единственным, как он два раза убегал на фронт воевать.

Третьяков лег поверх одеяла, с трудом уложил себя по частям: руку раненую, ногу, пробитый бок. Двигается по стене тень Атраковского. Отчего ему сегодня всех жаль? Гошу жаль, Тамару жаль и жаль, так жаль эту девочку с косами.

ГЛАВА XV

Дни заметно стали прибавляться, и в один из солнечных январских дней проводили Гошу. Он еще позавтракал вместе со всеми в палате, и этот завтрак его здесь был последний. Ушел Гоша и вернулся обмундированный. Они стояли в халатах, в госпитальных тапочках, а он уже в сапогах, в шинели, шапку держал в руке, словно снял ее перед ними.

Пронизанный утренним солнцем, искрился, обтаивал лед на стеклах; крашеный пол блестел, как свежewe-мытый, и кровати стали выше над полом — солнце

и тонкие тени ножек под ними. Никем не занятая пустовала Гошина койка. Он посмотрел на нее от дверей: уже и простыни сняты с тюфяка, подушка без наволочки.

Пошуршав газеткой, подошел Китенев, сунул Гоше сверток за пазуху:

— Некоторым штатским!

Гоша понял, замычал, затрясся, хотел выдернуть из-за пазухи, но Китенев держал кисти его рук; вроде и не крепко держал, но не вырвешься:

— Бери, бери, на гражданку идешь. Ладно, чего там!

Это собрали по палате, что проиграл Гоша в карты в последние дни. В картах не было ему счастья, быть может, в мирной жизни в любви повезет.

Сквозь проталину в стекле было видно, как снаружи в безветрии опускался редкий снег: каждая снежинка подолгу летала в воздухе. Вот Гоша вышел к воротам, резиновые подошвы печатали за ним четкий след. От ворот — и направо, и налево, и прямо — все дороги лежат перед ним. А он стоял, ни на одну не решаясь ступить. Сверкало солнце, снег садился ему на шапку, на плечи, еще украшенные погонами. По погонам — младший лейтенант, по годам ему еще призываться рано. А он уже отвоевал свое.

Без Гоши невесело стало, каждый задумался о себе. Среди дня где-то умудрился напиться Старых, кричал, что все они здесь ненастоящие раненые, он один настоящий, махал костылем, и налитые глаза были бешеными. Силой уложили его спать.

А ближе к вечеру открылась дверь палаты, и в затоптанном свете из коридора, как в розовом дыму, затоптались, затоптались на пороге двое санитаров, разворачиваясь с носилками, внесли на Гошину койку нового раненого. Из свежих бинтов, как из высокого шлема, глядело желтое лицо, желтый горбатый нос. Раненый лежал тихо, открывал и закрывал устало черные, похоже армянские глаза с голубыми белками. Тут же стало известно — и трудно было в это поверить, — что пуля на вылет прошла у него через голову, через мозг: над этим ухом вошла, над этим вышла. А он — живой, только тихий-тихий, совсем покорный.

В коридоре, вынеся на ваточке из операционной, Тамара Горб показывала часть удаленной у него черепной

кости. Была она как скорлупа грецкого ореха изнутри. И — яркая, свежая кровь на ватке.

— Ему воздушную повязку сделали, — объясняла Тамара. — Там же ж все такое, ни до чего не доторкнуться.

И вот так, держа ватку, робкими глазами снизу вверх, взглянула на Китенева. А он улыбнулся ей. Он и в халате был красив, широкогруд, высок, словно не ходил недавно еще перегнутый болью. Скоро он наденет гимнастерку, боевые наплечные ремни... Глаза Тамары стали увеличиваться, засияли слезами.

Ночью Третьяков проснулся от внезапной тревоги. Темно. В окне, в изморози, зеленый свет месяца. Под дверью электрический свет из коридора. Все как всегда, а ему беспокойней и беспокойней. Вдруг понял: раненый умер, тот, на Гошиной койке.

Нашарив осторожно тапочки под кроватью, в одном белье тихо подошел к нему. Заострившийся нос торчал из бинтов. Желто-зеленое при свете месяца лицо покойника. В черной глубине глазниц — навсегда слипшиеся веки. И весь тяжело, неподвижно и плоско вдавился в сетку кровати. Третьяков как нагнулся над ним, так и стоял, смотрел. Дрогнули глазные яблоки под веками. Открылись глаза, живые, влажные от сна, глянули на него.

— Попить хочешь? — спросил Третьяков; у него чуть было голос не отнялся.

Из носика поильника он осторожно поил его, смотрел, как тот слабо глотает, и в эту минуту был благодарен ему за то, что он жив. Тот два раза прикрыл глаза веками: хватит, мол, спасибо.

— Спи. Позови, если что, не стесняйся, — сказал Третьяков.

Накинув халат на плечи, вышел в коридор покурить. Холодно здесь было: ветер переменялся, дуло с этой стороны. Юго-западный ветер, с их Юго-Западного фронта. Только не донесет он сюда с тех полей ни голосов, ни выстрелов, ни разрывов. Здесь война грохочет только в кино. И мальчишки после кино бегают с палками-ружьями. А там, где фронт прошел, там уже и дети не играют в войну.

Спала сестра на своем посту, щекою на тумбочке. Он вернулся в палату, в спертое, надышанное тепло, подождал, озябший, под одеялом. Уснул не сразу. И днем отчего-то ему было беспокойно, томило предчувствие

беды. Когда опять пришли в госпиталь школьники, он сразу увидел: Саши нет с ними. «А у ей мать в больницу отвезли дак...» — сказал ему паренек, который с мандолиной выходил за ней на сцену. Сам еще не зная, зачем ему, Третьяков расспросил, где живет Саша, как этот дом найти, а после ужина решился. Он попросил Китенева, не глядя в глаза:

— Капитан, дай мне твою шинель сегодня.

— Ого! — повеселел Китенев. — Вот что значит овсянкой стали кормить.

Общими силами собрали Третьякова. Только теперь он видел, какой он беспомощный с одной своей рукой: ни гимнастерку надеть, ни портянки наверхнуть. Старых, сам с гипсовой ногой, наворачивал ему портянки. И даже Атраковский принял в этом участие: из немногих сберегавшихся у него под подушкой газет, где он что-то отмечал себе карандашиком, что-то подчеркивал, отобрал две, проглядев каждую из них напоследок:

— Вот этим оберни ему ноги.

— Не надо, — стыдился Третьяков принимать такую жертву. — Там и мороз несильный.

А Китенев, как господь бог, всех наделивший, говорил, стоя над ними:

— Вот выпишусь, глядите, сколько вам всего от меня останется: шинель — остается, бушлат — остается, сапоги...

— Это что! Я в армейском госпитале лежал, у нас там, — Старых весь кровью налился от наклонного положения, даже лысина побурела, — у нас там два пистолета под тюфяками сохранялись. И все знали. Начальник госпиталя в любую палату смело идет, а к нам заходить боялся. А чего боялся? У нас капитана одного стали в тыловой госпиталь отправлять, обрядили, как покойника: шинелька обезличенная не хуже Гошиной, еще ишь без рукава. Ах ты, падла такая! Да я из тебя сейчас трех сделаю, и Родина мне за это спасибо скажет... После этого, как заходить к нам, он пальчиком стучит.

А с Гошиной койки, из бинтов, лимонно-желтый, обросший черной бородой, как арестант, безмолвно смотрел раненный в голову старший лейтенант Аветисян, голоса которого в палате еще не слышал никто. На Третьякова надели шинель, затянули ремнем, прихватив левый пустой рукав, и тут Китенева осенило:

— Обожди! Я сейчас у Тamarки шерстяную кофту попрошу. Она даст. А то в одной гимнастерке пронижет насквозь.

Третьякова даже в пот бросило при одной мысли, что Саша увидит его в женской кофте.

Как и полагается, вперед по всем правилам была выслана разведка, и только тогда уж Китенев безопасными ходами вывел его из госпиталя.

За воротами, на голубом снегу, под холодной россыпью звезд, он впервые с тех пор, как заперли его в палате, вдохнул морозного воздуха, и глубоко свежим холодом прошло в легкие, даже закашлялся с неприщипки. Он шел и радовался сам себе, радовался, что видит зиму, своими ногами идет по снегу, радовался, что к Саше идет.

Повизгивал смерзшийся снег под каблуком, мороз был градусов пятнадцать: когда вдыхал глубже, чуть прихватывало ноздри. Неся под шинелью прижатую к груди забинтованную руку — ей тепло там было, — он другой рукой поочередно грел уши на ходу, смахивал ладонью слезы со щек: встречным ветром их выжимало из глаз, отвыкших от холода.

Парный патруль, в такт мерным шагам покачивая дулами винтовок, торчавших у каждого над погоном, прошел по вокзальной площади под фонарем. На всякий случай он переждал за домом — начнут спрашивать: кто? зачем? почему? Вид у него беглый: шинель без погонов, пустой рукав прихвачен ремнем — откуда такой выскочил? Чем объясняться, лучше за углом перестоять.

Они прошли, не спеша, самые главные на всей площади: в вокзал шли греться. Пока он переждал их, накатило от паровоза белое облако, обдало сырым теплом, каменноугольной гарью. Бухнула вокзальная дверь, пропустив патруль внутрь. Третьяков вышел, держась тени, перешел пути. И вот они, два четырехэтажных дома, окнами смотрят на железную дорогу, как объясняли ему.

У крайнего крыльца, где на снегу лежал перекрещенный рамой желтый свет окна, он вдруг оробел: собственно, кто его ждет здесь? То спешил, радовался, а сейчас со стороны взглянул на себя, и вся решимость пропала.

Поверх занавески в окне был виден закопченный керосинками потолок кухни. Третьяков потоптался на

крыльце, на мерзлых, повизгивающих досках, взялся рукой за дверь. Она была не заперта. В подъезде натоптано снегом, холод такой же, как на улице. Голая на морозе, горела над входной дверью лампочка с угольной паяркой нитью. Две двери в квартиры. Каменная лестница на второй этаж. В какую постучать? Одна обита мешковиной для тепла, на другой — потрескавшийся черный дерматин. Он одернул шинель под ремнем, расправился, пересадил ушанку на одно ухо и наугад постучал по ледяному глянцу дерматина. Вата глушила звук. Подождал. Постучал еще. Шаги. Женский голос из-за двери:

— Кто там?

Третьяков для бодрости кашлянул в горсть:

— Скажите, пожалуйста, Саша здесь живет?

Молчание.

— Какая Саша?

Только тут он спохватился, что ведь и фамилии ее не знает. «С косами такими красивыми», — хотелось сказать ему, но сказал:

— У нее мать в больницу отвезли...

— Отвезли, дак чо?

«Дак чо, дак чо...» Дверь бы лучше открыла.

— Сашу позовите, пожалуйста. Что же мы через дверь разговариваем? Из госпиталя к ней по делу.

Опять долго молчали. Лязгнула цепочка, дверь открылась; полная голая женская рука из-под пухового платка держала ее. Лицо припухшее. Печным теплом, керосином пахло из-за ее спины.

— Нам сказали, мать у нее в больницу отвезли, — говорил Третьяков, словно бы он сюда от имени всей Красной Армии явился. И одновременно старался расположить к себе улыбкой, стоял так, чтобы при неярком свете лампочки было видно его всего от шапки до сапог: вот он весь, можно его не опасаться.

Женщина смотрела все так же настороженно, цепочку с двери не снимала:

— Сам-то ты кто ей будешь?

— Вам это совершенно не нужно. Саша здесь живет?

— Зде-есь.

— Позовите ее, пожалуйста.

— А ей не-ет.

Он все никак не мог привыкнуть к уральскому говору: она отвечала, как будто его же спрашивала.

— Где же Саша?

— В больницу и пошла-а.

Вот этого он почему-то не ожидал, что ее может не быть дома. Уже на крыльце подумалось: надо было хоть спросить, давно ли ушла? Когда будет? Он оглянулся, но возвращаться не стал.

Зайдя от ветра за угол дома, решил ждать. Стоял, притопывал, чтоб ноги не оледенели. Мороз был хоть и не так силен, но в одной шинели долго не простоишь. Особенно рана в спине зябла. Только на этих днях впервые сняли с нее повязку, все там еще чувствительное, оголенное.

Часов у него не было, чтобы хоть время представлять, когда ждешь, оно всегда долгим кажется. Часы с него снял санитар, там еще в траншее, когда его ранило. Он наложил жгут остановить кровь, сказал: «Заметь время. Через полчаса надо снять жгут, а то рука омертвевает, отомрет вовсе». Третьяков достал часы, а он еще спросил: «Наши?»

Часы эти были первые в его жизни. Три недели подряд ходил по утрам отмечаться в очереди. Очень хотелось ему наручные, с решеткой поверх стекла. Такие, с решеткой, были в их классе у Копытина. Носил он их на пульсе, часто поглядывал на уроке: отставит руку и глядит издали, словно бы иначе ему плохо видно. А когда наконец подошла очередь, наручные все разобрали, и ему достались большие, круглые и толстые 2-го госчасзавода карманные часы. Стоили они семьдесят пять рублей, тех, довоенных семьдесят пять рублей. Он сам заработал эти деньги: в учреждениях к праздникам писал плакаты на кумаче. Только уже в полевом госпитале, после операции, он обнаружил, что часов нет. И не так ему часы было жаль, как всего с ними связанного, что они из дому.

Ему удалось наконец прикурить одной рукой. Стоял, грелся табачным дымом, притопывал. Когда почувствовал во рту вкус горелой бумаги, бросил окурочек. Ветер из-за угла подхватил его, выбитые искры заскакали по снегу. Нет, долго так не простоишь. Злясь на себя, он неохотно побрел к госпиталю.

Вдали, над путями, над семафором — четко вырезанный, огромный, будто ненастоящий, месяц. Дорога пошла вниз, месяц впереди начал опускаться за семафор. Где-то далеко на путях прокричал паровоз, осипший на морозе. И, разбуженный его криком, Третьяков

повернулся, пошел обратно, торопясь, словно боялся растерять решимость. Он постучал опять в ту же дверь. Она открылась сразу.

— Вы простите, пожалуйста, я не спросил, где помещается это, куда Саша пошла? Больница эта?

Женщина скинула цепочку с двери:

— Заходи, чего дом-то выстужать.

Он вошел. С безбрового лица смотрели на него рыжевато-карие глаза. Они одни и были на белом припухлом лице. Смотрели с любопытством.

— Давно Саша туда ушла?

— Давно-то не шибко давно, а уж порядочно будет.

И оглядывала всего его, чем дальше, тем жалостливей.

— Далеко отсюда до этой больницы?

— Да не больница, больница-то в городе, а это бараки совсем. Для инфекционных которы. Саша из школы пришла, а мать увезли. Ой, плоха была, плоха совсем. Она по следу и побежала за ей. Гляжу — вернулась. «Саша, ты обожди, Василий мой с работы придет, мы Иван Данилыча спросим».

— Кто это Иван Данилыч?

— Иван-то Данилыч? — Она изумилась, что можно его не знать. — Да к райвоенком ведь Иван Данилыч, мужа моего брат старший. «Ты, Саша, обожди, спросим его дак...» Она ничо не говорит и есть не стала нисколько. Бегат по дому по углам, ровно мышка. Темно уже, слышу, побежала опять.

— Так как же бараки эти найти?

— Да просто совсем.

И опять с сомнением оглядела его шинель, пустой рукав под ремнем.

— Улицу Коли Мяготина знашь небось?

— Знаю, — кивал Третьяков, надеясь из дальнейшего понять, где это улица Коли Мяготина. А сам отогревался тем временем, чувствовал, как набирается тепло под шинель.

— Ну, дак по ей да по ей до самого до Тобола. — И, придерживая на себе пуховой платок, левой рукой показывала в окно через пути — в обратную от Тобола сторону.

— Значит, если от вокзала, это будет широкая такая улица?

— Ну да. А как до Тобола дойдешь, дак вправо и вправо.

Перехватив платок левой рукой, она махала вправо от себя. Мысленно он все переставил, поскольку, сама того не подозревая, она стояла к Тоболу спиной и показывала все наоборот.

— Понятно. Значит, до Тобола и вправо. Тобол — на западе? Я хочу сказать, солнце за Тоболом садится?

— За Тоболом. Где ж ему еще западать?

— Понятно.

Он начинал ориентироваться. Из окна коридора в госпитале каждый день было видно, как в той стороне садилось солнце.

— Можно вовсе просто: по Коли Мяготина пойдешь, дак и свернешь вправо по Гоголя. И опять — прямо. И опять — вправо: по Пушкина ли, по Лермонтова. Так, лесенкой, лесенкой...

— И там бараки будут?

— Не они. Сначала — кладбище. Тобол-то в сторону уйдет.

Кладбище — это верный ориентир. В случае чего кладбище укажет ему каждый.

— А за кладбищем и они уже. Дальше вовсе ничего нет, один обрыв.

— Спасибо,— сказал Третьяков. Хоть смутно, а что-то он уже представлял. И, взявшись за дверь, попросил: — Если Саша раньше вернется, вы ей ничего не говорите. Искал, не искал, вы ей не говорите этого. А то думать будет...

И по недоуменному ее взгляду понял: непременно тут же и расскажет. Еще и в дом не даст войти, как все расскажет.

ГЛАВА XVI

Не будили его даже к завтраку. Сквозь сон слышал Третьяков какие-то голоса, один раз близко над собой услышал голос Китенева.

— У него сон ужасно плохой. Всю ночь промучился...

Вновь проснулся он от суматохи. Посреди палаты у стола сгрудилось несколько человек, звякало стекло о стекло, булькало из графина. Что-то разливали.

— Так... Кому теперь? — быстро спросил Китенев. — Атраковскому нельзя. Ройзман!

Он взял Ройзмана за рукав, дал ему в пальцы стакан, мутноватый на свет:

— Давай!

Увидев стакан, Третьяков сразу почувствовал си-
вущий запах самогонки, сел в кровати:

— За что это вы пьете с утра пораньше?

Китенев глянул на него:

— Ты б еще дольше спал. Наши к Берлину подхо-
дят, а он только проснулся.

— Нет, в самом деле, что случилось?

Но ему уже налили:

— Действуй! Спрашивать будешь потом.

И тут же рассказали:

— У Аветисяна дочка родилась.

В сонном сознании не сразу связалось одно с дру-
гим: что Аветисян и есть тот самый старший лейтенант,
раненный в голову навывлет, который ночью напугал его.
Он поднял стакан, показывая, что за него пьет, пил,
стараясь не поморщиться, мужественности своей при
всех не уронить. По мере того как донышко стакана за-
прокидывалось кверху, Старых взглядом провожал его
и даже сглотнул, помогая издали. Тут и ему поднесли
полный до краев. И хоть спешили все, на дверь огляды-
вались, он сразу строг стал: святая минута наступила.
Просветлевшими глазами оглядел всех, мыслью сосре-
доточился:

— Ну!..

И, сам себе кивнув, выдохнул воздух, потянул, по-
тянул, благодарно зажмурясь. Вдруг начал синеть, за-
кашлялся, выпученные глаза полезли из орбит:

— С-сволочи! Кто воду налил?

Грохнул хохот. Китенев ладонью вытирал слезы:

— Не будешь жадней всех. Другому наливаю — он
ее уже глазами пьет. Тебе по правилу вообще бы не да-
вать. Вот у нас в обороне порядок был четкий: четыре
стакана нальют, в трех спирт, в одном — вода. Где что
налито, знает кто наливал. Подняли. Выпили. Ни за что
по лицам не различишь, кому что досталось. А этот ин-
теллигентный очень: от воды кашляет.

И поровну себе и Старых налил остатки из графина.
Как раз два стакана получилось:

— Держи, не кашляй!

После этого срочно был вымыт графин, заново налит
из-под крана. Китенев насухо обтер его полотенцем, во-
друзил на прежнее место посреди стола. И еще шахма-

ты расставил на доске: люди в шахматы играют, полезным умственным делом заняты. И радиоточку включили погромче.

Оказывается, вчера вечером Аветисян заговорил вдруг: дождался тишины и заговорил. Из самых первых слов, сказанных им в палате, было: «У меня дочка маленькая родилась». А огромные глаза на худом лице спрашивали: будет ли у дочки жив отец? По общему мнению, выходило, что будет жив. И решено было два таких события отметить. Когда уже собрались, приготовились, нагрянула в палату начмед, прозванная ранеными «Танки!». Была она лет двадцати пяти, муж ее воевал где-то на севере, в Карелии, и хоть она иной раз неявно поощряла взглядом, храбрых что-то не находилось проводить ее до дому. Даже среди выздоравливающих ни одного такого храбреца не нашлось: была она вся крепкая, как налитая, португеей едва хватало перелестнуть через грудь к ремню.

Вот она и вошла в палату, пока Третьяков спал. А посреди стола стоял графин, налитый самогонкой. Прятать что-либо в палате — быстрее только попадешься, а так стоит графин на своем месте, никому и в голову не стукнет проверять, что там. Но начмеду показалась вода мутноватой. И, обнаружив беспорядок, забываясь исключительно о здоровье ранбольных, она при общей стгутившейся тишине взяла графин в руку, еще раз посмотрела на свет, нахмурилась грозно, пробку стеклянную вынула, понюхала и изумилась. Самой себе не поверив, налила на донышко стакана, отпила и в тот же момент выскочила искать замполита госпиталя.

Третьяков доедал застывшую, как студень, синеватую овсяную кашу в тарелке, а все в палате такие серьезные сидели, такие серьезные, вот-вот смех грянет. Оттого, что он полночи не спал, от выпитой самогонки все у него сейчас перед глазами было проясненное, словно другое зрение открылось. И свет зимний казался сегодня особенным, и белое небо за окном, и снег, подваливший к стеклу снаружи. Каждая ветка дерева была там вдвое толще от снега, который она качала на себе.

Он смотрел на всех и видел одновременно, как они с Сашей идут по городу и месяц им светит. А может, этого не было?

Он ведь уже не надеялся найти эти бараки. Под конец злился на себя: чего он идет? Кто ждет его? И возвращался несколько раз, а потом снова шел. И пред-

ставлялось мысленно, как Саша увидит его, обрадуется, поразится. А Саша не узнала его. Она стояла одна перед крыльцом, сильно мело с крыши, фонарь над дверью светил, как в дыму.

— Саша! — позвал он.

Она обернулась, вздрогнула, попятилась от него.

— Саша, — говорил он и шел к ней. Потом догадался остановиться. — Это я, Саша, это же я. Мне соседка сказала, что у тебя мама заболела.

Только тут она поняла, узнала, заплакала. И плакала, вытирая варежками слезы:

— Мне страшно уходить отсюда. Она такая худая, такая худая, одни жилочки. У ней сил нет бороться.

Он загораживал ее от ветра спиной, а сам замерз так, что губы уже не могли слова выговорить. Когда шли обратно по городу, Саша спросила:

— У тебя есть что-нибудь под шинелью?

— Есть.

— Что?

— Душа.

— Ничего не пододего? — ужаснулась Саша. — Пошли быстрей.

Он шел как на деревянных ногах, вместо пальцев в сапогах было что-то бесчувственное, распухшее. А Сашины валенки мягко похрустывали рядом, и месяц светил, и снег блистал. Все это было.

Подошел Старых, сел к нему на кровать:

— Ноги не поморозил?

— Нет, немного только.

— Его благодари. — Старых указал на Атраковского. — В любой мороз иди, и валенок не надо.

Он рукавом байкового халата утер вспотевшее от самогонки лицо:

— Молодые, учить вас... Запоминай, покуда я живой!

А Третьякову с тем, что было у него сейчас на душе, как богатому, казалось каждый из них чем-то обделен.

Шлепая тапочками, пришаркал Ройзман, сел к нему на кровать:

— Так вы, Третьяков, в училище были в первой батарее? Знаете, мне кажется, я вас помню.

Ройзман теперь всю свою жизнь заново проходил по памяти и то, что зрячим не замечал, хотел задним числом увидеть. Только вряд ли он помнил Третьякова: среди курсантов ничем особенным он не отличался. А

в памяти крепче всего застревают те, с кем что-нибудь смешное случилось. Был, например, у них во взводе курсант Шалобасов, тот с первого построения запомнился. Вышел от батареи с ответной речью, голос — будто каждым словом врага разит. И сказал так:

— Мы прибыли сюда хватать верхушки артиллерийской науки...

Этого уже никто не забыл. Только трудно давались ему «верхушки артиллерийской науки». В сорок первом году, когда брали Калинин и ворвались наши танки с десантом автоматчиков, был в том десанте и Шалобасов, в валенках сидел на броне. Взрывом снаряда сбросило его с танка, ударило о мерзлую землю. В себя он пришел, но память отшибло накрепко. Иной раз ничего невозможно было ему вдолбить. И помогали ему, и помирили над ним со смеху. А разыграть его вообще ничего не стоило. Подойдут с серьезными лицами: «Слыхал, Шалобасов, вчера Белан опять азимут потерял...» Тому дурная кровь в голову, глаза выпучит и уже готов идти требовать, чтобы курсанта Белана привлекли за утерю казенного имущества. Вот Шалобасова и Ройзман не забыл, заулыбался сразу.

— А помните, у нас на уроке артиллерии одному курсанту налепили бумагу на стекла противогАЗа?

— Да, да, да! Это были вы?

— Нет. Акжигитов.

Тут все заговорили о противогАЗах. В училище как только не мудрили над курсантами! У Третьякова это еще в памяти было, как вчерашнее. И бегать заставляли в противогАЗах по морозу с полной выкладкой. И спали в них. Спать, правда, курсанты быстро приладились: вынул клапан и дыши... Но у старшин они тоже были не первое поколение. Подкрадется ночью старшина, пережмет гофрированную трубку, а курсант дышит хоть бы что, спит себе, сны видит. Утром в бязевых нательных рубашках все бегут на зарядку, пар от всех валит на морозе, а провинившийся скальвает саперной лопаткой желтый лед, за ночь намерзавший на углу казармы.

— Акжигитов мастер был спать с открытыми глазами. За день и так намерзнешься в поле, а тут придумали еще на занятиях сидеть в противогАЗах. Лицу от резины тепло, стекла от дыхания запотевают, спят все, один Акжигитов глядит. Вот и налепили бумажки на стекла. Его вызвали к доске, он вскочил — все, как в дыму. Идет, на столы натывается...

Ройзман смеялся вместе со всеми, словно самое дорогое вспомнив. Для него теперь только то зримо, что было в прошлой жизни. А тогда ледяного взгляда голубых его глаз побаивался Третьяков. Входил капитан Ройзман на занятия, щеки после бритвы блестят, раздражение на шее припудрено. Вызовет к доске, а взглядом держит на дистанции. Но особенно гордой была у него походка: на прямых ногах, не сгибая колен. После узнали: в самые первые дни отступления, в Прибалтике еще, был он ранен в обе ноги. Оттого и походка у него такая — поневоле журавлиная.

Майор Батюшков, самый пожилой из преподавателей, по-детски не выговаривавший ни «р», ни «л», за что и получил от курсантов прозвище «Посраник божий», жаловался как-то на Ройзмана во время тактических занятий, когда весь взвод, промерзнув, грелся табачным дымом, спинами от ветра заслоняясь: «У меня доче'и — девушки, а к нему женщины ходят по вече'ам. Каждый 'аз — новые. И мы с ним в общей ква'ти'е живем...»

И невдомек было ему, что этим только подымает капитана в курсантских глазах.

Побритый на ощупь, с клочками оставшихся кое-где волос, сидел сейчас Ройзман в халате, задумавшийся, как старец. Есть ли у него семья? Или на оккупированной территории остались все? Письма к нему не приходили в госпиталь ни разу, иначе бы просил прочесть вслух.

А у окна, в углу, как, бывало, он сиживал на Гошиной койке, сидел Старых в ногах Аветисяна, расспрашивал громко, как глухого:

— Дочка — это как же будет по-вашему?

Что-то неслышно сказал Аветисян. Старых в изумлении зашевелил губами, складывал их по-чуждому, что-то выговорить пытался:

— Ну, что ж... Ничего. Тоже и так можно.

ГЛАВА XVII

Теперь Фая, соседка, открывала ему как своему и, если Саши не было дома, звала обождать. У нее в комнате всегда жарко натоплено и бело от накидок, скатерок, скатерочек, развешанных, разложенных по-

всюду. А у теплой стены — кровать, пышная гора подушек.

Ног не вынимая из чесанок, разрезанных позади, чтобы на икры налезали, — не каменных фабричных валенок, а из дому присланных мягких деревенских чесанок, — сидела Фая посреди обрезков материи, шила что-то маленькое или вязала крючком крохотный какой-нибудь башмачок. И вздыхала. Прокричит паровоз на путях, Фая повернет голову к окну, долго слушает: он уж замолк, а она все слушает. И опять замелькал крючок в руке. Под успокоительный Фаин голос, под ее вздохи, от металлического мелькания перед глазами Третьяков засыпал наяву, а уши в тепле горели.

— ...Вакуированных понагнали, ой, чо делаться стало! — вздыхает Фая. — Денег у всех помногу, во по скольку денег, цены-те сразу и поднялись.

Фланелевый халат на животе у Фаи уже не сходится, тонкие, блестящие под абажуром волосы причесаны гладко, а чтобы пучок на затылке не распадался, полукруглый гребень в него воткнул. И тишина в комнате, будто мир вымер, не верится даже, что где-то война идет.

— Чо на базар не вынесут, — вакуированные все хватают. Так и хватают, так и хватают, прямо из рук рвут. Деньги-те подешевели, людям ни к чему не подступись.

Фая свое говорит, а он свое видит. «Вакуированные»... Вначале и слова этого не было — эвакуированные; говорили, как от прошлой войны осталось: беженцы. Он шел по Плехановской, и вдруг разнеслось: селедку дают. Это было самое начало войны, еще только карточки вводили. А тут, как до войны, без карточек.

Прямо на улице скатили на тротуар бочки, поставили весы, и продавщица в фартуке, мокром на животе от селедочного рассола, продавала развесную селедку: за головы вытягивала из бочки рукой и шлепала на весы. Сразу настановилась очередь, и еще подбегали, подбегали люди, радовались удаче.

Странно теперь вспоминать, назад оглянуться: немцы были уже в Минске, столько людей погибло уже и гибло, гибло ежечасно, а тут радость: селедку дают. И он тоже радовался, заранее представлял, как принесет домой: без карточек достал! И разговоры в очереди: «Хватит на всех? Становиться? Не становится?» А вперемежку другие разговоры: что где-то на юге идет

огромное танковое сражение, наших больше тысячи танков уже разгромили немцев. И верят, хочется верить: все так удачно сразу сошлось. И кто-то знающий доподлинно, из первых рук, разъясняет авторитетно, теперь немцы покатятся назад...

Вот тут словно страшным ветром подуло на людей, словно хлопья сажки принесло с пожара. Прямо по трамвайным путям двигались посреди улицы какие-то повозки, запряженные лошадьми, люди шли нездешние, одетые кто во что — кто в шелковое платье, кто в шубе среди лета, дети закопченные выглядывали из халабуд. Это были беженцы, первые беженцы, которых увидели здесь: война пригнала впереди себя. Всех их стали пускать за селедкой, очередь отступилась от весов, а они только пить спрашивали.

Когда он в этот раз по дороге из училища на фронт заехал на станцию Верещагино, где мать и сестренка жили в эвакуации, он снова этих беженцев вспомнил. Мама была такая же худая, как те женщины: губы заветренные, растрескавшиеся до крови. А на левой руке вместо безымянного пальца увидел он вздрагивающий обрубок. Мать, словно застыдясь перед ним, спрятала руку: «Зажило уже...» Лялька рассказала ему, потом, это на лесоповале случилось. И еще у мамы страшный шрам на плече и на лопатке во всю спину.

Фая — как детство человечества, у нее не война виновата, а «вакуированные»: у них у всех денег помногу, цены из-за них поднялись. И большинство людей так: видят, что к глазам поближе, что их коснулось самих. И так останется, и не переубедишь. Причины не многим понятны и не многим интересны.

— Первые-то самые все больше из Орши были. — Фая вздыхает, лицо у нее сейчас осмысленное. — Где это Орша?

— В Белоруссии.

— И Данилыч мой так говорит. И чо люди думали? Нисколько даже в руки не взяли с собой. Чо надето на них, то и при них. А детей помногу у каждой.

— Они, Фая, из-под бомбежки бежали. Тут живыми вырваться, детей спасти.

— Ой, страх, страх! — Углом гребня Фая почесала широкое переносье. И хоть брови высоко в этот момент подымала, ни одной морщины на лбу не наморщилось, только весь он выпер подушечкой. Провела гребнем по волосам, воткнула в узел на затылке. — Морозы-то как

ударил. Данилыч, бывало, придет с дежурства: «Опять утром мерзлых у вокзала подбирали...» Дак чо Данилыч, я и сама видала, вокзал — вон он...

Прохрустел снег за окном под чьими-то валенками. И Фая и он прислушались: Данилыч? Саша? Каждый своего ждал. Бухнула входная дверь; Саша, к себе не зайдя, сюда заглянула, румяная с мороза, белой изморозью опущен платок вокруг лица. Увидела его — обрадовалась. В коридоре сказала:

— Я маму видала. Горло завязанное, такая несчастная в окне. Говорить не может, кивает мне из-за стекла.

На пушинках платка, на ресницах иней уже растаял от тепла и блестел. Такой красивой он не видел ее еще ни разу.

Она размотала платок, скинула шубку, в ситцевом платье убежала на кухню умыться. Рядом со своей шинелью он повесил Сашину шубу, теплую ее теплом, посмотрел, как они висят. Стоя посреди комнаты в гимнастерке без ремня, ждал. Саша вернулась, вытирая лицо полотенцем, говорила невнятно:

— Мы с мамой спали вместе, и то я не заразилась, я теперь вернусь оттуда, — умываюсь, умываюсь... На улице стою, не пускают туда, а все равно кажется, все микробы на мне.

Она достала из-под подушки кастрюлю, завернутую в телогрейку, делала все быстро:

— Сейчас печь затопим.

И, накидав на руку сушившиеся у печи дрова, понесла их в коридор, к топке.

— Я без мамы теперь на ночь топлю, — говорила она, присев на корточки, обдирая с поленьев бересту на растопку. — Целый день меня дома нет, так по крайней мере утром из тепла выходишь на мороз.

— А что же ты ешь, Саша?

— Что ты! У нас картошка есть.

Они вместе уложили щепки, дрова на них и подожгли. Запахло березовым дымком, коридор осветился из топки.

— Обожди курить, — предупредила Саша, очищая ему от кожуры остывшую картошку.

— Я не хочу, — говорил он. — Я после ужина.

— Как это можно не хотеть картошку? По-моему, от одного ее запаха... Своя у нас картошка, не покупная, своя.

Крупная очищенная картофелина сахарно искрилась при огне.

— На.

Он держал ее в руке, ждал, пока Саша очистит себе.

— Ты любишь такую, в мундире? Я ужасно люблю. А если с молоком... — Она откусила, не утерпев. — Ешь. Я тут одной молочнице вышила платье, целый месяц вышивала. Заберусь с ногами на кровать, одним глазом — в учебник, а сама вышиваю. Васильки по серой парусине: вот так на рукавах, на груди, по подолу. — Она обчертила в воздухе, и он увидел ее в этом платье: васильки к ее серым глазам. — Она принесла нам целую четверть молока... Я же соль забыла!

— Она и без соли вкусная.

— И мне тоже. Тут какой-то совершенно особенный сорт. Поверишь, мы одни глазки сажали — и вот такие клубни. Один куст — полведра.

Она сбегала в комнату, блюдечко с солью поставила на железный лист перед печью. Красный огонь из топки плясал на их лицах, на светлом железном листе. Они сидели перед топкой на низкой скамейке, макали картошку в соль, розовую от огня.

— Ты ведь был совершенно не такой, — сказала Саша. — И лицо у тебя было другое.

— Какое?

Она рассмеялась:

— Я уже не могу вспомнить сейчас. Просто лицо чужого человека. Нет, один раз — не чужое. Знаешь когда? Мне перевязывали ногу, а ты прошел по коридору. Ты прошел, а я посмотрела тебе вслед. Ты сделал вид, как будто прошел просто так. Мне стало тебя жалко. Но все равно это был не ты. Я даже могла бы тебя не узнать. А помнишь, мы сидели на подоконнике?

— Ты тогда вообще смотрела сквозь меня.

Саша помолчала. На лице ее сменялись отсветы огня из печи.

— Знаешь, когда ты впервые, — она посмотрела на него, — вот такой был, как сейчас?

— Когда?

— Нет, я не тогда увидела, я на другой день вспомнила и подумала, что ты обморозился и, наверное, заболел. Ты такой заледенелый был в шинели и еще меня загораживал от ветра.

Они говорили и смотрели в огонь, и это было их общее, что они видели там.

— Помнишь, я еще спросила: «У тебя есть что-нибудь под шинелью?» А ты засмеялся: «Душа!» А у самого губы не могут слова выговорить. Я потом весь день думала, что ты заболел.

— Так ты ж меня тогда испугалась.

— Это не тогда. Я испугалась, когда ты вышел из-за барака. Ты не видел, какой ты был страшный. Весь заметенный, как волк. Мне даже показалось, у тебя глаза блестят. И никого кругом. Я ужасно испугалась.

Бухнула входная дверь на кухне. Через коридор прошел вернувшийся с дежурства Василий Данилович Пястолов, Фаин муж. Жестяные пуговицы на его железнодорожной шинели — белые от инея: мороз на улице был сегодня силен. Данилыч прошел, не кивнув, в форме он высоко себя нес. Но из комнаты вышел другим человеком: в телогрейке, в растоптанных валенках, в руке — топор, старая ушанка примяла одно ухо. Он шел в сарай за дровами, остановился около них:

— Маруся не лучше?

— Сегодня в окне ее видела, — похвасталась Саша.

— Значит, на поправку тронулась.

В пляшущих отсветах долгоносое лицо Данилыча то светлело, то думой омрачалось.

— Плоха была, совсем плоха. — Поскреб ногтями подбородок, сощура на огонь стеклянный взгляд, потянул себя за нос. — Повезли ее — нет, думаю, не выживет. Гляди-ко, жива...

Саша и Третьяков посмотрели друг на друга, удержались, чтоб не рассмеяться. Он не видел. Постоял еще над ними и пошел с топором в руке, мягко ступая разношенными валенками.

Увидев, что она очищает картошку, Третьяков прикинул из печи.

— Подожди, — опять сказала Саша.

— Все. Не могу уже. Когда закурил, не могу.

— Не можешь?

— Не могу.

— Нет, как ты честно врешь. И глаза святые.

— Я не вру.

— Не врешь. Вот эту, когда покуришь, съешь.

Она очистила себе.

— Мы, когда осенью выкопали картошку, дождались ее наконец, я думала, мы никогда не наедемся. А капуста тут какая! Даже в Москве на базаре я такой не видала. Заморозок уже, воздух свежий, холодный,

и вот такие огромные белые кочаны на грядке лежат. Я этот запах, мне кажется, на всю жизнь запомню. Нам дали участок, одну сотку, мы с мамой пришли копать, а там вскопано. Мама так напугалась, бегаёт: «Отوبرали у нас, кому-то отдали...» А я вижу: смятая пачка «Беломора» валяется. Володя курил «Беломор». Я сразу догадалась: это они с Женькой вскопали.

Непросохшие березовые поленья сипели в печи, на закопченных торцах накопал желтый сок. Заслонясь рукой от жара, Саша передвигала поленья, пальцы ее против огня насквозь светились.

— Мама до войны совсем не такая была. А теперь чуть только что — сразу беззащитная становится. — И посмотрела ему в глаза. — У меня мама... Моя мама — немка.

У него вырвалось простодушно:

— Ты не похожа.

— Я с мамой — одно лицо.

— Саша, я не то хотел сказать. — В душе у него шевельнулась к ней жалость. — Ведь сейчас быть немкой...

— Ты понимаешь это? Немка, когда война с немцами. Но она так родилась, в чем она виновата? И она вообще даже не немка. Бабушка была русская. А дед... Он всех детей тайком возил в Финляндию крестить в лютеранскую веру. До революции еще. Клал в корзину и тайком от бабушки вез. Если бы не это, мама сейчас и по паспорту была бы русская. А с таким паспортом куда она? И из Москвы мы бы не уезжали ни за что. Но папа очень за нее боялся. Он с фронта писал тете Нюсе, своей сестре, чтобы мы вместе были, вместе эвакуировались. А когда он погиб, мама все время мне говорила: «Если со мной что случится, ты по крайней мере останешься с тетей Нюсей. А так ты совершенно одна». У нее все время этот страх, она за всех немцев, за все, что они сделали, себя чувствует виноватой. На ней это — как пятно какое-то. Не пережив, нельзя это понять.

Но он понимал и чувствовал. В его семье не было немцев. И мать и отец его — русские люди. Но отец арестован. Четыре года оставалось до войны, слово «немец» не означало то, что оно теперь значит, но уже тогда на нем было пятно, и он чувствовал это. Саша ему только ближе стала, когда рассказала сейчас.

— У меня еще стыд перед мамой, — говорила она. — Тут первая весна такая страшная была, я просто не

знаю, как мы пережили ее. Папа погиб, аттестата нет, все, что привезли с собой, продали. Я утром выпью стакан теплой воды и иду на экзамены. И вот один раз... Стыдно ужасно! Эти дни, когда ей плохо было, я прямо отделаться от этого не могла. Понимаешь, я выкупила хлеб по карточкам. На два дня сразу. На маму и на себя. Вышла из магазина и чувствую — не могу. От него так пахнет! Вернулась, попросила продавщицу отрезать кусочек. А она своим огромным этим ножом вот такой кусок отхватила. И я съела. Не могла утерпеть. Мама увидела, конечно. Она же, главное, не работала. — У Саши в глазах были слезы. — У нее иждивенческая карточка. Я работала вечерами после школы, она как бы на моем иждивении, и я у нее отрезала и съела тайком. И сказать постыдилась. А она вообще такая, что с себя последнее отдаст. Мы еще когда не все продали, а морозы страшные в ту зиму... Вот придут просить, тоже эвакуированные, особенно если с детьми... Она тайком от меня отдаст что-нибудь, а потом такая передо мной виноватая! «Доченька, ведь мы с тобой все же в тепле...»

Саша встала, ушла в комнату. Когда вернулась, лицо было хмурое, глаза сухие, щеки горели.

— Там еще холодно, — сказала она, — давай здесь чай пить.

Она принесла чашки, вынула закоптившийся чайник из печи. В коридоре сразу стало светлей от незаслоненного огня. Они сидели лицами к топке, две огромные их тени колыхались за спинами по стене, терялись в красноватом сумраке под потолком.

— Ведь она почему заболела? — сказала Саша. — У тети Нюси Ленечка заболел дифтеритом. Так она уговорила не отдавать его в больницу, а то он умрет там. Где-то добыли сыворотку, она сама ухаживала за ним. И меня заразить боялась, все хлоркой мыла. И заразилась.

Он шел в этот вечер под косматым зимним небом, под толстыми, как тросы, белыми от инея проводами, шел и думал. Он думал о Саше, о войне, о крови, которая третий год льется на всех фронтах, а в ней так чудно слилась.

Какой-то дед возил детей крестить, клал, как котят, в корзинку и вез. Какая связь? А связь есть, только незримая; во всем, что происходит, есть связь всех с каждым. Согласись он тогда остаться при штабе бригады, как старший лейтенант Таранов остался, и никогда бы

он не встретил Сашу. Только на отдалении видишь, как связано одно с другим.

Сильный луч прожектора осветил снег, далеко вперед кинул его тень. Третьяков оглянулся. По лезвиям рельсов мчался на него слепящий свет, втягивал в себя из тьмы блески изморози.

Он сошел с полотна. Налетел, промчался мимо него с грохотом по прогибающимся рельсам тяжелый состав, увлекая с собой морозный ветер: товарные вагоны, платформы, туши танков на платформах под заметным брезентом, часовые в валенках на площадках вагонов, отвернувшиеся от ветра, платформы с пушками, вагоны, площадки, часовые — мелькало, мелькало, мчалось в грохоте, в стуке колес, и выше, выше над мчащимся составом вздымалась снежная пыль. В этом взметенном снегу, в снежной мчащейся метели мелькнул и скрылся последний вагон. Туда умчался, к фронту. И устремилось вслед, с ним вместе унеслось что-то, как оторвалось от души. И ощутимой стала пустота.

ГЛАВА XVIII

— Ну, пожили мы дружно, госпитальной каше поели, пора и честь знать. А то тут с вами воевать разучишься, — говорил Китенев, по грудь укрытый одеялом. Как раз с вечера всей палате сменили белье — и постельное и нательное, — и он в чистой клейменной бязевой рубашке лежал высоко на подушке, заложив руки за голову, край белой простыни отвернут поперх одеяла. Потянулся, разведя локти, сладко зевнул до слез. — Будете тут радио без меня слушать, где чего на свете делается. Я на Украине в госпитале лежал...

— А говорил, ни разу не раненый, — на слове поймал его Старых.

— Ни разу. Это меня при бомбежке привалило. Вот начнут с утра по радио — чудно слушать: захоплéно, лэтакив, гармад, рушныць... Мы возьмемся считать, сколько у немца «захоплéно»... Да ему уж воевать нечем! У него за всю войну столько не было, сколько у него «захоплéно».

— Не ранен, а в госпитале лежал.

— Не ранен.

— А контужен — не один черт? Нет таких в пехоте, чтобы воевал и нигде не раненый, не побитый.

— И не контужен. Меня землей привалило!— с достоинством говорил Китенев. В госпитале месяцы мелькают быстро, а каждый день долог. Вот Китенев и старался с утра пораньше «завести» Старых, благо тот «с пол-оборота заводится». Они еще попрепирались со скуки: «Присыпало... А если б не откопали?» «Второй раз закапывать не пришлось бы...» — и Китенев повернулся на бок, подпер голову, стал глядеть на Третьякова. Тот спокойно сгибал и разгибал поверх одеяла раненую руку. Врач еще на первых перевязках сказала ему: «Хочешь, чтоб рука осталась крючком?» «Зачем же мне?» — испугался Третьяков. «Тогда разрабатывай сустав, а то так и срастется». И хоть больно бывало вначале, кровью промокала повязка, оставаться инвалидом ему не хотелось.

— Ну?

Глаза у Китенева светлые, как вода, прозрачные. Третьяков ждал.

— Вот не знаю, оставлять тебе шинель в наследство, не оставлять? Может, зря только трепешь казенное имущество? Похоже, что зря.— В светлых глазах его смех играет:— А вообще как?

Третьяков, улыбаясь, ждал.

— Я спрашиваю, как в смысле морально-политического состояния?

— Бодрое.

— А ведь какой был юноша!— Китенев подложил подушку под спину, сел повыше.— Его когда в палату привезли, я думал, к нам девушку кладут. Глаза ясные, мысли чистые и все устремлены на разгром врага. А по-лежал с вами, и вот чего из него получилось. Это он от Старыха понабрался. Не учись у него, Третьяков, он уже лысый. Между прочим, ты, Старых, своей лысине жизнью обязан. Ты ведь от стыда прикрылся. А будь у тебя чуб, как у некоторых военных, стал бы ты каску на голову надевать?

Китенев процедил сквозь пальцы волнистый свой чуб, заметно отросший в госпитале. Медсестра, с ложки кормившая Аветисяна гречневой размазней, сама рыженькая, круглолицая, румяная, так заслушалась радостно, что ложку уже не в рот совала, а в ухо.

— А ну, руку мне сожми!— Китенев протянул Третьякову свою руку. Тот полюбовался, как на ней от кисти до засученного по локоть рукава играют все мускулы.

— Зачем?

— Старшего по званию спрашивают «зачем»? Приказано жать — жми! Может, ты симулянт.

Посмеиваясь, Третьяков слабыми пальцами сжал, сколько мог.

— И все? Ты что, вообще такой слабосильный? А ну, правой жми! Нет, силенка есть. А ну, левой еще разок! А ну, смелей!

— Все.

— Как все?

— Все. Сильней не могу.

Тут Старых прискакал, подпираясь под плечо костылем, сел на койку с разбегу, обнял костыль. Лицо, жаждущее рассказать.

— Это тоже привели одного на медкомиссию, рука не хуже твоей, не разгибается... Ты слушай, слушай, опыту набирайся, плохому не научу. Приводят его, ага... «А ну, руку разогни». «Она у меня такая...» Пробуют силой разогнуть. Все точно, отвоевался парень, надо списывать по чистой. А тут хирург-старичок не зря нашелся: «Ну-ко покажи, как она у тебя прежде была?» «Прежде-то во как!» — И сам разогнул. Гляди, Третьяков, будут спрашивать, мимо ушей пропускай. — Старых махнул себя по уху. — Врачи, они теперь дошлые...

Белые двери палаты раскрылись, в белых халатах вошли двое. Передний, солидный, подымал плечи, очки его гордо блеснули на свету. При нем суетился начхоз.

Начхоз был вольнонаемный. На нем под халатом — мятые гражданские брюки в полосочку, не достающие до ботинок. Нестроевой, ограниченно годный по какой-то статье, он в их офицерскую палату входил, пресмыкаясь, понимал, как должны раненые смотреть на него, не безрукого, не безногого. И хоть ничего в его судьбе от них не зависело, готов был услужить каждому. «Жить хочет», — определил Старых. И даже про то, что начхоз шепелявит от рождения, сказал: «Придуривается! Нестроевой... С женой спать, тут он строевик, а как на фронт — ограниченно годный».

Третьякову всегда стыдно было за этого человека, не стыдящегося унижать себя. Как можно жить от освидетельствования до освидетельствования, ждать только, чтоб опять признали ограниченно годным, отпустили дослуживать в тылу... Ведь мужчина, война идет, люди воюют.

Но сегодня начхоз нес службу при начальстве. Никого в отдельности не замечая, строгим взглядом прошел по головам:

— Здесь он, здесь. Разве что если на перевязку... Третьяков! Подводите вы нас. Вами вот интересуются.

Что-то знакомое почудилось Третьякову в солидном человеке, которого начхоз пропускал вперед, в его манере поднимать плечи. Но тут Старых неохотно поднялся с кровати, загородил обоих. А когда отскакал в сторону, они уже стояли в ногах.

— Володя!

— Олег!

В портупее косо через плечо, в распахнутом белом халате стоял перед ним его одноклассник Олег Селиванов, смотрел на него и улыбался. И начхоз улыбался, родительскими глазами глядел на обоих. И вся палата смотрела на них.

— Как ты разыскал меня?

— Да, понимаешь, совершенно случайно.

Олег сел на ребро кровати, полой халата прикрыл полное колено, обтянутое суконным галифе. Военная форма, погоны под халатом, портупья, ремень. А в стеклах очков те же кроткие, домашние глаза. Бывало, стоит Олег у доски, весь перепачканный мелом, потный от стыда: «Спросите у мамы, я, честное слово, учил...»

— Слушай, по виду ты прямо «товарищ командующий».

— Главное, ты здесь столько лежишь, а я лишь вчера узнал. В бумагах попалося...

— Представляешь, капитан, вместе в школе учились,— сказал Третьяков, отчего-то чувствуя некоторую неловкость за Олега: того так почетно ввели, такой он сидел здоровый, свежий с улицы.

— Бывает,— сказал Китенев и встал, надевая халат.

— Олег, но как ты здесь?

— Я — здесь.

— Здесь?

— Здесь.

И оба в этот момент почувствовали тишину палаты.

— Пошли, ротный, покурим,— сказал Китенев громко. Вместе со Старых пошли они в коридор. И начхоз удалился, для порядка еще раз оглядев палату.

Шелестел газетой Атраковский на своей койке, заложив руку за голову. Оголившийся белый худой ло-

коть его с опавшими синими венами, как неживой, торчал вверх.

Олег протирал стекла очков полой халата, слепо мигал будто припухшими глазами. Смутно вспоминалось Третьякову — мать писала ему на фронт или Лялька писала, — что призвали Олега вместе с ребятами из их класса, с Карповым Лешкой, с братьями Елисеевыми, Борисом и Никитой, куда-то их погнали уже обмундированных, а потом Олег вернулся. И что-то угрожало ему. Но будто бы вмешался отец, известный в их городе врач-гинеколог, и Олега по зрению признали негодным к строевой службе. В школе он действительно видел плохо.

— Знаешь, кого я здесь встретил на базаре? — Олег надел очки, взгляд за стеклами прояснился. — Мать Сони Батуриной, помнишь ее? Она еще голову тебе бинтовала на уроках военного дела. По-моему, Соня была в тебя немножко влюблена. Она ведь убита, ты не знал?

— Разве она была в армии?

— Она сама пошла. Такой тогда был подъем в первые дни!

— Так я ее в августе встретил. Какие ж первые дни?

— А ты не путаешь?

Нет, он не путал. Он встретил Соню Батурину в самом конце августа: уже астры продавали. Соня сказала: «Смотри, астры! Скоро в школу. Только уже не нам. Какие синие!» Он купил ей букет. Как раз у Петровского спуска. Потом они стояли на мосту. Соня спиной оперлась о перила, распушивала астры, смотрела на них. Под мостом текла мутная от глины, быстрая вода, и две их тени на мосту, казалось, плывут, плывут навстречу. «А ведь мне еще никто никогда не дарил цветов, — сказала Соня. — Ты — первый». И посмотрела на него, держа букет у подбородка. Он поразился еще, какие синие у нее глаза. И весь подбородок и кончик носа она выпачкала желтой пылью. Он хотел достать платок, но платок был грязный, и рукой осторожно стирал пылью, а Соня смотрела на него. Сказала вдруг:

— Интересно, каким ты будешь после войны, если встретимся?

Значит, она тогда уже знала, что уходит на фронт, но не сказала ему. Потому что он, парень, был еще не в армии.

— Она сама подошла ко мне на базаре; а так бы я ее, наверное, не узнал, — рассказывал Олег. — У нее вот эта часть лица... Нет, вот эта... Подожди, я сейчас вспомню. — Он пересел на кровати другим боком к окну, подумал: — Да вот эта. Она отсюда подошла. Вся вот эта часть лица у нее перекошена и глаз открыт, как мертвый. Это парез, паралич лицевого нерва. Я потом был у нее, она мне читала Сонины письма. Очень тяжело... А помнишь, как у меня на галерее мы играли в солдатики? У тебя была японская армия, а у меня были венгерские гусары. Помнишь, какие красивые были у меня венгерские гусары?

Из-за стекол очков с широкого мужского лица смотрели на Третьякова детские глаза, в которых время остановилось. Они смотрели на него из той жизни, когда все они еще были бессмертны. Умирили взрослые, умирали старые люди, а они были бессмертны.

В коридоре, пожимая огромную ладонь Олега, Третьяков сказал: «Приходи еще», — а сам очень надеялся, что больше Олег не придет.

Старых сразу же спросил в палате:

— Кореш?

— В школе вместе учились. Вот разыскал меня.

— Большой человек. — Старых радостно ощерился. — Нужен родине в тылу.

— Что ты знаешь? У него зрение...

— Плохое!

— Он ночью вообще, если хочешь знать...

— Фронт с тылом перепутал! — под смех палаты закончил за него Старых. — Сослепу! Это не хуже того, летом в сорок втором везли нас в санлетучке. Как раз самое он на Сталинград пер... Какая же это станция, вот не вспомню... Ну, шут с ней. Тут эшелон с оборудованием на путях, тут бабы, детишки, кого взяли, кого брать не хотят, слезы, визг, писк. Набились к нам в товарные вагоны. Не положено, а не оставлять же. Тут гражданин вот такой солидный вперся с чемоданами. Его выпихивать. «Товарищи, товарищи, что вы делаете? Я нужен нам!»

— Врешь! — хохотал Китенев. — Ведь врешь!

— Я нужен нам!

ГЛАВА XIX

Для тяжелораненых самые трудные часы ночью, для выздоравливающих самое тягостное время — вечер. Вечером в палате сумеречный желтый свет электричества, хлопья теней по углам, и все, кого отделила война — и мертвые и живые, — все они в этот час с тобой.

Этой ночью снился ему отец. Смотрел на него издали, непохожий на себя, поникший, стриженный наголо, старый, каким он не видел отца ни разу в жизни. И в то же время он знал, что этот жалкий человек со шрамом через всю голову — его отец.

Он ведь даже не простился с ним. Когда это случилось, он был в пионерском лагере. В воскресенье, как обычно, ко всем приехали родители, к нему почему-то не приехал никто. Потом среди недели приехала мать. Была она как после болезни, и всякий раз, когда смотрела на него, он видел в глазах у нее близкие слезы. Она сказала, что отец в командировке, что уехал надолго. И только когда смена в лагере кончилась, он вернулся домой, увидел опечатанную дверь во вторую комнату, мать рассказала, как это было...

Никогда прежде он так не любил мать, как в эти дни, когда несчастье обрушилось на них. И он решил для себя твердо: кончит седьмой класс, пойдет работать. Отец бы тоже так поступил и так бы сказал ему. Лялька маленькая, пусть учится, а он — старший. Но потом появился Безайц. Этого он не мог матери простить: ни за отца, ни за себя.

Но если он воюет честно и на фронт пошел сам, когда их год еще не призывали, если он все прошел, как положено, так ведь это отец его воспитал. Мысленно он представлял не раз, как вернется с войны, придет и скажет, и судьба отца изменится. Он не знал толком, куда он придет, как все будет, но верил: кончится война, он придет с фронта, и разберутся, поймут, что произошла страшная ошибка, отец его ни в чем не виноват. Даже с матерью он не говорил об этом, а с Атраковским временами хотелось поговорить. Они как-то стояли у окна вблизи операционной, и он спросил, за что у Атраковского этот орден. Тот сверху глянул себе на рубашку: «Это мой пропуск в жизнь». И усмехнулся.

Атраковский ходит сейчас по палате, думает о чем-то, думает.

И Старых думает над шахматной доской. С кровати, из сумерек, Третьякову видно, как он сидит, подпиерев голову, уминает пальцами розовый шрам на лбу.

— Конем, конем походи, старшой, — громко советует повар. А сам, весь перекривляясь, подмигивает на слепого Ройзмана, что-то другое показывает на доске. Старых вскочил белый:

— А вот костью сейчас в лоб похожу! — И на всех: — А ну, раздвинься! Обступили — дыхнуть нечем.

— И чего намахивается? — пристыженно оправдывался повар. — Человеку добра желают, в воду пихают, а он, как оглашенный, на берег лезет...

Повар каждый вечер здесь, в их офицерской палате: стоит смотрит, жаждет сыграть. Он разъевшийся, выбритое лицо блестит, как безволосое, рыхлая грудь необъятна. Но это не от вольных хлебов. У него ранение, в котором стыдно признаваться. Редкий не засмеется, узнав, куда он ранен, повар уже привык к этому, не обижается. Он как раз перед самой войной женился, руки у него целы, ноги целы, но приехал домой, жена поплакала-поплакала и честно сказала, что жить с ним не сможет. И он вернулся обратно в этот госпиталь вольнонаемным, по вечерам приходит в их палату, переживает: «Пешкой походи...» Как-то сказал он: «Пока война — ничего. А кончится война, разъедетесь вы все...»

И впервые тогда Третьяков поразили мысли: человек боится, что кончится война. Пока они здесь, он как все, будто и для него ничего не кончилось. Не дай бог, чтобы так ранило, пусть лучше сразу убьет. И все равно у Третьякова к нему почему-то гадливое чувство.

— Старшой, дай одну сгоняю, — просит повар и суетится, чтобы пустили к доске.

— Обождешь!

Старых вновь расставляет шахматы, пристукивая фигурами по доске.

— Давай, капитан, в шашки.

— В шашки? — переспросил Ройзман. — Нет, в шашки трудно, они все одинаковые.

— Как он их запоминает! — поражается Старых. — Я мыслью вперед устремлюсь, эти ходы забываю...

Кто-то неуверенно открывал дверь палаты. Посторонний, должно быть, кто-то. Третьяков приподнялся на здоровом локте, в дверях — Саша.

— Саша, — говорил он, обе ее озябшие руки грея в своей одной руке. Ткнулся губами в ледяные кончики пальцев и все их один за другим перецеловал, оторваться не мог. Когда поднял голову, сердце колотилось. Сияющими глазами Саша смотрела на него.

— Саша, — говорил он пьяный. — Саша.

Не надеялся, ждать не мог, а она пришла.

— Как же ты догадалась?

— Я думала, ты заболел. Морозы, а он в одной шинели.

— Нет шинели, отобрали у меня шинель, в том-то все и дело. Сижу — выйти не могу.

— ...Схватил, думаю, воспаление легких. Я даже к маме не пошла.

— Саша!

Она сидела на подоконнике — в белом халате, коса перекинута на грудь, — а он стоял перед ней, держал ее руки, смотрел на них, как на чудо в своей руке.

— Там сторожа нового поставили... Я говорю, мне надо насчет художественной самодеятельности договориться. А я, говорит, не обязан из-за тебя места лишаться, у меня приказ.

— Так там две доски в заборе оторваны. Они только на гвозде висят. Их раздвинуть...

— Если б не они, я бы не прошла. Хорошо, Тамара Горб дежурит, дала мне халат.

Какие крошечные у нее пальцы. Озябшие. И почему-то пахнут паровозным углем.

— Так я же уголь собирала, — говорит Саша. — Это счастье, что мы рядом с железной дорогой живем, а то бы вовсе топить было нечем. Пока поезд стоит, обязательно из топки под паровозом насыплется. Иногда целое ведро наберешь.

— Под вагонами?

— А иначе гоняют, не дают собирать.

— А если тронется?

— Я однажды, знаешь, как напугалась! Ведро там оставила...

Она вдруг соскочила с подоконника: в конце коридора показалась белая шапочка врача. По лестнице они побежали от него вверх, на третий этаж. И смеялись, и весело было обоим. Но и там наткнулись на палатного врача. И всюду, куда они прибегали, натыкались на кого-нибудь. Только на холодной лестнице, под самым чердаком, никого не было. Они прибежали сюда запы-

хавшиеся. Тут стояли огромные снеговые лопаты, движки с деревянными ручками, прислоненные к стене, что-то валялось. Окно, как в нетопленном помещении, было все изнутри в мохнатом инее. Около этого голубого снежного окна он обнял Сашу и поцеловал. Целовал вздрагивающие под его губами веки, щеки, пальцы, пахнувшие углем.

Дрожа, они стояли на холоде, грелись общим теплом. Бахнула дверь вниз, затопали вверх шаги.

ГЛАВА XX

Проводили Ройзмана. И, глядя, как он палочкой ощупывает впереди себя дорогу, как неуверенной ногой ищет порог, опять Третьяков видел его прежним: бывало, входил гордо на негнущихся ногах, глянцевого от бритья щеки блестят, взгляд холоден.

На его место привела сестра под локоть тоже капитана, согнутого какой-то болезнью, желтого, желчного, всем недовольного. Призванный осенью сорок третьего года, когда с него сняли бронь, капитан Макарихин до фронта еще не добрался, все воевал с врачами по госпиталям. В палате он сразу начал устраиваться надолго. «Я вас не потесню, если займу еще вот эту полочку?» — спрашивал он Аветисяна. А тому и челюстью шевельнуть больно, он только мигал огромными своими мохнатыми ресницами. «Вот и хорошо», — сам за него соглашался Макарихин и занимал еще одну полочку.

Он обнюхал подушку со всех сторон, брезгливо держа ее на весу, перетряс тюфяк, напустив пыли на всю палату.

— Им лишь бы в строй, лишь бы в строй выпихнуть, — говорил Макарихин, кулаками разбивая комья ваты в тюфяке, — годен, не годен — в строй.

И вскоре уже ходил между койками, раздавал статьи, по которым каждого из них должны комиссовать.

— Твоя — одиннадцать бе, — указал он пальцем на Третьякова. — Ограниченно годный первой степени, что в мирное время означает инвалид третьей группы.

«Сам ты инвалид ушибленный», — подумал Третьяков, которому никто еще никогда этого обидного слова не говорил. И с этой минуты возненавидел Макарихина.

А Старых, когда капитан вышел к сестрам что-то требовать для себя, сказал, глянув вслед:

— Вполне может не успеть на войну. «Жизнь отдам за Родину, а на фронт не поеду...» Из таких.

И долго качал лысой своей головой, которая потому только сидела у него на плечах, а не сгнила в земле, что вовремя каска на ней оказалась.

За обедом Макарихин ел, дрожа челюстью, всхлипывал над горячим.

— Воруяют, — говорил он, тяжело дыша. — Половину воруяют из котла. У нас в запасном полку устроили ревизию повару — во, сколько за две недели наворовал! И смеется, мерзавец: «Я за две недели столько, а до меня по столько — за день...»

Байка была старая, всем известная, но Макарихин рассказывал ее как свою.

— Вон у вас повар какой разморделый. Для начальства надо украсть? А для себя? А для семьи?

— Слушай, Макарихин, — позвал его Китенев. Тот поднял от миски замутненные едой глаза. — У тебя как, на ногах не отразилось?

— Не понял.

— Пешком ходишь нормально?

— Если не на далекие расстояния... Вообще-то у меня, конечно, плоскостопие — раз, варикозное расширение — два...

— На близкие.

— На близкие? — Макарихин взял себя за колено, пристукнул ногой об пол. — На близкие могу.

— Тогда иди ты... — И Китенев кратко и четко послал его «на близкое расстояние». Предупредил: — И не задерживайся!

Макарихин оглядел всех, молча взял свой хлеб, взял миску и отсел отдельно к себе на кровать.

— Соскучитесь вы здесь без меня, — говорил Китенев дня через два, явившись в палату в полном боевом, в наплечных ремнях, в сапогах. Выписывался он из госпиталя не утром, как обычно, и не днем даже, а под вечер, чтобы последнюю ночку здесь, в городе, переночевать. И у Тамары Горб все в этот день валилось из рук. Она то плакать принималась, то глядела на всех мокрыми сияющими глазами: к ней уходил он прощаться.

Теперь оставалось их трое из прежней палаты: Атраковский, Старых и Третьяков. И еще Аветисян своим

стал за это время, хоть по-прежнему слышно его не было. Все трое они чувствовали себя здесь недолгими гостями, подходил их срок.

— Давай сразу на мою койку переселяйся, будешь рядом с Атраковским, — говорил Китенев, помогая Третьякову перебраться, и сунул ему под подушку сложенную шинель. — Пользуйся. Твоя.

Они сели колена к колену. Китенев достал плоскую фляжку. А когда выпили на прощание, лицо у Старых вдруг обмякло.

— Пехота, ты что? — смеялся Китенев, сам растрогавшись, и хлопал Старых по гулкой спине. Тот хмурился, отворачивался. — А еще хвалился: я раньше вас там буду.

— Все там будем.

— Просись на наш фронт, вместе будем воевать. Роту тебе не дадут, ты в голову ушибленный. Дивизией сможешь наворачивать вполне.

Они шутили напоследок, а сами знали, что расстаются навсегда: на долгую ли, на короткую, но на всю жизнь. Хотя чего в этой жизни не бывает!

В тот же вечер в шинели, оставленной ему в наследство, Третьяков был у Саши. Фая показала ему, где ключ от комнаты, похвасталась:

— Иван Данилыч посулился прийти.

Она мыла на кухне картошку, тесно напихивала ее в котелок. Лицо у Фаи припухло сильнее, по нему пятна пошли коричневые — над бровями, на верхней губе, так что белый пушок стал виден. Она заметила его взгляд, застыдилась:

— Ой, чо будет, чо будет, сама не знаю. Таки сны плохи снятся. Эту ночь, — Фая махнула на него рукой, будто от себя гнала, — крысу видала. Да кака-то больна, горбата, хвост голый вовсе. Ой, как закричу! «Чо ты? Чо ты?» — Данилыч мой напугался. У меня у самой сердце выскакиват.

— Серая была крыса?

— Будто да-а.

— Ну, все! Жди, Фая, сына и дочку. Примета верная.

Фая даже зарумяnela:

— Смеешься ли, что ли?

— Какой смех! Вот напишешь мне тогда. У нас в госпитале один человек...

И не выдержал, улыбнулся.

— А я рот раскрыла, уши развесила, — хотела было обидеться Фая, но он, веселый, похаживал по кухне, и ей с ним было не скучно.

Он шел сюда показать себя Саше. Впервые сегодня в оба рукава надел он гимнастерку. Увидел себя в оконном стекле не в опостылевшем халате, а подпоясанного, заправленного и понравился сам себе. И шел, чтобы Саша увидела его таким.

Сбив огонь, вспыхнувший на тряпке, примяв хорошенько тряпку о плиту, Фая оглянулась на дверь, шепотом сообщила:

— У Саши-то, мать у ей — немка!

— Знаю.

— Призналась? — обомлела Фая.

— А в чем ей, Фая, признаваться? В чем она виновата?

— Дак война-то с немцами.

— И Сашин отец с немцами воевал, на фронте погиб.

— А я чо говорю! Сколь домов в городе, дак похоронки ведь в каждом дому. Народ обозленный!

И взглядом пригрозила. А потом словно бы вовсе тайное зашептала ему:

— Не знать, дак и не подумашь сроду. Жёнщина хороша, роботяща-роботяща. Ой, беда, беда, чо на свете-то делается!

И тут увидела руку его в рукаве:

— Ты чо? Не на войну ли собрался?

— Тихо, Фая, враг подслушивает!

Она и правда оглянулась, прежде чем поняла. Закачала головой:

— Вот Сашу обрадуешь... О-ей, о-ей...

С тем ушла к себе, а он сидел в коридоре на корточках, курил в холодную топку, ждал.

Стукнула входная дверь, тяжелое что-то грохнуло на кухне. Саша, вся замотанная платком, обындевелея, перетаскивала от порога ведро с углем, улыбнулась ему:

— А я знала, что ты придешь. Иду и думаю: наверное, ждет уже.

И смотрела на него радостно. Он подхватил ведро у нее из рук.

— Как ты его несла, такое тяжелое?

— Бегом! Пока не отобрали.

— Опять под вагонами лазала?

— Под вагонами и собирала.

И оба рассмеялись, так ясно прозвучал у нее Фаин выговор.

— Говори, что с ним делать?

— Поставь. Я сейчас из ковшика оболью...

— А вот мы его под кран!

Он встряхнул ведро на весу, не стукнув, поставил в раковину, открыл кран. Зашипело, белый пар комом отлетел к потолку, запахло паровозом. Радостная сила распирала его. Отнеся ведро к топке, огляделся.

— Так! Сейчас мы щепок наколем...

— У нас нечем колоть,— из комнаты сказала Саша.— Я ножом нащеплю.

— Найдем.

Он отыскал на кухне под столом у Пястоловых ржавый косарь; без шапки, с поленом и косарем в руке выскочил на улицу. Смерзшийся снег у крыльца был звонок, полено далеко отскакивало, как по льду. Он гнался за ним, когда прошли в ногу братья Пястоловы. Старший был пониже ростом, коренаст и нес себя с большим достоинством. Он что-то спросил у брата и рукою в перчатке поощрительно потряс над шапкой у себя:

— Р-работникам!

Это и был военком, Третьяков разглядел у него на погонах по одной большой звезде. И, помня, что в тылу младшего по званию украшает скромность, приветствовал его, как положено:

— Здравия желаю, товарищ майор.

Василий Данилович так и засветился гордостью за брата, приотстал, всего его открывая обозрению. А тот с высоты крыльца бросил поощрительно:

— Уши отморозишь!

— Ха-ха-ха!— смехом подхватил шутку младший брат.

Пока наколол, собрал — озяб. В кухню вскочил — ни ушей, ни пальцев рук не чувствует. На примерзшем к подошвам снегу поскользнулся у порога в тепле, чуть не рассыпал все.

— Как от тебя морозом пахнет!— сказала Саша и вдруг увидела его руку:— Тебя выписывают? Ты уже здоров?

— Да нет, нет еще!

И честно сознался:

— Это я просто хотел показаться тебе.

Но еще не раз в этот вечер ловил он на себе ее взгляд, совсем не такой, как прежде. А когда растопили печь и сидели рядом, Саша спросила:

— Ты на кого похож, на отца или на маму?

— Я? Я — на отца. У нас Лялька — одно лицо с матерью. Вот жаль, фотографии в полевой сумке остались, я бы показал тебе.

— Она младше тебя?

— Она малышка. На четыре года младше.

И Саша увидала, каким добрым стало у него лицо, когда заговорил о сестренке, какая хорошая у него улыбка.

Опять огонь плясал на их лицах и пахло из печи березовым дымком. У Пястоловых все громче слышались голоса за дверью.

— Мне почему-то все время так спокойно было за тебя, — сказала Саша. — Конечно, все эти приметы — глупость. Но когда от тебя ничего не зависит, начинаешь верить. Считается, если сын похож на мать, будет счастливым. Володя Худяков одно лицо был с матерью... Может, потому и было спокойно за тебя, что впереди столько времени! А сейчас увидала твою руку...

— Вот знай, Саша, — сказал он, — со мной ничего не случится.

— Не говори так!

— Я тебе обещаю. А ты мне верь. Я если что-нибудь пообещаю...

Тут Фая появилась в коридоре, поманила Сашу на кухню. Он сидел у печи, смотрел в огонь, пошевеливал прогоравшие поленья, взяв совок, засыпал на них уголь. Затрещало, запахло паровозом, черный спекавшийся пласт задушил огонь. Постепенно из него начали пробиваться синие угарные язычки.

Саша вернулась чем-то обрадованная и смущенная.

— Пойдем к ним.

— Чего мы там не видели, Саша?

— Неудобно, зовут все-таки.

— Послушать, как товарищ майор шутят? Я чего-то не соскучился.

— Мы ненадолго. Пойдем, а то обидятся.

Он видел, она почему-то хочет пойти, что-то недоговаривает. Встал заправил гимнастерку.

— Загонит меня майор на гауптвахту, передачи будешь носить?

— Буду!

— Помни, сама отвела.

У Фая, как всегда, жарко натоплено. Пахло кислой капустой, она стояла в миске на столе. Последний раз он ел кислую капусту дома, до войны. И еще пахло жареным свиным салом. Но им только пахло.

Фая захлопотала, усаживая их за стол:

— Чайку попьете!

Братья сидели, оба красные, подбородки масляные.

— Вот она, эта рука его, погляди,— говорила Фая и брала Третьякова за скрюченные пальцы левой руки, показывала Ивану Даниловичу. Тот глянул снисходительно круглыми, будто усмевающимися глазами.

— Левая?

И тут только заметил Третьяков, что правая рука военкома, лежавшая на столе,— в черной кожаной перчатке и рукав на ней, как на палке, обвис.

— Вместе-то вам как раз двумя руками управляться,— захохотал Василий Данилович.— Твоя лева, его — права, во как ладно!

— Точно!— сказал военком.

— Он, как знал, с детства левша. Бывало, отец ложку выдернет: «Правой люди едят, правой!» И в школе ему за нее доставалось. А как на финской праву руку оторвало, вот она, лева-то, не зря и пригодилась.

И опять военком сказал:

— Точно!

Круглые его глаза сонно усмехались. По выговору был он, наверное, из-под Куйбышева откуда-нибудь; в училище у них старшина, родом из города Чапаевска, вот так же выговаривал: «Точшно».

— Да он в одной левой побольше удерживает, чем другой в двух руках!— похвалялся братом Василий Данилович, а тот молча позволял.— Надо тебе сотню врачей — на другой день сто и выставит. По сколько их каждого готовят в институтах? Лет по пять? По шесть? А он даст двадцать четыре часа на всю подготовку — и вот они готовые стоят. Надо двести инженеров, двести и выстроит перед тобой!

Иван Данилович слушал, посапывая, дышал носом, сонно усмехался. Качнул головой:

— Погляди-ко в буфете, может, и ты перед нами выстроишь чего-нибудь?

Василий Данилович заглянул за стеклянную дверцу, вытащил на свет заткнутую пробкой четвертинку водки.

— Три пятнадцать до войны стоила! Шесть — пол-литра, три пятнадцать — четвертинка. Еще коробка папирос «Казбек» была три пятнадцать.

— Да ты их курил ли тогда, казбеки-то? — спросил старший брат.

— Оттого и запомнил, что не курил. А пятнадцать лишних копеек они за посудину брали, — как особую хитрость отметил Василий Данилович. — Это во сколько же раз она поднялась? О-о, это она во сто раз подскочила! — говорил он, наливая в маленькие рюмки, которые Фая недавно, видно, убрала, а теперь одну за другой ставила, стряхивая предварительно. — Еще и побольше, чем во сто раз!

И словно теперь только узнав ей настоящую цену, он каплю, не стекшую с горлышка, убрал пальцем, а палец тот вкусно облизнул.

Неловко было Третьякову принимать рюмку. В палате у них кто бы что ни принес, считалось общее. А тут он ясно чувствовал: не свое пьет. Но и отказываться было нехорошо.

Выпили. Фая положила ему капусты.

— Капустки вот бери, закуси.

— Спасибо.

И незаметно пододвинул Саше. А она, не ожидавшая этого, покраснела. Братья захохотали.

— Здорово это у них получатся: он пьет, она закусывает!

А Фая, будто сердясь, будто швырком, еще подложила на тарелку.

— Я не хочу, Фая, правда, — говорила Саша.

— Врозь, что ль, положить?

— Нет, мы вместе.

Они и были вместе сейчас, хоть старались друг на друга не смотреть. И незаметно один другому отодвигали капусту по тарелке. А Фая, подойдя и будто еще больше осердясь, брала в свою руку нечувствительные, скрюченные, вялые пальцы его раненой руки, показывала их Ивану Даниловичу:

— Чо он ей навоюет, рукой етой? — Она, как тряпки, разминала бессильные его пальцы. — Чо он может ей?

Он отобрал руку, отшутился:

— У меня, Фая, работа умственная: не пехота, артиллерия. Тут можно вовсе без рук.

— Ты, может, думаешь чего? — горячо напустилась Фая. — По закону ведь, по закону! Иван Данилыча, если не по закону, лучше не проси!

И младший брат любимым словом старшего подтвердил:

— Точно!

Теперь Третьяков понял, зачем их позвали сюда, что Фая шептала там Саше на кухне. Чудная она, Фая. Ее если сразу не испугаешься, так разглядишь, что человек она хороший. Вот если б можно было дров для Саши попросить. Ну что ж, по крайней мере эту рюмку он мог выпить с чистой совестью.

Иван Данилович, от которого Фая и Саша ждали слова, взял живой, красной, мясистой кистью левой руки деревянный свой протез в черной перчатке, переложил поудобней. Вот и на правой была у него такая же сильная, красная кисть. Но, может быть, потому он и жив сейчас, что одна рука у него деревянная. А уж младшего брата наверняка она от фронта заслонила.

— Ну что, Василий, есть у тебя там или вся? А то пожми, пожми.

И Василий Данилович «пожал», и как раз три рюмки налилось. Крупными пальцами старший брат взял свою рюмку, сказал неопределенно и веско:

— Который человек кровь свою за Родину пролил, имеет право! И будет иметь!

И первый махнул водку в рот.

На улице Саша спросила виновато:

— Ты не обижаешься на меня?

Он улыбнулся улыбкой старшего:

— Чудные вы обе с Фаей. А я еще понять не мог, чего мы туда идем? Заговорщицы...

— Но почему всегда — самые лучшие? Вот и отец мой, и Володя бедный. В девятнадцать лет успел только погибнуть. Ты не сердись, что я все о нем говорю. Я вот уже лица его не вижу. Помню, какое оно, а не вижу.

Они подошли к госпиталю. Фонарь у ворот освещал снег вокруг себя.

— А чего мы туда идем? — спросил Третьяков.

— Но ведь тебя искать будут.

— А я сам найдусь. Саша, дальше фронта не пошлют! Идем к Тоболу. Не замерзла?

И, обрадовавшись, поражаясь только, что им раньше это в голову не пришло, они быстро пошли назад, снег только звенел под его коваными каблуками.

ГЛАВА XXI

С улицы, с мороза, духота в палате показалась застойной. Третьяков осторожно притянул за собой дверь, пошел на носках. Когда глаза начали различать, увидел, раздеваясь, что с соседней кровати, с подушки, улыбается Атраковский. И самому смешно стало, когда увидел со стороны, как он крался в темноте между кроватями.

— Капитан, — шепотом позвал он, — потяните рукав.

Атраковский сел на кровати, босые ступни плоско стали на пол. После недавнего приступа был он совсем слабый, почти не вставал. А тогда забежали врачи по этажу, зачем-то внесли ширму из простынь, отделили его от палаты. Он лежал холодный, изредка открывал тусклые глаза.

— Не напрягайтесь, держите только, держите, — говорил Третьяков. — Я сам из него вылезу.

Вылез, отдышался, поправил повязку.

— Спасибо.

— Курить хочешь?

— Помираю! Все искурил.

Слабой рукой Атраковский полазил у себя под подушкой, начал надевать халат:

— Пойдем, я тоже постою с тобой. Все равно не сплю.

— А чего не спите? Болит?

— Мысли всякие.

— Мысли! — Третьяков радостно улыбнулся. Ему все время отчего-то хотелось улыбаться. — Думать будем после войны. Вон Старых спит, как святой, ничего не думает.

Старых спал ничком, свесившаяся рука доставала до полу. И ничуть ему не мешало, что рядом с ним шепчутся в темноте. Повернулся на бок, хрустнул сеткой — он хоть и не высок, а весь как каменный, — чмокнул губами во сне и мощно захрапел. Белый гипсовый сапог высунулся из-под одеяла.

— Я вот так спал на фронте, — говорил Третьяков, пряча обмундирование под тюфяк. — Где приткнулся, там и сплю, сейчас даже удивительно. У нас комбат спал в землянке, снаряд под землянку угодил. Грунт болотистый, снаряд фугасный, ушел в глубину, выбросить землю силы взрыва не хватило, вспучило нары,

а он и не проснулся. Утром глядит, земляные нары под ним горбом. Вот я тоже так спал. А здесь и вшей нет, и как будто что-то кусает по целой ночи. Меня тут не хватились?

— Нет.

Раскатав тюфяк поверх обмундирования, Третьяков надел халат.

— Пошли?

Свыкшиеся с темнотой глаза резанул по зрачкам свет в коридоре. Отошли к операционной, к дальнему окну. Отсюда видны были огни вокзала, огни на путях. Окно это было такое же, как все, а вот около него почему-то происходили самые откровенные разговоры. И с Сашей они тут сидели.

Третьяков так долго не курил, что от первых затяжек на всю глубину легких ударило в голову и губы занемели. Он смотрел в окно и сам себе улыбался, не замечая. А на Атраковского хорошим от него веяло. При нем привезли этого мальчика, на глазах оживал. Щеки синеватые с мороза — от госпитальной жидкой кормежки во всех в них кровь не греющая, — а улыбается, весел. Но даже когда улыбается, есть во взгляде серьезность, глаза повидавшие. Он и жалел его и завидовал.

В сорок первом году, когда сам он, раненный, попал в плен и гнали их под конвоем, увидел он с холма всю колонну. Прошел дождь, солнце светило предвечернее, свет его был такой щемящий, словно не день, а жизнь догорает. И по всей дороге под автоматами брели пленные, растянувшийся, колышущийся строй. А там, куда их гнали, посреди голого болота, сидели люди, сотни, может быть, тысячи людей, земли под ними не было видно: головы, головы, головы, как икра. Вот такие мальчики, стриженные наголо, сколько из них могло бы сейчас жить. Впервые тогда он понял, увидав, как мало в этой войне значит одна человеческая жизнь, сама по себе бесценная, когда счет идет на тысячи, на сотни тысяч, на миллионы. Но вот эти так мало значащие жизни, эти люди, способные в бою сражаться до последнего, а там доведенные до того, что скопом, отпихивая друг друга, кидались на гнилые очистки, и охрана, сытые молодые солдаты забавы ради, потому что это позволено, можно, лениво стреляли в них из-за проволоки, — вот эти люди, а не какие-то особые, другие и есть та единственная сила, способная все одолеть. С какой беззаветностью, с какой готовностью к самопожертвованию

подымается эта сила всякий раз в роковые мгновения, когда гибель грозит всему.

Там, в плену, был с ним летчик, вот такой же мальчик, постарше немного. Его подбили над самой целью, над переправой, куда он один долетел. И он, не дрогнув, направил свой самолет в железнодорожный мост, на верную смерть. И жив остался, отброшенный взрывом. Он умер от заражения, а до последнего момента все мечтал бежать из плена. И тоже, если б бежал, доказывал бы, что никого не предал, не изменил, как не раз приходилось это доказывать Атраковскому, и тоже осталось бы на нем незримое, несмываемое пятно.

В плену ничто Атраковскому не было обидно: враг есть враг, от него он не ждал для себя ничего хорошего, и сердце у него там было как каменное. Но когда не верят свои, вот этого нет тяжелей и обидней.

Приглушенное двойными окнами, раздалось гудение идущего поезда. Минуя станцию, мчался товарный состав; два паровоза, вместе гудя, мощно тянули его. Он все шел и шел, все возникали на свету, возникали и исчезали вагоны, платформы; мчался тяжелый воинский эшелон туда, к фронту, и здесь, на отдалении, вызванивали стекла. А когда словно оборвался состав и пусто стало на путях, они с одинаковым выражением глаз посмотрели друг на друга. И впервые увидел Третьяков, что Атраковский не стар, просто худ очень, один костяк остался.

Однажды, когда меняли белье в палате и Атраковский, сидя на койке, стянул с себя через голову бязевую рубашку, обнажив могучий, выгнутый дугою, весь из острых позвонков хребет, Третьяков случайно увидел эту его руку, которой он сейчас оперся о подоконник. Перемятая, со страшными ямами, затянутая глянцеви-той сморщенной кожей, словно мясо из нее вырвано клоками,— и вот с такой рукой воевал человек, орден боевого Красного Знамени заслужил, «пропуск в жизнь», как он однажды назвал его.

— А ведь еще будем вспоминать это время,— сказал Атраковский, и глаза его блестели особенно.— Кто жив останется, будет вспоминать. Тянет уже туда?

— Тянет!— Третьяков поражался, что капитан говорит то самое, что и он чувствовал.— Там, когда уж совсем прижмет, думаешь другой раз: хоть бы ранило, хоть бы перебило что-нибудь! А тут...

Атраковский смотрел на него, как отец на сына:

— Там головы не подынешь, а душа разгибается в полный рост.

— Вот потому я люблю взвод управления, — перебил Третьяков, ему тоже хотелось сказать. — Оторвался от батареи, и никого нет над тобой. Чем к передовой ближе, тем свободней.

— Через великую катастрофу — великое освобождение духа, — говорил Атраковский. — Никогда еще от каждого из нас не зависело столько. Потому и победим. И это не забудется. Гаснет звезда, но остается поле притяжения. Вот и люди так.

Они еще долго стояли у окна, курили, взволнованные, и когда молчали, тоже разговаривали. Глядя в добрые глаза этого мальчика, в глубине суровые, Атраковский всю его судьбу в них прочел.

ГЛАВА XXII

Олег Селиванов, как был, в шинели, заглянул в палату, выманил Третьякова в коридор:

— Пошли!

— Привез?

— Сейчас сваливают.

Нажженное ветром лицо Олега было красно, в порах толстой кожи золотилась щетина на подбородке.

— Пошли быстрее. Я начальнику госпиталя сказал, тебя отпустят.

Шаг в шаг, звеня каблуками сапог по смерзшемуся снегу, они шли по улице. Мороз был в тени; снег, доски заборов, лавочки у калиток — все, как золой, серым инеем покрыто с ночи. А на солнце снег, притертый до блеска полозьями саней, слепил. И пахло в зимний день весной.

Впервые Третьяков открыто шел днем по городу: Олег Селиванов, блистающий очками, перетянутый португеей, был ему и конвой и защита.

— Как же тебе удалось, Олег?

Тот улыбнулся:

— Думаешь, если я здесь, так все знаю и умею? А я ничего не умею. И не знаю. Хорошо, человек такой подвернулся, как будто знал, сам предложил.

— Спасибо, Олег.

— Мне теперь самому приятно, если хочешь знать.

Они шли быстро, говорили на ходу, пар коротко вырывался изо ртов. Вот, никогда не зарекайся вперед. Провожая Олега в тот раз, Третьяков искренне надеялся, что больше тот не придет. Не знал, что еще самому придется разыскивать Олега, что обрадуется, когда начхоз приведет его.

«Олег,— сказал он, потому что больше некого было просить,— мне нужна машина дров». У того глаза стали круглей очков: «Володя, но где же я возьму? Да еще машину целую». — «Не знаю». И оба знали: должен. Из всего их класса, из всех ребят, один Олег оставался в тылу.

Для себя Третьяков не просил бы, но Сашу не мог он оставить собирать уголь под вагонами. И не сомневался: захочет Олег — сможет. Люди, которые на третьем году войны шли через военно-врачебную комиссию, жизнь свою ценили дороже машины дров, а Олег — секретарь ВВК. «У него печать», — сказал начхоз. Для Третьякова печать ничего не значила, но по священному трепету, с которым это было сказано, понял: судьбы людские у него в руках. И еще больше уверился: сможет. И вот смог. И пришел гордый. А что ж, сделать доброе дело для другого человека — это тоже стоит испытать.

Когда задохнувшиеся от быстрой ходьбы, они подошли к дому, машины там уже не было. Гора скинутых двухметровых кряжей перед сараем на снегу, и Саша ворочает их. Она разогнулась с березовым комлем в обнимку, радостная смотрела на них:

— Я думала, Фае привезли. Я Фаю зову, а они прочли по бумажке, говорят — мне.

— Ты б еще отказалась!

— Они уехали? — спрашивал Олег.

— Они почему-то очень торопились. Скинули быстро, даже денег не взяли. «Что нам деньги? Ты бы нам спирту...» А откуда же у нас спирт? — Саша шла к ним, варежка о варежку отрясая опилки. — Володя, я ничего не понимаю.

— Вот, знакомься: Олег Селиванов. — Он под спину рукой выдвинул вперед Олега. — Человек великий и всемогущий. И учился со мной в одном классе. Это все — он.

Саша мягко подала теплую из варежки руку, взглянула серыми в черных ресницах глазами, и Олег, поздравившись, смутился, стал протирать очки.

— Главное, почти одни березовые! — восхищалась Саша. — Ты смотри, березовых сколько!

— А мы смотреть не будем. — Третьяков снял с себя ремень, повесил его через плечо. Он видел, что дрова произвели на Сашу куда большее впечатление, чем Олег. — Мы их сейчас распилим, расколем, сложим в сарай и скажем: так и было!

У Пястоловых в сарае нашлись козлы. Накинув на себя пуховый платок, Фая вынесла двуручную пилу. Еще раз вышла, вынесла в голой руке колун. Когда вот так по-хозяйски, это было ей по душе, она радовалась помочь, рада была за соседей.

Приотптали снег вокруг козел, взвалили для начала ствол потолка.

— Ну, Саша!

Когда отпал на снег первый отпиленный кругляк, Олег Селиванов вызвался колоть. Как был в шинели, в ремне, портупее, взмахнул над собой колуном и уронил очки с носа. И теперь сидел на чурбаке, удрученный своей неловкостью, трогал пальцами, смотрел на свет слепое от трещин стеклышко. А они пилили вдвоем.

Белые опилки брызгали из-под пилы: Саше на валежок, ему — на полу шинели, на выставленный сапог. Желтым слоем лежали они под ногами, на истоптанном снегу, свежо и сильно пахло на морозе распиленным деревом.

Саша раскраснелась, распустила платок, волосы у пылающих щек закурчавились. Он спрашивал:

— Устала?

Саша трясла головой:

— Нет!

Легко шла острая пила, двумя руками в варежках Саша тянула ее на себя, потом и варежки скинула: жарко сделалось. Позади нее, как не оторвавшиеся от земли дымы, стояли в небе березы, все в инее, окованные тишиной.

К полудню потеплело, нашла туча, густо повалил снег и зарябило все, закружилось, сильнее запахло распиленной березой, словно это от свежего снега так пахло. Саша стряхивала его с себя варежками, а он все валил.

От станции, то убыстряясь, как за последним вагоном, то опять ровно, вновь и вновь ударяя на том же стыке, слышен был мчащийся перестук колес, он отда-

вался от земли. Нанесло паровозный дым. И показалось, это не снег летит, а они сквозь него мчатся, мчатся... Скоро и ему загудит паровоз, застучат под полом колеса. Он посмотрел на Сашу, вот такой будет помнить ее.

Чье-то лицо, белое в черном окне кухни, несколько раз уже возникало за стеклом. Саша перехватила его взгляд.

— Это мама!— крикнула она сквозь шарканье пилы.— Я маму вчера взяла. Такая странная стала, все спрашивает. Ходит по дому, как будто ничего не узнает.— Саша перевела дыхание.— Она там, оказывается, воспалением легких болела. Мне не сказал никто.

В окне махали белой рукой. Саша убежала в дом, а Олег, замерзнув, сменил ее. Потом они сели покурить на бревнах. Снег, поваливший из тучи, так же быстро перестал. Опять светило солнце. Третьяков смерил глазом, хватит ли у них сил распилить все, и положил Олегу на колено горячую от работы руку, ладонь ее как будто припухла:

— Спасибо, Олег.

Тот обрадовался:

— Ну что ты! Я же вижу. Я просто не знал как. Жаль, ты раньше не сказал.

Саша вынесла им напиток и вновь ушла в кухню. Выбежала оттуда, размахивая длинными рукавами телогрейки, полы доставали ей чуть не до колен.

— Это Фая меня нарядила!— смеялась она, отворачивая стеганые рукава. Она и в телогрейке была хороша, Третьяков видел, как грустно залюбовался ею Олег.

Саша взялась относить в сарай, а они пилили вдвоем. Солнце обошло круг над вершинами берез, оно теперь светило в окно кухни, оттуда несколько раз уже звали, но он понимал, что второй раз им не взяться, с непривычки сил не хватит. И только когда допилили все, унесли козлы в сарай, когда Саша смела со снега щепки, кору, древесный мусор, они подхватили пилу и топор, все вместе пошли к дому.

Шапкой сбивая с себя опилки и снег, Третьяков оглянулся с крыльца: он берег для себя этот момент. Пусто перед сараем. Смогли, одолели за один раз. Постукивая негромко сапогами, они друг за другом вступили в кухню, топор и пилу поставили у дверей.

— Это не работники, а угодники!— басом встретила их Фая и качалась, сложа руки на животе, полкухни заслоняя собой. А у плиты увидел он худую старушку

в Сашином платке на спине. Саша обняла ее, прижалась к ней, украшая собою:

— Это моя мама!

И ревниво схватила: что у него на лице? Потом сказала матери:

— Мама, это Володя.

— Володя,— повторила мать, стыдливо прикрыв рот, в котором не хватало переднего зуба. Рука была белая, бескровная, даже на вид холодная, с белыми ногтями.

— Маму там зачем-то остригли,— говорила Саша, прихорашивая, поправляя ей волосы над ушами.— У мамы косы были длинней моих, а она дала остричь себя коротко. Ни за что бы я не согласилась, если б знала.

Два рослых человека стояли у порога: один совсем солидный, в очках, в погонах, в ремнях; другой — в солдатской расстегнутой шинели, и дочь сказала: «Мама, это Володя».

— Раздевайтесь,— говорила мать.— У меня как раз все горячее. Раздевайтесь, садитесь к столу. Саша, покажи, где раздеться.

Когда снимали и вешали в комнате шинели, Саша мимолетно заглянула ему в глаза, он улыбнулся, кивнул. И, радуясь, что ее мама понравилась, утверждая его в этом, Саша сказала быстро:

— Она совсем не такая была, это она оттуда потерянная какая-то вернулась, я даже ее не узнаю.

В кухне, где всю войну не белилось и черным стал закопченный керосинками потолок, а стены и подоконник потемнели, весь свет садившегося в снега солнца был сейчас на столе, на старенькой, заштопанной, розовой от заката скатерти. И глубокие тарелки блестели розовым гляncем.

Фая отказалась садиться за стол, ушла к себе. Одну за другой брала мать тарелки к плите и, полные горячих щей, ставила перед каждым. Щи эти, совсем без мяса, без масла, из одних мороженных капустных листьев и картошки, были так вкусны и пахучи, как никогда они сытому человеку вкусны не будут. И все время, пока говорили и ели, Третьяков чувствовал на себе взгляд матери. Она смотрела на него, подливала в тарелки и все смотрела, смотрела. А Олег сидел расстроенный и грустный, солнце блестело в слепом стеклышке его очков. И оттого, что был расстроен, по рассеянности

один ел хлеб, не замечая, что другие не берут хлеба: брал с тарелки, крошил на скатерти и рассеянно ел.

В окно видны были верхушки берез. Только самые верхние, красноватые веточки огнисто светились, а стволы в прозрачном малиновом свете стояли сиреневые. Проходил состав, толчками подвигался дым за крышами сараев, и свет над столом дрожал.

Солнце садилось, день гас, стены темнели, и лица уже плохо различались против света. Но он все время чувствовал на себе взгляд матери.

Совсем темно было, когда, проводив Олега, они с Сашей шли к госпиталю. Она спрашивала:

— Тебе правда понравилась моя мама?

— Ты на нее похожа, — сказал он.

— Ты даже не представляешь, какие мы похожие!

Она с косами молодая была, нас все за сестер принимали, верить не хотели. Это она из больницы такая вернулась, старенькая, прямо старушка, я не могу на нее смотреть.

У ограды они постояли. Ветер завывал снег у его сапог, хлестал полами шинели. Спиной загораживая Сашу от ветра, грел он руки ее в своих руках, мысленно прощался с нею.

«Мама, — писал он в тот вечер, согнувшись над подоконником, откуда обычно смотрел на вокзал, на уходящие поезда, — прости меня за все. Теперь я знаю, как я тебе портил жизнь. Но я этого не понимал тогда, я теперь понял».

Мать однажды в отчаянную минуту сказала ему: «Ты не понимаешь, что значит в наши дни взять к себе жену арестованного. Да еще с двумя детьми. Ты не понимаешь, каким для этого надо быть человеком!..»

«Меня не надо брать! — сказал он тогда матери. — Мне не нужно, чтобы меня кто-то брал!» И ушел из школы в техникум, чтобы получать стипендию. Он хотел и в общежитие перейти, но туда брали только иногородних. Теперь он понимал, как был жесток в своей правоте, что-то совсем иное открывалось его пониманию. И он подумал впервые, что, если отец жив и вернется, он тоже поймет и простит. И неожиданно в конце письма вырвалось: «Береги Ляльку!»

ГЛАВА XXIII

В облаке пара, накрывшего перрон, бабы метались вдоль состава, дикими голосами скликали детишек, лезли на подножки, проводники били их по рукам:

— Куда? Мест нет!

— Володя, Володя! В этот вагон! — кричала Саша. Ей тоже передалась вокзальная паника.

Проводница грудью наперла на него:

— Полно, не видишь?

Сверху перевешивались из тамбура, кричали:

— Лейтенант, сколько стоим?

Он стряхнул с погона лямку вещмешка, над головой проводницы кинул вещмешок в тамбур, видел, как там поймали его на лету. Мимо бежал народ, толкали их.

— Я напишу, Сашенька. Как получу номер полевой почты, сразу напишу.

И впрыгнул на подножку уже тронувшегося поезда, отодвинул проводницу плечом.

Саша шла рядом с подножкой, махала ему. Все прыгало у нее перед глазами, в какой-то момент она потеряла его.

— Саша!

Она глядела мимо, не находя. Он вдруг соскочил на перрон, обнял ее, поцеловал крепко. Выскакивающие из вокзала офицеры в меховых жилетках оглядывались на них на бегу, прыгали в вагоны. И они с Сашей бежали, она отталкивала его от себя:

— Володя, скорей!.. Опоздаешь!

Поезд уже разогнался. Мелькали мимо оставшиеся на перроне люди, все еще устремленные к вагонам. Внизу бежала Саша, отставая, что-то кричала. Поезд начал выгибаться дугой, Саша отбежала в сторону, успела махнуть последний раз и — не стало ее, исчезла. Вкус ее слез остался на губах.

Проводница, не глядя, надавила на всех спиной, отеснив внутрь, захлопнула железную дверь с закопченным стеклом. Стало глухо. Кто-то передал вещмешок.

— Из госпиталя, лейтенант?

Третьяков внимательно посмотрел на говорившего:

— Из госпиталя.

— Долго лежал?

Он опять глянул, смущая пристальным взглядом. Слово он слышал, а смысл доходил поздней: Саша была перед глазами.

— Долго. С самой осени.

И достал из кармана кисет:

— Газетка есть у кого?

Ему дали оторвать полоску. Третьяков насыпал себе табаку и пустил кисет по рукам: вступив в вагон, он угощал. Кисет был трофейный, немецкий, резиновый: отпустишь горловину, и она сама втягивалась, скручивалась винтом. Табак в этом кисете не пересыхал, не выдыхался, всегда чуть влажноватый, хорошо тянулся в сигарке. Старых подарил на прощание. Когда Третьяков оглянулся от ворот госпиталя, они двое стояли в окне палаты: Старых и Атраковский.

Обойдя круг — каждый одобрительно разглядывал, — кисет вернулся к нему. Задымили все враз, будто на вкус пробовали табак. Стучали колеса под полом, потряхивало всех вместе. А Саша идет сейчас домой, он видел, как она идет одна.

Опять появилась проводница, всех потеснив, погромыхала кочергой. Была она плотная, крепкая, глядела хмуро. Когда нагибалась, солдаты перемигивались за ее спиной.

Докурили. Третьяков накиннул лямку вещмешка на погон, кивнул всем и толкнул внутрь дверь вагона. Здесь воздух был густ. Он шел по проходу, качаясь вместе с качающимся полом. На нижних, на верхних, на багажных полках — везде лежали, сидели тесно, все было занято еще с начала войны. И на затоптанном полу из-под нижних полок торчали сапоги, он переступал через них. Все же над окном, где под самым потолком проходила по вагону труба отопления, увидел место на узкой, для багажа полке. Закинул туда вещмешок, влез, повалился боком. Только на боку тут и можно было поместиться. Придерживаясь то одной, то другой рукой за потолок, он снял шинель, расстелил ее под собой, мешок подложил под голову. Ну, все. А ночью пристегнуться ремнем к трубе отопления — и не свалишься, можно спать.

Он лежал, думал. Весь табачный дым поднимался к нему снизу. Мелькал, мелькал в дыму солнечный свет, вспыхивал и гас мгновенно: это за окном, внизу мелькало что-то, заслоняя солнце; поезд шел быстро.

В духоте под это мелькание и потряхивание он задремал.

Прснулся — светло над ним на потолке. Свет уже закатный, золотит каждую дощечку. Он расстегнул

мокрый воротник гимнастерки, вытер потную со сна шею. И вдруг почувствовал ясно, как оборвалось в нем: теперь он уже далеко. И ничего не изменишь.

Он осторожно спустился вниз, пошел по вагону, рукой придерживаясь за полки; они блестели снизу вечерним светом. Под ними курили, разговаривали, ели, мгновенные выражения лиц возникали, пока он шел.

В тамбуре был громче железный грохот. Не отставая от поезда, катилось по краю снежной равнины красное солнце. Через законченное стекло тамбур насквозь был пронизан его дрожащим светом. Под этой световой завесой — на железном полу, среди узлов, которыми завалили заиндевелую дверь, — женщина поила двоих детей, от губ к губам совала жестяную кружку. Она глянула на него испуганно — не прогонит ли? — заметила, что он, достав уже кисет, не решается закурить, обрадовалась:

— Курите! Они привыкли.

Дети казались одного возраста, мокрые губенки одинаково блестели у обоих.

— Они привыкли, — слабым для жалостливости голосом обратил на себя внимания старик. Только услыша голос, Третьяков увидал его: бороду и шапку среди узлов. Он понял, дал закурить.

— Чего на него табак тратить! — говорила женщина, похорошев от улыбки. — Зря только переводит.

Нигде, ни на одной остановке не брали гражданских в этот поезд. И после каждой станции они оказывались в вагонах, в тамбурах, на площадках: им надо было ехать, и они как-то ухитрялись, ехали. И эта женщина ехала с детьми, с вещами, со стариком, который всем был обузой. Он, видно, и сам сознавал это. Закурив, он закашлялся до синевы, до слез, весь дрожащий. И после каждой затяжки все посматривал на сигарку в кулаке: сколько осталось.

А у другой двери тамбура лицами друг к другу стояли капитан-летчик и молодая женщина. Капитан рассказывал про воздушный бой, рука вычерчивала выражи в воздухе, женщина следовала за ней глазами, на лице — восторг и ужас. Капитан был статный, затылок коротко подстрижен, шея туго обтянута стоячим воротником, а по белой кромке его подворотничка, как по белой нитке, срываясь и цепляясь за нее, ползла крупная вошь. И Третьяков не знал, как сказать капитану, чтоб женщина не заметила.

Со свернутым флажком в руке вошла проводница; потянуло запахом уборной из вагона. Приближалась какая-то станция.

— Их бы в вагон взять,— тихо сказал Третьяков, указав глазами на детей, на обметанную инеем дверь. Мать услышала, замахала на него рукой:

— Что вы, нам тут хорошо! Чего лучше!

Проводница разглаживала ладонью свернутый, черный от копоти флажок, сгоняла складки к одному краю. Мелькнуло снаружи здание, мгновенно кинув тень, и опять красный свет солнца пронизал тамбур. Четко были видны у закопченного стекла двое: молодая женщина держалась обеими руками за железные прутья, подняв лицо, восхищенно смотрела на капитана.

— Себя-то не жаль?— спросила проводница и глянула на Третьякова, сощурилась.— А мне вас вот таких жалко. Всю войну вожу, вожу и все в ту сторону.

ГЛАВА XXIV

Костер шипел, просыхала вокруг него оттаявшая земля, пар и дым сырых сучьев разъедали глаза. Закопченные, суток двое не спавшие батарейцы сидели, нахохлясь, спинами на ветер, размазывали грязные слезы по щекам, скрюченными от холода пальцами тянулись к огню. И, сидя в дыму, дымили махоркой, грели душу. Мокрый снег косо летел в костер, на спины, на шапки.

Набив полное ведро снега, Кытин понес его к костру. Там больше дымило, чем горело.

— Фомичев!— крикнул он.— Плесни еще разок.

Подошел тракторист, шлепая по талому снегу растоптанными, черными от машинного масла валенками. Все на нем было такое же, в масле и копоти. Из помятого жестяного ведра плеснул в костер холодной солярки. Пыхнуло, жаром дало в лица. Кто спал, очнулся, обалделыми глазами глядел в огонь; снег, не долетая до огня, исчезал в воздухе.

Заслонясь рукавицей, Кытин боком, боком подступал к костру. С остатками солярки в ведре ждал Фомичев, весь черный стоял в косо летящем снегу, словно плечом вперед плыл ему навстречу. Глянув на его разбухшие от снеговой воды валенки, Третьяков подумал: переобуться надо. Он сидел на снаряжном ящике, ка-

шель сотрясал его; лоб, грудь, мышцы живота — все болело от кашля, слезящимся глазам больно было глядеть в огонь. Сколько раз на фронте — мокрый, заледенелый весь, и никакая простуда не берет. А попал в госпиталь, повалялся на чистых простынках в человеческих условиях, и вот на первом же переходе простыл.

Он с трудом стянул сырой сапог, размотал портянку. Босую ногу охватило ветром, озноб прошел по позвоночнику, во всем теле почувствовался жар. Укрыться бы сейчас шинелью с головой, дышать на озябшие пальцы, закрыть глаза...

Подошел к костру комбат в длинной шинели. Новый был в батарее командир, переведенный из другой части, — капитан Городилин. Говорили, что занимал он там должность помначштаба полка, и поначалу казалось, не может он этой должности забыть, низко ему в батарее, оттого и держит всех на дистанции — и командиров взводов и бойцов, — с одним только старшиной советуется, и старшина уже перестал замечать командиров взводов. Но вскоре и через расстояние разглядели: комбат просто не уверен в себе. И как он ни хмурился грозно, ни покрикивал, приказания его, даже дельные, выполняли неохотно. Это уж всегда так, неуверенность в приказе рождает еще большую неуверенность в исполнении. И все вспоминали Повысенко: вот был комбат! Он и не приказывал, скажет только, а выполняли бегом.

Но Повысенко не было в полку, под самый Новый год его ранило. И во взводе у Третьякова несколько человек было новых. Присылали и на его место младшего лейтенанта, но недолго держатся командиры взводов управления, убило его раньше, чем фамилию успели запомнить. Кто Шияхметовым называл, кто Камамбетовым: «В общем, так как-то...» Все тот же Чабаров передал ему взвод, а приняли его в этот раз так, словно полвойны вместе провоевали, пошло сразу по взводу: «Наш лейтенант вернулся...» Даже тронуло, как встретили, почувствовал: вернулся домой.

Так же всеми своими белыми зубами на смуглом лице улыбался Насруллаев. Так же добровольно исполнял Кытин должность кухарки. Только Обухова, самого молодого во взводе, было не узнать. И он за это время побывал в медсанбате, но уложили его туда не пуля, не осколок: на одном из хуторов заразился Обухов болезнью, которую оставили немцы. Будь сорок второй год,

угодил бы он за этот свой подвиг... Искупать кровью, брать какую-нибудь высотку, которую и дивизия взять не смогла. Но, на его счастье, времена помягче. «Обухов у нас награжденный, — говорили про него во взводе, — его и к медали представлять не надо». А он отчего-то возмужал, даже бас у него прорезался.

Подойдя к костру, комбат вынул дымящийся сучок, прикуривал от него, длинный в длинной шинели, с планшеткой на боку, а все уже чувствовали, что он сейчас скажет. Наступление шло не первый день, тылы отстали: продукты, горючее, снаряды — все осталось позади. По всем дорогам в мокром снегу и грязи буксовали завязшие машины, их вытаскивали, надрывая силы, и они еще глубже садились в грязь. В их артиллерийском дивизионе из трех батарей отстали две. Сначала шестая батарея обломалась. У нее забрали трактор, слили горючее, забрали снаряды и двумя батареями двинулись вперед. Потом и четвертая осталась позади — без горючего и снарядов. Пришлось бы их, пятой, тоже бросать одно орудие, если бы в прежней МТС не обнаружили ржавый трактор ЧТЗ-60, такой же точно, как у них. Все годы простоял он при немцах среди железного лома. Трактористы из двух собрали один целый, и он, словно тут и был, потянул за собой пушку. Два орудия, два трактора, семнадцать снарядов — вот весь их дивизион, поспевавший за фронтом.

По дороге, в косо летящем снегу тянулись пехотинцы, все свое снаряжение и мины для минометчиков неся на себе. Их средство транспорта — жилистые, натруженные ноги в ботинках с обмотками, привыкшие месить грязь, — было самым надежным по этой погоде: человек не трактор, он и без горючего может идти. Пехотинцы тянулись на расстоянии друг от друга, оглядывались на огонь. Ветер толкал их в спины; там, куда они шли, ничего не было видно, даль как туманом заволкло. Низко над головами пыталась осилить ветер взлетевшая ворона, дергалась, дергалась толчками, будто вспрыгивала на ветер. Ее косообоко отнесло в сторону.

Комбат прикурив, кинул дымящийся сучок в огонь под ведро. В черной воде, тяжелой на вид, крутился в ведре последний не растаявший комок снега.

— Обедать собрались? — Сощурился, послушал, как погромыхивает где-то слева: — Не придется обедать. Приказано занять огневые позиции. Командиры взводов — ко мне!

Кытин все еще смотрел в ведро. Потом с сердцем выплеснул воду в огонь. Пар взвился от зашипевших черных углей. И как ошпарило комбата, покраснел, подстриженные белые усики стали резко видны.

— Р-разговорчики мне!

Но никто не разговаривал. Вымотавшиеся до последней степени, когда уже и себя не жаль, — суток двое без сна и почти без еды — они были сейчас злы на комбата, что не дал сварить обед, злы друг на друга, как надо бы злиться на войну.

Третьяков натягивал сырой сапог, когда мимо проспешил командир огневого взвода Лаврентьев, самый старый из командиров по годам, тоже присланный в батарею недавно. Огромного роста, затянутый по животу ремнем, он спешил к комбату с испуганным лицом, оскользался ногами по мокрому снегу, отчего казалось, приседает на бегу. Полы его шинели, как у пехотинца, были пристегнуты спереди к ремню. «Как баба», — подумал Третьяков и встал. Он подошел к Городилину, сказал тихо, чтобы не слышали бойцы:

— Комбат, надо дать людям сварить обед.

И закашлялся.

— Вы что, больны? — спросил Городилин, брезгливо поморщась. Проверенный способ заставить подчиненного замолчать: ткнуть пальцем в его недостатки.

— Я не болен, я здоров. Люди уж сколько времени без горячего.

Он стоял, подчеркнуто готовый выполнять приказания, но говорил твердо. И видел, что не отменит Городилин приказания. Чем неуверенней в себе командир, тем непреклонней, это уж всегда так. И советов слушать не станет, и приказа своего не отменит ни за что, боится авторитет потерять.

— Карту достаньте, — сказал Городилин, как бы устав напоминать. Все было ясно. Третьяков достал карту. И тут комбат не удержался:

— Я, между прочим, тоже без горячего все это время, как вы могли бы заметить. И ничего.

А если ты командир, так ты хоть вовсе не ешь, а бойцов накорми. Но снизу вверх учить не положено, смолчал Третьяков.

Тем временем Городилин ставил задачу:

— Вот — мы. Вот — противник. Предположительно! Поидете в пехоту, узнаете, какая стрелковая часть впереди, связь установите. Задача ясна?

— Задача ясна.

— Выполняйте. Четверых разведчиков возьмете с собой.

Третьяков козырнул. По дороге к взводам Лаврентьев догнал его, пошел рядом. Он все же чувствовал себя неловко.

— Конечно, можно было обед сварить, чего там, — пристыженно за комбата сказал он. Третьяков ничего не ответил, подумал про себя: «То-то ты и молчал». Но не ему переучивать Лаврентьева. Этот всю войну провоевал в противотанковой артиллерии, в гиблых сорокапятках, попал после ранения к ним в тяжелый артполк и не нарадуется, чувствует себя здесь как в глубоком тылу. Он не станет возражать комбату.

Перебрали лощину. Сюда намело снег ветрами, подтаявший, он то пружинил упруго под ногой, то вдруг обваливался, и вылезали из него, черпая голенищами. Поле подымалось впереди, там хмурой стеной стояло небо, как будто все в копоти, перед ним свежевывающий снег на гребне светло белел. Где-то слева глухо, отдаленно слышалась стрельба. Авиация не летала: при такой видимости отсиживаются летчики на аэродромах, играют в домино со скуки. У них, наверное, и аэродромы развезло: ни взлететь, ни сесть.

На гребне, в реденьких кустах легли оглядеться. Закурили. Сколько ни вглядывался Третьяков воспаленными от простуды глазами, нигде поблизости пехоты не было видно: ни окопов, ни землянок, никаких следов. Снежное поле, теряющаяся в испарениях сырая даль.

Пока лезли по снегу, потные, кашель перестал. Теперь он опять драл горло.

— Снегу поешьте, — посоветовал Обухов.

— Скажешь тоже!

Третьяков глотал теплый дым, задерживал его в горле. Слышно было, как с веток с шуршанием обваливается подтаявший снег, лицо ощущало рассеянный свет и тепло невидимого солнца, бродившего высоко где-то.

— Гляди! — показал он Обухову.

Над кустом, над мокрыми, тускло блестящими голыми ветками толкалась в воздухе мошкара.

— Ожили, тепло чувят, — сказал Обухов. — Снег вон уже весной пахнет.

— Я сейчас запахов никаких не чувствую, заложило все.

Они говорили приглушенными голосами, все время прислушиваясь. Обухов раскопал под снегом у корня прошлогоднюю, замерзшую зеленой траву, пучком, как лук, сунул в рот, жевал зажмуриваясь: зелени захотелось. А Третьяков всем своим воспаленным горлом почувствовал ледяной холод. Колени его, оттого что он становился ими на снег, были мокры, его знобило все сильней, потягивало тело и ноги.

— На немцев не напхнемся, товарищ лейтенант?— спросил Обухов строго.— Похоже, пехоты нет впереди.

— Похоже.— Третьяков встал первым.

Они отошли шагов тридцать, и затемнело что-то. Скинув ремень с плеча, Третьяков взял автомат на руку, махнул Обухову идти отдельно. Он правильно сделал, что не четверых разведчиков взял с собой, а одного. Позади небо было светлей поля, в темных своих шинелях они четко виднелись на снегу; подпускают немцы близко и положат всех четверых.

Из колышущейся, рedeющей пелены проступал прошлогодний темный стог сена, подтаявшая снеговая шапка на нем. Если тут у немцев под стогом пулемет... Но никаких следов не было вокруг. Подошли.

— У нас тут случай без вас был в дивизионе, товарищ лейтенант.— И Обухов охотно присаживался спиной под стог.

— Хватит спину греть, пошли!

— Как раз только увезли вас...

— После войны расскажешь!

И опять они шли по полю, смутно различая друг друга. Их обстреляли, когда из сырой мглы уже проступили голые, мокрые тополя хутора. Оттуда засверкало, понеслись к ним трассы пуль: немцы и днем били трассирующими. Они уже лежали на снегу, а пулемет все не успокаивался, стучал над ними. Расползлись подальше друг от друга. Третьяков для верности, чтобы вызвать огонь еще раз, дал несколько очередей. И засверкало с двух сторон. Потом ударил миномет. Переждали. Вскочив, наперегонки бежали к стогу. Вслед пулеметчик слал яркие в тумане, сверкающие веера.

— Я говорил, пехоты нет впереди!— повеселев от близкой опасности, хвастался Обухов.

Третьяков набивал патронами плоский магазин немецкого автомата:

— Дураки немцы, могли нас подпустить.

У него в груди отлегло и вся простуда куда-то девалась.

— Вот погодите, жиманут немцы оттуда, — пообещал Обухов, будто радуясь.

— Если есть чем.

— У него есть!

Обратно шли веселей. И путь показался короче.

На огневых позициях ковырялись в грязи, рыли орудийные окопы. Комбат Городилин выслушал недоверчиво, снова и снова переспрашивал: «А наша, наша пехота где?» И опять заставлял рассказывать, как они шли, откуда их обстреляли: все никак не мог принять, что их батарея, тяжелые их пушки, стоят здесь без всякого прикрытия, почти без снарядов, а впереди — немцы.

— Давайте, комбат, мы левой пойдем, узнаем, кто там? — предложил Третьяков. Но тот отчего-то разозлился:

— Вы чем советы подавать... Советчики!

Сырой день рано стал меркнуть. Там же, на гребне, где они с Обуховым курили в кустарнике, заняли в сумерках наблюдательный пункт, дотянули сюда связь. Разведчики, греясь, по очереди долбили землю лопатой, по очереди вели наблюдение. Темнело. Туман сгустился, закрыл поле, и вскоре не видно стало ничего.

Земля, промерзшая в глубине, плохо поддавалась лопате. Насыпали небольшой бруствер впереди, наломали веток, натаскали сена. Сидели, вслушивались. Третьяков чувствовал, как жар подымается в нем. Сильно зябла спина, временами он не мог унять дрожь.

Было совсем темно, когда услышали шаги, тяжелое дыхание нескольких человек: кто-то шел к ним со стороны огневых позиций. Ждали молча. Тяжелое дыхание приближалось. Мутно посветлело у немцев: там, не взойдя, гасла ракета, задушенная туманом. При этом брезжущем свете разглядели четверых. Шли по связи. На полголовы выше других — Городилин, кто-то малорослый рядом с ним. Когда подошли ближе, узнали в нем командира дивизиона. Двое разведчиков сопровождали их.

Оказалось, подошла четвертая батарея, становится на огневые позиции. Комдив расспросил, что тут слышно. Расспрашивал и вглядывался в лица. Подумал.

— Ну что ж, комбат,— сказал он Городилину.— До утра останемся тут мы с тобой.

И, отправляя Третьякова на огневые позиции, чтобы там, в хуторе, он отлежался в тепле, сказал:

— А утром сменишь нас. Вот так будет правильно. И сам себе кивнул.

ГЛАВА XXV

Долгой была эта ночь. Он выпил за ночь полуведерный чугунок воды, а жар не спадал, спекшиеся губы растрескались до крови. Казалось ему, что он не спит совсем, бред и явь мешались в сознании. Откроет глаза: при красном свете углей сидит у костра Лаврентьев, пишет что-то, подложив полевую сумку на колени, шевелит губами. И опять — красный сумрак между стропилами, кто-то другой у костра, черная тень колышется позади, заслонила полсарая: снится это ему или он видит? И все не кончалась ночь.

Несколько раз выходил наружу. Туман, в котором трудно было дышать, клубился от самой двери; из темноты сарая казалось, ступаешь не через порог, а в белое облако; нога неуверенно шупала перед собой землю.

Утром проснулся мокрый от пота и слабый. Но чувствовал: здоров. Все как просветлело перед глазами, пустой сарай стал выше, больше. У стены умывался голый по пояс Лаврентьев, вздрагивал кожей. Пар шел от его мощного тела, от волосатых лопаток, он покряхтывал, с удовольствием плюхал себе под мышки, с груди и живота текло.

Третьяков сел на земляном полу. Лицо обтянуло за ночь, глаза ввалились, он чувствовал это. Подумал, глядя на кучку золы и пепла от костра: там жар остался, чаю бы согреть. И увидел, как сняло воздухом, повлекло легкий пепел. В двери сарая, распахнутой рывком, стоял боец. Он еще сказать не успел, а Третьяков уже на ощупь искал шапку в соломе.

— Танки!

В дверях замелькали на свету бойцы. Пробегая, Третьяков видел, как Лаврентьев натягивает на мокрое тело гимнастерку: влез в нее до половины, а дальше плечи не проходят, машет руками вслепую.

Снаружи оглушил железный стрекот. Бежавший впереди боец поскользнулся на мокром снегу, испуган-

но вставал. И вдруг метнулся в сторону, пригибаясь к земле.

— Куда? — крикнул Третьяков, как кнутом стегнул. — Назад!

Ниже пригнувшись под криком, боец кинулся к орудийным окопам. Там уже топтались расчеты, разворачивали тяжелые орудия, множество напрягшихся ног месило сапогами мокрый снег с грязью.

— Вон! Вон они! — Из-за щита указывал рукавицей Паравян и обернул красивое лицо, бледное до желтизны.

Туман невысоко поднялся над землей, в непрозрачном от испарений воздухе было видно метров на сто пятьдесят от орудий. И там, как тени, мокрые деревья означили дорогу: с холма в низину и снова на холм. За этой чертой все сливалось: и серый осевший за ночь снег, из которого вытаивала земля, и пасмурная, как перед вечером, даль. Третьяков глянул туда, сердце в нем сорвалось, мгновенно ослабли ноги. Возникая за деревьями, двигались по дороге бронетранспортеры: тупые, тяжелые туши их были как сгустки тумана. И сразу, только он увидел их, слышней, ближе стал рев моторов.

— Один, два, три... — считал Паравян.

Бронетранспортеры выходили во фланг, а с фронта, куда тянулся провод к наблюдательному пункту, было все так же тихо.

— К бою! — закричал Третьяков, обрывая в себе минуту растерянности, и вспрыгнул на бруствер. И от второго орудия эхом отдалось: «...бою!» Там стоял Лаврентьев, рукой попадал в рукав шинели.

Бронетранспортеры все возникали на холме, шли в тумане, смутно перемещаясь за деревьями.

«Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать», — считал про себя Паравян. Звонко била кувалда по металлу: это Насруллаев в одной гимнастерке забивал сошники в мерзлую землю. Он косо взмахивал из-за плеча, ударял и вскрикивал. Расчет ждал за щитом, оглядывались на него. Ствол орудия, нацеленный на дорогу, медленно перемещался.

— Упреждение — один корпус! — сверху сказал наводчику Третьяков, а сам вглядывался, встряхивая головой. Что-то мешало ему, хлопало по щекам. Только тут заметил: как спал в шапке с опущенными наушниками, так и стоит в ней. От нетерпения, чтоб руки за-

нять, снял с головы ушанку, прижав к груди, заворачивал наушники. Стоя с непокрытой головой, смотрел на дорогу, дышал тяжело. Пальцы дрожали, никак не могли завязать тесемки. Он уже видел, знал, каким коротким будет этот бой. Девять снарядов у их орудия, восемь — у второго. А бронетранспортеры все возникали из-за холма. Звон кувалды отсчитывал время. В тот момент, как Насруллаев отбросил кувалду, он махнул шапкой:

— Огонь!

Полыхнуло, дрогнула земля под ногами. Огонь взлетел за дорогой, там, падая, качнулось в тумане дерево. Еще несколько раз взлетал огонь: то на поле, то за дорогой. Наводчик торопился, нервничал. «Сейчас погоню его!» Сыпануло по щиту, с шипением зачмокали в грязи раскаленные пули. Отовсюду над полем понеслись к орудию огненные трассы пуль. Развернувшись от дороги, бронетранспортеры шли на батарею. Они вылезали из тумана, редел клоками перед ними туман, и от каждого сверкало, сверкало огнем, низко рубили по полю огненные трассы. Видно было, как из бронетранспортеров выпрыгивают автоматчики, бегут позади толпой и от них тоже неслись трассирующие нити.

— Чабаров! — закричал Третьяков, спрыгнув в окоп. Он увидал мелькнувшее по другую сторону орудия побитое оспой нахмуренное лицо Чабарова. — Пехоту отсекай огнем!

А сам дышал над ухом наводчика:

— Не торопись. Целься. Не торопись.

И в уме свой счет шел: пять снарядов оставалось. Пять выстрелов. Бахнуло второе орудие. Где-то позади грохотала четвертая батарея. Значит, там тоже прорвались немцы.

Завыло низко. Мина! У наводчика дрогнула спина. Не отрывая глаза от панорамы, продолжая целиться, он весь поджимался спиной, чувствовал эту летящую мину. По мокрой щеке его тек пот, мутные капли дрожали на подбородке.

Мина еще выла над ними, когда орудие выстрелило. Из-за щита Третьяков видел: вырвавшийся вперед бронетранспортер, прыгающие через борта автоматчики — один, в каске, с поднятым над собой автоматом, подогнутыми ногами в прыжке, уже в воздухе был — все это взорвалось белым огнем, огненные брызги летели далеко во все стороны — в лоб влепило.

И тут же одна за другой разорвалось несколько мин. Когда Третьяков поднялся, весь в жидкой грязи, кто-то шевелился слепо между станинами, стонал. Живые подымались один за другим. А от второго орудия уже хлынул расчет. С расставленными станинами, нацеленное на поле, оно стояло в окопе, а они бежали, и крупней, выше других — Лаврентьев в распахнутой шинели. Плеснулся плоский разрыв, разметав бегущих. Хватал себя за спину руками, перегибался на бегу, падал Лаврентьев.

И опять чей-то крик:

— Танки!

Они выходили от деревни, от Кравцов — в тыл батареи. Рухнул сарай, в котором ночевали, двинулся вперед, разваливаясь. Под ним ворочался танк, поворачивая башню с пушкой, бревна катились с него, сползала набок соломенная крыша. Брошенное в окопе орудие подпрыгнуло, словно выстрелило само и осело в дым разрыва.

Пригибаясь под пулями, Третьяков увидел это, увидел опять бронетранспортеры, идущие по всему полю, польщущие огнем, страх на лицах заметавшихся людей. Замок снять с орудия... И не успел крикнуть: разрыв мины кинул всех на землю. Лежа, вжимаясь в грязь, ловил на слух звук мины, летящей в окоп. И страшная мысль давила: положили, а сами ворвутся сейчас. Близкий вой мины. Рычание моторов. Третьяков приподнялся на руках.

— К оврагу бегите! К посадке! Там снег...

Упал раньше разрыва. Грохнуло. Оторвал голову от земли:

— К посадке! Там снег глубокий! Туда всем!..

Рвануло на бруствере. Лежал, зажмурясь. Провизжало над головой. Вскочил.

— Паравян! Замок снимай! Быстро!

Паравян стоял в окопе, рукой держался за орудие, лицо синело. А в боку... Увидел и глазам не поверил: в боку его, свежекрасное, сочащееся, плевалось кровью оголенное легкое. Оно дышало, а Паравян задыхался без воздуха, хватал его мертвеющим оскаленным ртом.

Чьи-то трясущиеся руки мешали снять замок. Насруллаев. Детски ласковые, бесстрашные глаза преданно глянули на него.

— Беги, Эльдар!

Прижав тяжелый замок к животу, Насруллаев взглянул, побежал.

Паравян сидел на земле. Лицо облито слезами и потом, тусклый блеск меркнувшего зрачка. Стоя на коленях, весь напряженный, Третьяков сыпал в карман шинели автоматные патроны. Наверху стукали выстрелы. Накинул на шею ремень автомата. Пригибаясь, выскочил из окопа. По всему полю бежали люди. Озирались на бегу, падали, вскакивали, бежали. Бронетранспортер сбоку налетел на Насруллаева. Тот бросил замок, помчался, выгибаясь. Трассирующая очередь срубила его. Распластанный, он еще пытался встать. Третьяков не видел, как его накрыло гусеницей, но крик его нечеловеческий полоснул по сердцу.

Он бежал под пулями, задыхался, чувствовал, как слабеют, отнимаются ноги. Воздуху не хватало. В глазах темно, плыло, и манил, тянул к себе свежий клин снега. Под конец уже не бежал, шел на подгибающихся ногах, всасывал в себя воздух обожженными легкими. Упал лицом в снег. Рев мотора с неба мчался на него.

ГЛАВА XXVI

В великом весеннем наступлении 1944 года, развернувшемся на юге Украины, немецкий контрудар в районе Апостолово ничего уже не мог изменить — ни хода войны, ни хода истории. Он только временно замедлил наступление на этом участке и ничего не значил в масштабе происходивших событий. Но у людей, которые отражали этот нацеленный на них удар, была у каждого одна, единожды дарованная ему жизнь.

Необычайно ранняя весна за месяц до срока превратила зимние дороги в черноземные топи, тяжелая техника тонула в них, увязали машины со снарядами, тылы растянулись на полтысячи километров, и горючее, которое везли к фронту, сжигалось на дорогах. Но подтянули артиллерию, подошел танковый корпус, погнав прорвавшуюся группировку, и те же самые немецкие танки и бронетранспортеры, которые прошли через огневые позиции артиллеристов, расстреливая и давя живых, теперь, подбитые, сожженные и целые, увязшие в грязи, брошенные, стояли по полям.

На третий день хоронили погибших батарейцев. Снег стоял совсем, только в низине и у посадки, куда зимой намело его ветрами, сохранились грязно-серые клочья. Блестели на солнце лужи, и среди них по всему полю лежали убитые. В шинелях, впитавших в себя воду, в мокрых ватниках, окоченелые, лежали они там, где настигла их смерть. Пахотное поле у хутора Кравцы, на котором из года в год сеяли и убирали пшеницу и куда каждую осень выгоняли на стерню гусей, стало для них последним в жизни полем боя. И живые, оскользаясь по жирному чернозему, с трудом вытягивая из него сапоги, ходили, разыскивая и узнавая убитых.

Недалеко от посадки, метрах в двухстах пятидесяти от того места, где сам он упал в снег и где последняя пулеметная очередь прошла над ним, Третьяков разыскал Насруллаева. Тот лежал в облепленных пудами чернозема сапогах, раздавленные ноги были естественно вывернуты. Лежал он навзничь, ватник над оголенным желтым животом сбился к подбородку, кисть руки, которой он в последнем усилии заслонил глаза, заостенела над ним на весу и отражалась неподвижно в спокойной снеговой воде лужи, по которой скользило белопенное облако. Как он кричал тогда! Темная раковина мученически оскаленного рта, казалось, и сейчас хранит немые отзвуки того крика.

А впервые Третьяков увидел его, когда принимал взвод, и запомнил с того раза. Бойцы, голые по пояс, рыли щели за хатой, и среди облитых потом, лоснившихся на солнце тел заметно выделялся Насруллаев, могучий, как борец, грудь по самое горло заросла черным волосом. Попалась еще в списке фамилия Джеджелашвили, и Третьяков почему-то подумал, что это он и есть.

В орудийном окопе, между раздвинутых станин, спиной опершись о станину, сидел Паравян, голову без шапки уронил на грудь. Со стриженного затылка к уху — засохшая полоса крови. Значит, был еще жив, кто-то из немцев, зайдя сбоку, дострелил его.

Девятнадцать человек подобрали на поле и похоронили у Кравцов. Лаврентьева среди них не было. Многие видели, как падал он, запрокинувшись, хватая себя руками за спину. Может быть, жив был и немцы угнали его в плен. Дострелили где-нибудь по дороге, когда на них нажали. Всю войну пробыл он в противотанковой

артиллерии, радовался, что после госпиталя попал в тяжелый артполк, старался очень, все ему тут было хорошо. Говорил: «Тут у вас воевать можно!»

Яркий, весенний день. Мокрый блеск солнца. А у Третьякова что-то опустилось на глаза, притемняет сверху и день и небо — тень легла на все.

На хуторе во дворах набито войск. Всюду машины, кони, пушки, снуют бойцы из двора во двор, костры горят на земле, дымят кухни. Какая-то часть подошла ночью. Пахнет дымом костров, конским навозом, бензином.

Из ближнего двора Третьякова окликают:

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!

Весь его взвод сидит у пригретой солнцем белой стены хаты. Перевернутая бричка без колес, как стол, вокруг нее разместились кто на чем. Ему освободили место. Рыжеватый, с морковным румянцем во всю щеку боец сбежал к кухне, в угол двора, где гуща народа, толкотня и крик, принес котелок супа. Он без шинели, широк в плечах, узкобедный, сильно затянут ремнем. Беря котелок, Третьяков пристально глянул ему в лицо. Под белыми ресницами — рыжие веселые глаза. Дждежелашвили. А все еще видел Насруллаева, давило ему на лоб, незримый козырек нависал над глазами, застил свет солнца. Нет, он не контужен, но какой-то оглушенный он, никак не придет: видит все, слышит, а понимает с опозданием.

Только отхлебнув, он посмотрел, что ест. В котелке — суп-пюре гороховый, густой и желтый. И с этой ложкой, закрыв глаза, он мысленно помянул тех, кого уж нет с ними сегодня. Они все еще были здесь, вот так же могли толкаться сейчас у кухни, сидеть на солнце.

Глиняная, побеленная стена хаты была побита осколками. На ней жужжали, ползали облепившие ее мухи. Изумрудно-зеленые, синие, вялые после зимы, они оживали на весеннем солнце. Зачем погибли люди? Зачем гибнут еще? Ведь кончена война, кончена. И уже не изменить это: победили мы. Но вот оттягивают час своей гибели те, кто ее начал, и еще вышлют они к фронту не одну дивизию, и пехотную и танковую, и люди убивают друг друга, и погибают, и скольким еще погибнуть суждено.

— «Рама!» — кричат во дворе. И по всему хутору из двора во двор перекидывается крик:

— «Рама»!

Двухфюзеляжный немецкий разведчик «Фокке-вульф» кружит высоко в небе, гудит. Солнце слепящее, кучно вспыхивают в синеве белые зенитные разрывы, сопровождая самолет, а его самого не видно, только иногда взблеснет коротко на солнце что-то алюминиевым блеском. И все, подняв лица, смотрят с земли. Сколько за войну видел Третьяков сбитых самолетов, но ни разу не видал, чтобы сбили «раму». Белые хлопья зениток все вспыхивают и вспыхивают, отставая от них, отдельно и глухо слышны за толщиной воздуха в вышине частые разрывы.

Вспрыгнув на бричку, Кытин палит вверх из карабина.

— Слезь! — говорит ему Чабаров. — Что ты ее, собьешь?

И Третьяков, которому надоело хлопанье над ухом, говорит:

— Слезь!

Расстреляв обойму, Кытин смеется довольный:

— Подыхать полетел.

Джеджелашвили собирает котелки, идет мыть их в луже: сегодня он «за кухарку». Все закуривают махорку. Солнце размаривает у стены. Живым — живое. Чабаров рассказывает, как у них в Татарии вялят гусей весной:

— Вот самое такое солнце у нас в марте. Снег еще, солнце яркое, пыли нет, мух нет. Гуси жирные ходят по двору. Вяленого гуся поешь, никакой другой закуски не захочешь.

— Ну! — торопит Обухов.

— Чего ну? — Чабаров не любит, чтоб его перебивали.

— Вялите их как?

— Совсем просто...

В конце улицы показался из переулка «виллис» командира полка. И уже кричит кто-то:

— Первый дивизион!..

— Эх, сержант, — говорит Кытин, — только мы твоих гусей распробовались...

В соседнем дворе взрокотал мотор трактора, пронзительно заржала лошадь.

ГЛАВА XXVII

Влажные, теплые ветры с моря гнали весну на север, обнажая от снега обширные равнины, а на юге подсыхали дороги, и по всему правобережью Украины шло наступление наших войск. Уже и Кривой Рог и Никополь остались позади, уже форсировали Ингулец, смело устремившись в прорыв, шли освобождать Одессу.

«...У нас вся жизнь от сводки до сводки,— писала мать.— Вот не было от тебя писем, и прямо камень на сердце. Днем как-то услышала твой голос, ясно услышала, как ты позвал меня. И ходила сама не своя. Потом Ляля прибегает с улицы, почтальюна встретила. Мы с ней обрелись от радости, читаем обе и ничего сначала не пойдем. Ты, конечно, обманываешь меня, чтобы я не волновалась, а бои у вас были, наверное, страшные, если даже по радио про это Апостолово упоминали...»

И Саша писала: «...Я все уговариваю маму не сажать огород этой весной, а она боится. И Фая говорит: «Накопаете картошки осенью, с ней и поезжайте, а без нее вы — чо?» А я уже не могу, домой хочется. Самое страшное пережито, теперь как-нибудь. Да! Совсем забыла написать: у Фаи — девочка. Такая веселенькая, такая разумная, меня уже узнает. И совершенно ни на кого из них не похожа».

Теплый ветер трепал в пальцах два тетрадных листка: из Лялькиной и Сашиной тетрадей. Невысоко поднявшееся над степью солнце пекло спину сквозь шинель, зимняя шапка на затылке парила голову. Потряхивало на тракторе, укачивало в сон. Отяжелелые веки сами закрывались.

Позади, повернув лицо к солнцу, командир орудия Алавидзе пел по-грузински что-то красивое, похожее на молитву — должно быть, встречал всходящее солнце. Оборачиваясь, Третьяков видел: Алавидзе сидит на орудии, а внизу, рядом с ним, идут по дороге Джедже-лашвили и замковый Кочерава, густо заросший черным волосом по самые брови. Оба ждут страстно, пока Алавидзе выводит мелодию, смотрят снизу на него. Кочерава взмахивает шапкой, и в два тонких женских голоса они подхватывают песню, идут нахмуренные, реши-

тельные, как на бой. И уже кто-то бежит к ним от другого орудия.

Фомичев, управляясь с рычагами трактора, крутит головой:

— Должно, на погоду. У их так: один запел, все — как по команде. Вон еще двое бегут, опоздать бояться.

Ему завидно немного, он усмехается, чтоб себя не уронить.

Солнце нежарко пригревает, воздух колеблется над степью, беззвучно встают дымы разрывов. Когда сидишь на тракторе рядом с мотором, странная, беззвучная война вокруг. Временами рокот мотора выпадает из слуха; вздрогнув, Третьяков просыпается. Складывает письма по сгибам в два треугольничка. Где-то его письма разминулись с ними в дороге, долго они будут идти по почте полевой; наверное, Одессу раньше возьмут.

Брошенное немецкое орудие стоит у самой дороги. Почему-то немецкие пушки всегда выглядят массивней, тяжелей наших. Камуфлированное, желто-пятнистое, оно увязло, а вытянуть уже не успели. И танк немецкий стоит, башня с орудием далеко отброшена. Вот так в сорок первом году поле боя осталось за ними, и все, что подбито, цело или вновь будет восстановлено, все оставалось у них. Теперь поле боя — за нами. И те бронетранспортеры, что давили батарею у Кравцов, наверное, недалеко ушли.

Третьяков прячет письма в нагрудный карман гимнастерки, достает оттуда зеркальце в кожаном футляре. Зеркальце хорошее, двустороннее, небьющееся: полированная сталь. Вчера на закате солнца его разведчики вместе с пехотой ворвались в рощицу, какая-то немецкая тыловая часть стояла там. Бежали, все побросав: горючее осталось в бочках, врытых в землю, ящики консервов; в повозке, в сене, нашли бочонок вина и там же — брошенный офицерский мундир с железным крестом и вот этим зеркальцем в кармане. Наверное, бежал — об одном бога молил: живым остаться. А теперь, если жив, креста жаль, новый, наверное, не выдадут. Железным крестом Обухов забавляется, говорит: вернись с войны, повешу собаке на ошейник — пусть гавкает.

Сняв шапку, положив на колени, Третьяков разглядывает себя в стальном зеркальце, обрывками сонных

мыслей думает о Саше, о матери, о Ляльке, о том, что впереди Одесса, Черное море. Ни разу в жизни он еще там не бывал. Возьмут Одессу — и спать! Суток двое. А что, правда, объявили бы так и нам и немцам: спать! Повалились бы все и спали беспробудно. Только на войне так не бывает. На войне — кто первый не выдержит. Страшно подумать, сколько всего было за эти годы. И это еще он в сорок первом году не воевал. Из тех, кто воевал тогда, мало сегодня осталось. Вот их, погибших в сорок первом, когда все рушилось, особенно жаль. Ведь они даже издали не увидели победы.

Мама и Лялька заранее поздравляют его в письме с днем рождения: двадцать восьмого апреля ему двадцать лет. Когда-то казалось: двадцать пять лет — это уже старый человек. А что было в этот день год назад? Был он тогда в училище, стоял на посту, охранял артпарк. На посту, если не в мороз, лучше всего стоять ночью. Стоишь себе один, звезды над тобой светят, а ты думаешь о чем хочешь. Только ночью у курсанта мысль свободна, так ночью он как раз спит. А днем и минуты нет подумать о себе.

Трактор идет тряско, все скачет в зеркальце: то лоб мелькнет, поделенный загаром пополам, свалывшиеся под шапкой волосы, то — подбородок.

Над дорогой, над головами, беззвучно уходят в зенит три звена наших истребителей. С высоты им видно все, что делается на земле. Виден, наверное, их тяжелый дивизион, растянувшийся на марше. Вместе с мотопехотой, с легкой артиллерией он кинут в прорыв поддерживать танки. Видно, наверное, как впереди танки ведут бой.

Этой ночью они въехали на станцию, а там под парами стоял немецкий эшелон. Оказалось, он прибыл с ранеными уже после того, как наши танки с ходу проскочили станцию. Немцы разбежались по хатам, попрятались, жителей не выпускают. После пехота переловила их на огородах, по погребам, кого-то и постреляли в ночной суматохе. А многие до сих пор бегают, где-то скрываются, ночами будут пробиваться к своим.

Под тарактение трактора от равномерного потряхивания Третьяков задремывает и тут же, как показалось ему, просыпается. Но местность уже другая, вся накрененная под скат, и близкий горизонт теснит глаз.

Что-то происходит впереди на дороге. Там на коне, высоко над всеми, — командир дивизиона. Он маленького роста, потому всегда старается взобраться на что-нибудь повыше. Конь крутится под ним, переплясывает, офицеры стоят вокруг, комдив над их головами указывает рукой. И уже шестая батарея, которая шла впереди, сворачивает в сторону, трактора поволокли орудия по полю.

Спрыгнув, Третьяков бежит туда, а оттуда бежит ему навстречу Городилин, кричит издали:

— Алавидзе где?

Он это последнее «дзе» произносит так, что получается у него «Алавидзя».

— Здесь Алавидзе!

— Давай с ним вместе орудия вон в ту балку. Развернешь на дорогу. Сектор обстрела...

Подвывавший над ними снаряд разорвался на поле. И сразу слышно недалекую строчку пулеметов. Может, они и все время строчили, только за рокотом мотора слышно не было?

— Что случилось, комбат?

— Приказано занять оборону. Правей где-то немцы прорываются к своим.

— А наши танки?

— Танки — впереди. В общем, так: батареею я сам поставлю. Кустарник видишь? Давай машины со снарядами туда. Укрытие найди. Быстро!

Третьяков бежит к машинам, на бегу созывая взвод:

— Чабаров! «Форда»-восьмерку — вон в тот кустарник!

А сам впрыгнул на подножку ЗИСа. По другую сторону впрыгивают на ходу Обухов и Кытин с автоматами. ЗИС старый, кабина деревянная, полвойны прошел. Удерживаясь рукой за дверцу, вместе с подножкой подпрыгивая над пахотой, Третьяков указывает дорогу шоферу, а сам из-за кабины оглядывает местность, хочет понять, что происходит. Видно, как расползаются по полю батареи. Еще несколько разрывов встают на поле. Тяжелыми бьет. Кто-то на коне прожог по дороге, только пыль схватывается следом. И все уже иное стало, как перед боем, и солнце строже светит.

Наклонясь к шоферу, Третьяков показывает ему, с какой стороны заезжать. Он высмотрел крутой склон, надо стать за него, самое хорошее укрытие. Шофер ки-

вает, а он, прыгнув с подножки, бежит назад: там забуксовал трофейный «форд».

Он и ста метров не отбежал, когда одна за другой полоснули автоматные очереди. Машина стояла, Обухов на подножке держал перед собой автомат, Кытин с наставленным автоматом в руках пятился от машины, боком, боком, подвигался к кустам, как будто что-то обходя. Третьяков уже бежал к ним, выхватывая пистолет на бегу, слышал, как Обухов, сам бледный, палец держа на спуске, кричит, чужим голосом:

— Хенде хох!

И поторапливает издали стволом автомата:

— Шнель, шнель!

Увидел, что лейтенант бежит к ним, крикнул радостно:

— Мы на них чуть колесом не наехали!.. Лежат... Чуть не подавили всех!

Из кустов подымались головы немцев, нерешительно тянули руки над собой. Набежав, махая на них пистолетом, Третьяков отогнал немцев на поле. Обухов, Кытин и вылезший с карабином шофер, сам перетрусивший не меньше немцев, нацеленными дулами сопровождали их. Прибежали разведчики от другой машины, рыскали по кустам. Еще откуда-то бежал народ.

— Где их взяли?

— Гляди, гляди! У-у, зверюга! У-у, глядит как!..

— Тут и лежали?

— Колесом чуть не наехали.

— Тут вот в кустах?

— А я слышу — стрельба...

Четырнадцать боящихся расправы немцев стояли на поле, жались в кучу, по лицам пытались понять, что их ждет, испуганно опускали глаза под взглядами. Все лица, стирая на них человеческое выражение, комкал страх. Озирались. Затаенно вслушивались в недалекую стрельбу. На нескольких белели бинты.

Еще двоих поднял в кустах Чабаров и гнал пинками, бегом. С поднятым в руке автоматом бежал за ними, успевая пинать с обеих ног. Бойцы — кто с хохотом, кто зло посверкивая глазами — ждали. Немцы беспокойно пожимались. Добежав, двое ткнулись в толпу, толпа дрогнула. И сейчас же офицер, стоявший ближе других к Третьякову, улыбкой выпрашивая позволения,

опустил единственную поднятую вверх руку — другая, толсто обмотанная бинтами, на перевязи висела перед ним, — суетливо доставал что-то из полевой сумки, достал, протягивал издали Третьякову, лопоча по-своему. С лица его, как умытого, падали мутные капли. Немец держал в руках целлулоидный круг и артиллерийскую координатную мерку, не такие, как у нас, непохожие, совал их, поощряя взглядом, кивал, кивал. Третьяков инстинктивно отстранялся. И неожиданно для самого себя громко сказал немцам:

— Нихт шисен! — И жестами показывал, что их не расстреляют. — Арбайтен! Нах Сибирь!

Пленные зашептались, засквозили на лицах бледные улыбки. Недалеко разорвался прилетевший из-за гребня немецкий снаряд, и чей-то потаенный злорадный взгляд из толпы поймал на себе Третьяков.

Расталкивая пленных, Чабаров отбирал у них оружие, в общую кучу кидал на землю полевые сумки, ранцы.

— Чего с ними делать со всеми? — спросил он.

— Что делать? — И, разолясь на себя за внезапную жалость, Третьяков крикнул, чтоб все слышали: — Сколько в них будет во всех лошадиных сил? А-ну, гони, пускай «форд» вытолкнут.

Под хохот бойцов Обухов погнал пленных к застрявшей в пахоте машине:

— Арбайтен! Арбайтен!

Не сразу поняв, что от них требуют, немцы облепляют машину, не столько выталкивают, как жмутся к ней.

Бойцы кричат:

— А ну, рраз-два! Рраз-два!

— Раскачивай! Раскачивай!

Просвистело над головами, несколько разрывов взлетает недалеко. В кузове — снаряды. Если в них попадет и они рванут, от немцев, облепивших машину, от бойцов, помогающих криками, останется одна общая воронка. Немцы налегают осмысленно, кто-то свой командует им, и грузовик, завывая мотором, дрожа от усилий несколько раз почти выезжает наверх и опять скатывается в яму, вырытую колесами. Налегают снова, открыв дверцу, шофер что-то кричит, опять машина, вся сотрясаясь, ползет наверх. В последний момент, не выдержав, набегают бойцы, вместе толкают плечами, руками, сапоги упираются в отъезжающую из-под ног

землю. Задрожав в последнем усилии, грузовик выкачивается, отрывается, и все вместе по инерции бегут за ним несколько шагов и останавливаются. Общие от общей работы улыбки сходят с лиц.

— А ну, давай их... Кытин, Обухов! — хмурясь, оттого что слышит летящий снаряд, приказывает Третьяков. — В тыл их... Давайте... Быстро! — продолжает говорить он и слышит, что снаряд летит сюда, и немцы тоже слышат это и все слышат.

Кузов грузовика, тяжело переваливаясь, удаляется, будто оседает в кустах. Два взрыва один за другим встают на поле, заслонив его. «Мимо!» — успел подумать Третьяков. И тут сильным ударом, так, что он еле устоял на ногах, швырнуло в сторону левую его руку. Закричали пленные, расступились. На земле корчился немец. Третьяков попробовал поднять руку, она странно переламывалась, свисала в рассеченном рукаве. И вот когда началась боль, замутило до дурноты. Зажмуриваясь, как от горячего, стиснул зубы, пытаясь болью задавить боль. Увидел мгновенно, как в занесенной руке Чабарова блеснул приклад автомата, высокий немец шатнулся от него, пальцами закрыл разбитое лицо.

— Не бей! — крикнул Третьяков и не осилил себя, застонал.

Часа через полтора врач полка, совместив перебитые кости, перебинтовал ему шину к руке.

— Выше подтяни ему, — говорил он сестре, которая вешала руку на косынке. — Еще. Вот так.

И полюбовался на свою работу.

— Отрежут мне руку? — спросил Третьяков, не сумев скрыть испуга.

Врач улыбнулся, привычно бодрым тоном сказал:

— Вы еще этой рукой повоюете. Еще будете немцев бить этой рукой. Если, конечно, война не кончится раньше.

— Спасибо, доктор! — поблагодарил Третьяков. — Третий раз и все в эту руку.

— Третий — значит, последний. В жизни все до трех раз.

Раненых было не много, все они, кто мог ходить и ползать, сползли на солнечную сторону дома, ждали отправки, и врач тоже вышел на улицу постоять.

— А что, много там немцев?— спросил он, прислушиваясь к недалекому погромухиванию орудий.— Большими силами прорываются?

Теперь Третьяков уловил в его голосе некоторую тревогу.

— Да нет, непохоже. Но вы на ночь все же выставьте посты.

— Из кого?

— Да хоть из легкораненых, которые при санчасти.

— Раненые должны выздоравливать,— сказал врач, и на лице его с поднятыми бровями появилось философское выражение.

— Захотят жить, постоят.

Третьяков неловко пошевелил плечом, боль прожгла насквозь. Хмурясь, он наблюдал за сержантом, усатым, здоровым, крепким, который, с веником выйдя из дома, подметал у крыльца, согнувшись, старательно пылил.

— Лодырей своих не жалейте,— сказал он врачу.— Тут немцы бродят, учтите. Днем остерегаются, мы чуть колесом их не подавили, спасались в кустах, а ночью... Оружие ведь валяется везде.

Подошла санитарная повозка, начали грузить раненых. Решив для себя, что ехать ему во вторую очередь, потому что есть тут раненые похуже, Третьяков в шинели внапашку сидел на ступеньках крыльца, смотрел, как распоряжается у повозки санинструктор, молодая, властная, резкая; ездовой только вздрагивал от ее голоса, опрометью кидался исполнять, и все — не в ту сторону.

Погрузили тяжелораненого. Его положили в солому на дно повозки, он слабо постанывал. Кто мог, ковылял сам, стараясь казаться жалче, чем есть. Достав зажималку из кармана, Третьяков закурил, глубоко и сладко вдохнул дым, рассматривал полу своей шинели, вкось забрызганную его кровью, уже присохшей, ржавой. Он попробовал оттирать ее, сминая сукно в пальцах. Боль, приглушенная новокаином, сейчас не слишком тревожила его, такую боль терпеть можно. Не раз еще будут с кровью отрывать бинт от живой раны, пока она не загноится и повязка сама начнет отставать. Мысленно он уже видел весь путь, который ожидает его. В этот раз, наверное, загипсуют руку. Вспомнился парень в санлетучке, как он щепочкой вынимал червей из раны. Вот

что, наверное, терпеть трудно, когда чешется под гипсом...

— Лейтенант! Иди!

От повозки врач звал его и махал рукой. Решив с самого начала, что места ему не будет, и настроившись так, Третьяков обрадовался. Подошел.

— Садись, — говорил врач. — Езжай.

И в путь, осторожно похлопал по спине.

Теперь, когда его отправляли в тыл, он почувствовал смутную вину перед теми, кто оставался. И тут заметил пожилого бойца у стены хаты. Он сидел на земле, вытянув ногу в свежих бинтах, усмехнулся нехорошо и сразу опустил глаза. Третьяков помедлил.

— Возьмите вот этого, — сказал он врачу негромко. — Я ходячий.

Но боец услышал, закопошился на земле, весь перегорбившись, опираясь на палку, запрыгал к повозке. Все так же с опущенными глазами лез в нее, как человек, который отбирает свое. И сразу заторопил ездового:

— Ну, чего? Поехали...

— А ты не командуй! — сорванным голосом закричала на него санинструктор. Она сидела рядом с ездовым. — Раскомандовался... А то погоню сейчас!

Тот как не слышал, словно все это — не ему. Она подвинулась на доске, лежавшей поперек, сердито сказала Третьякову:

— Садись, лейтенант. Всякий командовать тут начинает...

Он пожал руку врачу, зачем-то огляделся последний раз, влез, сел с ней рядом. Ну — все. Какой-то свой круг завершила жизнь.

И вот он ехал спиной к фронту. Взвод его, война — все оставалось позади. Запахом конского пота наносило от лошадиных спин, короткая рыжая шерсть на них лоснилась по-весеннему ярко. Светило солнце, вся дымчатая лежала степь, тени облаков паслись на ней, голубым видением вставали вдаль то ли холмы, то ли горы. И высоко над головою, в высоком ослепительном небе, строй за строем шли белые кучевые облака. Как хорошо в мире, боже ты мой, как просторно! Он словно впервые вот так все увидал.

Тень облака скакнула на спины лошадям, лицом, сощуренными от солнца глазами он мгновенно почувствовал ее.

— Придержи чуть,— сказал он ездovому и, когда тот натянул вожжи, слез, пошел пешком. Ему растрясло рану, она болела опять. Но рана, он знал, поболит и перестанет, а на душе у него было спокойно и хорошо. Он шел, держась здоровой рукой за повозку. Санинструктор глянула на него сверху тяжелыми от недосыпания, остановившимися глазами, подвинулась на край доски, на его освободившееся место.

— Давно воюешь?— спросил он, чтобы разговором отвлечься от боли. Она зевнула.

— Достань закурить.

Она была совсем молодая, губы пухлые, рот маленький. Прижмуривая один глаз, она привычно прикурила от сигарки ездovого, закашлялась хрипло с первой затяжки.

Тень облака, идущая по степи, накрыла овражек. И что-то вдруг там насторожило Третьякова. Он не знал что, но это было как предчувствие опасности. Всё время, по привычке созавать себя старшим, он наблюдал за местностью: и сверху, когда ехал, и теперь, когда шел.

Лошади ступали по дороге, ездovый вожжами поторавливал их, курили раненые, держась за край повозки рукой, шел он рядом. И все вместе они подвигались к оврагу. Так же строго, как он вглядывался туда, посмотрел он снизу на санинструктора; он не хотел зря испугать ее.

Тень облака сдвинулась, солнце вновь осветило овражек. Нет, зря он насторожился.

— Воюешь давно?— спросил опять Третьяков, забыв, что уже спрашивал ее об этом.

— Давно,— сказала она прочистившимся после кашля голосом.— У нас вся семья воюет. Старшая сестра пошла сразу, как мужа убили. Братишка тоже. Одна мама с младшими сидит, ждет писем.

Он шел рядом и снизу поглядывал на нее. Если бы это Саша была? Или Лялька? И жаль ему было сейчас ее, как будто это их жалко.

Он не слышал автоматной очереди: его ударило, подбило под ним ногу, оторвавшись от повозки, он упал. Все произошло мгновенно. Лежа на земле, он видел, как понесли лошади под уклон, как санинструктор, девчонка, вырывала у ездovого вожжи, взглядом измерил расстояние, уже отделившее его от них. И выстрелил наугад. И тут же раздалась автоматная очередь. Он успел

заметить, откуда стреляли, подумал еще, что лежит неудачно, на дороге, на самом виду, надо бы в кювет сползти. Но в этот момент впереди шевельнулось.

Мир сузился. Он видел его теперь сквозь боевую прорезь. Там, на мушке пистолета, на конце вытянутой его руки, шевельнулось вновь, стало подниматься на фоне неба дымчато-серое. Третьяков выстрелил.

Когда санинструктор, остановив коней, оглянулась, на том месте, где их обстреляли и он упал, ничего не было. Только подымалось отлетевшее от земли облако взрыва. И строй за строем плыли в небесной выси ослепительно белые облака, окрыленные ветром.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Л. Лазарев. Не только о войне... .</i>	5
ИЮЛЬ 41 ГОДА. Роман	15
НАВЕКИ — ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЕ. Повесть	187

Бакланов Г. Я.

Б19 Июль 41 года: Роман; Навеки — девятнадцатилетние: Повесть/Редкол.: Ч. Айтматов, Г. Бердников, Ю. Бондарев и др. — М.: Худож. лит., 1988. — 349 с. (Б-ка советского романа).

ISBN 5-280-00003-5

В книгу известного писателя, лауреата Государственной премии СССР Григория Бакланова включены популярные произведения о Великой Отечественной войне: роман «Июль 41 года» и повесть «Навеки — девятнадцатилетние».

Б 4702010200-332
028(01)-88 без объявл.

ББК 84Р7

Библиотека советского романа

ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БАКЛАНОВ

Июль 41 года

Навеки — девятнадцатилетние

Редактор *В. Пальчиков*

Оформление «Библиотеки» *В. Аладьева*

Художественный редактор *А. Моисеев*

Технический редактор *Л. Витушкина*

Корректор *Н. Гришина*

ИБ № 5217

Сдано в набор 07.01.88. Подписано в печать 31.05.88. Формат 84××108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отт. 18,9. Уч.-изд. л. 19,62. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Тираж 200 000 экз. Изд. № 1-2912. Заказ 1332.

Цена 1 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

В 1987—1989 гг.
в «Библиотеке советского романа»
выходят следующие книги:

- Ю. БОНДАРЕВ. Горячий снег
М. БУЛГАКОВ. Мастер и Маргарита
И. ДРУЦЭ. Белая церковь. И. ЧОБАНУ. Мосты. Пер.
с молд.
Р. КОЧАР. Дети большого дома. Пер. с арм.
Л. ЛЕОНОВ. Русский лес
Г. МАРКОВ. Сибирь
Л. СОБОЛЕВ. Капитальный ремонт
А. Н. ТОЛСТОЙ. Хождение по мукам. В 2-х кн.
М. ШАГИНЯН. Четыре урока у Ленина. А. КОПТЕ-
ЛОВ. Точка опоры
М. ШОЛОХОВ. Поднятая целина
М. ШОЛОХОВ. Тихий Дон. В 2-х кн.

В 1989 году
в серии «Классики и современники»
выйдут в свет:

- Н. КАРАМЗИН. Марфа-посадница. Повести
И. ЛАЖЕЧНИКОВ. Басурман
Русская романтическая новелла
Старые годы. Русские исторические повести и рассказы
первой половины XIX века
П. НИЛИН. Жестокость. Испытательный срок. Повести.
Рассказы
Ю. ОЛЕША. Зависть. Три толстяка. Ни дня без
строчки
Л. СОЛОВЬЕВ. Повесть о Ходже Насреддине
Ю. ТЫНЯНОВ. Кюхля. Подпоручик Кижэ. Восковая
персона. Малолетный Витушишников
В. ШИШКОВ. Алые сугробы. Повести и рассказы
Д. БОККАЧЧО. Декамерон
Ш. БРОНТЕ. Джейн Эйр
Р. БРЕДБЕРИ. Вино из одуванчиков. Повести и рассказы
В. ГЮГО. Собор Парижской богоматери
В. ИРВИНГ. Новеллы
ШОДЕРЛО де ЛАКЛО. Опасные связи

«ПОЭТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

- А. АХМАТОВА. Лирика
Грузинские романтики XIX века
Русские песни и романсы
Н. ЗАБОЛОЦКИЙ. Столбцы и поэмы. Стихотворения
Д. КИТС. Стихотворения и поэмы

